

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ОТДЕЛЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ И ЯЗЫКА

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ ПО ОБЩЕМУ
И СРАВНИТЕЛЬНОМУ ЯЗЫКОЗНАНИЮ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В ЯНВАРЕ 1952 ГОДА

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

6

НОЯБРЬ — ДЕКАБРЬ

«НАУКА»

МОСКВА — 1992

Главный редактор: Т.В. ГАМКРЕЛИДЗЕ

Заместители главного редактора:

Ю.С. СТЕПАНОВ, Н.И. ТОЛСТОЙ

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

АБАЕВ В.И.
БАНЕР В. (ФРГ)
БЕРНШТЕЙН С.Б.
БИРНБАУМ Х. (США)
БОГОЛЮБОВ М.Н.
БУДАГОВ Р.А.
ВАРДУЛЬ И.Ф.
ВАХЕК (ЧСФР)
ВИНТЕР В. (ФРГ)
ГРИНБЕРГ ДЖ. (США)
ДЖАУКЯН Г.Б.
ДОМАШНЕВ А.И.
ДРЕССЛЕР В. (Австрия)
ДУРИДАНОВ И. (Болгария)
ЗИНДЕР Л.Р.
ИВИЧ П. (Югославия)
КЁРНЕР К. (Канада)
КОМРИ Б. (США)
КОСЕРИУ Э. (ФРГ)
ЛЕМАН У. (США)
МАЖЮЛИС В.П.

МАЙРХОФЕР М. (Австрия)
МАРТИНЕ А. (Франция)
МЕЛЬНИЧУК А.С.
НЕРОЗНАК В.П.
ПИЛЬХ Г. (ФРГ)
ПОЛОМЕ Э. (США)
РАСТОРГУЕВА В.С.
РОБИНС Р. (Великобритания)
СЕМЕРЕНЬИ О. (ФРГ)
СЛЮСАРЕВА Н.А.
ТЕНИШЕВ Э.Р.
ТРУБАЧЕВ О.Н.
УОТКИНС К. (США)
ФИШЬЯК Я. (Польша)
ХАТТОРИ СИРО (Япония)
ХЕМП Э. (США)
ШВЕДОВА Н.Ю.
ШМАЛЬСТИГ В. (США)
ШМЕЛЕВ Д.Н.
ШМИДТ К.Х. (ФРГ)
ШМИТТ Р. (ФРГ)
ЯРЦЕВА В.Н.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

АЛПАТОВ В.М.
АПРЕСЯН Ю.Д.
БАСКАКОВ А.Н.
БОНДАРКО А.В.
ВАРБОТ Ж.Ж.
ВИНОГРАДОВ В.А.
ГЕРЦЕНБЕРГ Л.Г.
ГЛАК В.Г.
ДЫБОВ В.А.
ЖУРАВЛЕВ В.К.
ЗАЛИЗНЯК А.А.
ЗЕМСКАЯ Е.А.
ИВАНОВ ВЯЧ. ВС.
КАРАУЛОВ Ю.Н.
КИБРИК А.Е.
КЛИМОВ Г.А. (отв. секретарь)
КОДЗАСОВ С.В.

ЛЕОНТЬЕВ А.А.
МАКОВСКИЙ М.М.
НЕДЯЛКОВ В.П.
НИКОЛАЕВА Т.М.
ОТКУПШИКОВ Ю.В.
СОБОЛЕВА И.В. (зам. отв. секретаря)
СОЛНЦЕВ В.М.
СТАРОСТИН С.А.
ТОПОРОВ В.Н.
УСПЕНСКИЙ Б.А.
ХЕЛИМСКИЙ Е.А.
ХРАКОВСКИЙ В.С.
ШАРБАТОВ Г.Ш.
ШВЕЙЦЕР А.Д.
ШИРОКОВ О.С.
ЩЕРБАК А.М.

Адрес редакции: 121019 Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2. Институт русского языка,
редакция журнала «Вопросы языкознания». Тел. 201-74-42

СОДЕРЖАНИЕ

Караулов Ю. Н. (Москва). О русском языке зарубежья	5
Руденко Д. И. (Харьков). Когнитивная наука, лингвофилософские парадигмы и границы культуры	19
Маковский М. М. (Москва). "Картина мира" и миры образов (Лингвокультурологические этюды)	36
Гиндин Л. А. (Москва). Пространственно-хронологические аспекты индоевропейской проблемы и "Карта предполагаемых прародин шести ностратических языков" В. М. Иллич-Свитыча	54
Ульрих М. (Тюбинген). Об имитации речи. <i>Bread-and-butter, bread-and-butter</i>	66
Верещагин Е. М. (Москва), Ратмайр Р. (Вена), Ройтер Т. (Клагенфурт). Речевые тактики "призыва к откровенности". Еще одна попытка проникнуть в идиоматику речевого поведения и русско-немецкий контрастивный подход	82
Йокояма О. (Кембридж, Масс.). Теория коммуникативной компетенции и проблематика порядка слов в русском языке	94
Караханов А. А. (Москва). К вопросу о характере категории предельности древнерусского глагола	103
Завьялова О. И. (Москва). Сино-мусульманские тексты: графика — фонология — морфонология	113
Керимова А. А., Молчанова Е. К. (Москва). И. И. Зарубин и таджикская этнолингвистика	123

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Рецензии

Леман В. П. (Остин). <i>Langacker R. W. Foundations of cognitive grammar. V. I.: Theoretical prerequisites</i>	127
Кривоносов А. Т. (Москва). <i>Васильев С. А. Синтез смысла при создании и понимании текста</i>	132
Будагов Р. А., Брагина А. А. (Москва). Французско-русский словарь активного типа	138
Николаева И. А. (Москва). <i>Kulonen U.-M. The passive in Ob-Ugrian</i>	142
Нещименко Г. П. (Москва). <i>Horecký J., Buzássyevá K., Bosák J. a kolektív. Dynamika slovnnej zásoby súčasnej slovenčiny</i>	146

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки	151
Указатель статей, опубликованных в 1992 г.	157

CONTENTS

Karaulov Yu N. (Moscow). On the Russian language abroad; Rudenko D.I. (Kharkov). Cognitive science, linguistic-philosophical paradigms and limits of culture; Makovskij M.M. (Moscow). "The image of the world" and worlds of images. Linguistic-culturological studies; Gindin L.A. (Moscow). The spatial and chronological aspects of the Indo-European problem and V.M. Illiĭ-Svityĭs "Chart of the supposed Proto-homelands of six Nostratic languages"; Ulrich M. (Tübingen). On the imitation of speech. *Bread-and-butter, bread-and-butter*; Vereščagin E.M. (Moscow), Rathmayr R. (Vienna), Reuter T. (Klagenfurt). Speech tactics "a call to sincerity". One more attempt to investigate the idiomatics of speech behaviour on the basis of the Russian-German contrastive approach; Yokoyama O. (Cambridge, Mass.). The theory of communicative competence and problems of word order in Russian; Karavanov A.A. (Moscow). Some features of the terminative aspect in Old Russian; Zavialova O.I. (Moscow). Sino-moslem texts: graphics — phonology — morphonology; Kerimova A.A., Molčanova E.K. (Moscow). I.I. Zarubin and the Tadjik ethnolinguistics; Reviews: Lehmann W.P. (Austin). *Langacker R.M.* Foundations of cognitive grammar; Krivonosov A.T. (Moscow). *Vasiliev S.A.* The synthesis of meaning in the process of creating and understanding texts; Budagov R.A., Bragina A.A. (Moscow). French-Russian dictionary of the active type; Nikolaeva I.A. (Moscow). *Kulonen U.-H.* The passive in Ob-Ugrian; Neščimenko G.P. (Moscow). *Herecký J., Buzassýevá K., Bosák J. et al.* Dynamics of the word-stock of modern Slovak; Scientific life: Chronicle features; Index of articles published in 1992.

© 1992 г. КАРАУЛОВ Ю.Н.

О РУССКОМ ЯЗЫКЕ ЗАРУБЕЖЬЯ

Хватит ли тем без России? —
спросили.
Затем: Сможешь сберечь
Русскую речь
без России? —
спросили.
Ответила: Да.
Навсегда.
Ведь я из России.

Валентина Синкевич [1].

1. Исходные теоретические посылки

Язык русского зарубежья я рассматриваю как самостоятельный способ бытования русского языка, как отдельную сферу его существования, наряду с другими, достаточно автономными, его ипостасями в метрополии: современным литературно-письменным языком, устными народными говорами, мертвым языком памятников письменности, устно-разговорной разновидностью (включающей и просторечие), языком науки и техники, а также вариантами так называемой неисконной русской речи, существовавшей ранее в республиках СССР, а теперь — в СНГ [2]. "Русский язык зарубежья" представляет собой необозримую и сложную тему — как в силу своего жанрово-стилевого и функционального разнообразия и в силу исторического напластования в нем структурных и социально-психологических черт, характеризующих разные "волны" эмиграции, так и в силу его территориального варьирования в зависимости от того или иного инонационального окружения. Анализ этих, как и других, здесь не названных, его особенностей — дело будущего, поскольку круг письменных источников для его изучения необычайно широк, и библиография одних только периодических изданий [3—4] и книг [5] занимает несколько томов.

В этой статье я коснусь лишь некоторых свойств рассматриваемого феномена, трактуемых только с одной, вполне определенной исследовательской позиции. Позиция эта дает представление о "личностном аспекте" существования и использования русского языка его носителями за рубежом, причем под "личностным" я подразумеваю не сугубо "индивидуализированный", а такой аспект, который раскрывает его формальные и содержательные особенности с точки зрения структуры и функционирования типизированной, усредненной языковой личности носителя [6], т.е. "русской языковой личности", если угодно.

Структура языковой способности носителя складывается из трех уровней:

— грамматико-семантического, представленного ассоциативно-вербальной сетью, вбирающей в себя словарь и грамматику и позволяющей строить правильные словосочетания и предложения, обеспечивая тем самым "горизонтальный контекст";

— когнитивного, регистрируемого в виде иерархически организованного личностного тезауруса, который включает воплощенные в языковой форме

знания и опыт носителя и отражает его "языковую картину мира", обуславливающую "вертикальный контекст";

— и наконец, мировоззренческо-прагматического уровня, включающего совокупности языковых средств для выражения мотивов, устремлений, интересов, интенциональностей и целей говорящего/пишущего, направленных на достижение заранее заданного воздействия на слушателя или читателя.

Рассматривая последовательно единицы каждого уровня, мы соответственно получаем ответы на вопросы — как сказано, что сказано и зачем, с какой целью.

Для большинства эмигрировавших из России людей немаловажным побудительным стимулом было неприятие господствовавшего (а частично и продолжающего господствовать) языкового стандарта. Зарубежье в этом отношении снимало ограничения и позволяло говорить и писать именно то, что человек хочет выразить, не прибегая к эзоповскому языку, эвфемизмам и прочим маскировочным средствам. Поэтому различия между языком метрополии и языком зарубежья могут быть иногда акцентируемы самими авторами, особенно в части концептуальных схем и когнитивных моделей действительности, относящихся к "картине мира", а также прагматических установок — целей и "конечных смыслов" говорения/писания. В качестве основного материала для наблюдения над языком в этой статье использованы художественная проза и книжная публицистика. В стороне остался язык газет, устно-разговорная речь и поэтический язык. Художественную же прозу — для этой первой попытки анализа — пришлось ограничить еще и тематически, исключив те произведения, в которых предметом изображения является советская действительность.

2. Семантико-грамматический уровень (Ассоциативно-вербальная сеть: слово, словосочетание и предложение)

Ассоциативно-вербальная сеть носителя языка, ответственная за словоупотребление и построение правильных фраз, обладает рядом замечательных свойств, которые описаны мною в других работах [7—9]. Для наших целей важнейшим является то ее свойство, что грамматика в сети (а стало быть, и в сознании носителя) не отделена от лексики, не противопоставлена ей, как в канонических описаниях языкового строя, а синкретична со словом, разлита, "размазана" по всей сети, рассеяна в аналогических моделях словоформ и словосочетаний, являющихся ее единицами (узлами сети). Большинство говорящих не знает грамматики в традиционно-лингвистическом ее представлении, а использует в своей речевой деятельности "модельность" словоформ, дериватов, словосочетаний. Естественно-говорящий не оперирует набором правил и парадигм, а продуцирует фразу из составляющих сеть готовых словоформ и "моделей двух слов", опираясь лишь на два закона — повторяемости (т.е. прецедентности и воспроизводимости) и аналогии. Это и позволяет в нашем описании обойти традиционное противопоставление словаря и грамматики и рассматривать их в синкретическом единстве.

Дальнейшее изложение во 2-м разделе следует схеме, в которой типовые единицы данного уровня, т.е. семантико-грамматического (или единицы сети), располагаются по степени усложнения процедур, приведших к их трансформации и появлению отличий от языкового стандарта в метрополии.

Словоизменение и словообразование

На первый взгляд могло бы показаться, что каких-то отличий в образовании словоформ ожидать не приходится, ибо грамматические законы весьма консервативны и для их эволюции потребны значительные отрезки времени. Так, исключительное обилие причастий, которым характеризуется современная письменная и устная речь в России, совершенно не было свойственно русскому языку времен Пушкина,

хотя правила их образования остались теми же. То же касается и большего распространения кратких форм прилагательных по сравнению с текстами 150-летней давности [8]. Может быть, для русского языка зарубежья роль исторической протяженности во времени играет географическое пространство, но создание новых словоформ в нем по существующим аналогическим моделям можно зафиксировать, хотя статистически это явление далеко не самое распространенное в ряду варьирования единиц ассоциативно-вербальной сети. Общий принцип таких образований — сдвиг или смена аналогической модели. Ср.:

— в именах существительных: колебания в числе (мн. числа от *singularia tantum* и, наоборот, ед. числа от *pluralia tantum*), а также колебания в роде — *десятки обменов* и *баш-на-башей* [10]; *искусства* и *креда* *вцепляются друг в друга с азартом голодных псов*; *взвешивают стоимость человеческих "творчеств"*; *в силу чрезвычайно развитого у гурьев (< гурю) садистического чутья* [10]; *у меня война в изголовье, а в ногах голод и забота* [1]; *топнув ногой в черной брюке с красным лампасом* [11]; *не могла привыкнуть к маленькой, мешавшей мне протезе* [12]; ср. также образование падежных форм: *когда Хрущев, нахлебавшись сталинских щей* [10], где форма образована по другой модели и спровоцирована рифмой;

— в именах прилагательных: образование сравнительных степеней и кратких форм от относительных прилагательных, образование отсутствующих в норме притяжательных форм по аналогии — *рутинно-водопойны*; *густомыслее* и *корнеее* [10]; *я исполняла дочерину обязанности* (вм. дочернюю) [12];

— в глаголах: образование причастий от несуществующих глаголов или создание неузвучных причастных форм — *плюрализирующаяся жизнь* [10]; *все очерчено рассказано, всем восторгнуто* [13];

— встречаются фонетические варианты слов: *я сгрустнула* [12] (< *взгрустнула*).

Пассивный словарный запас носителя

Естественно, что часть активного — для "российского" русского человека — словаря перестает использоваться за рубежом, отходя в пассивный словарный запас носителей. Пополнение "пассива", как и пополнение "актива", — это нормальные и постоянные процессы языковой эволюции. В "пассив" переходят слова, обозначающие исчезнувшие или потерявшие релевантность реалии материальной и явления духовной жизни. Между пассивом и активом идет постоянный обмен: С.И. Карцевский в 1923 г. отмечал, например: "С развитием авиации возникло и укрепилось слово *летчик*, которое вытеснило постепенно иностранное *авиатор*; но *самолет* в значении *аэроплан* (по типу самокат, т.е. велосипед) не прижилось" [14]. Однако теперь мы употребляем именно *самолет*, оставив за словом *аэроплан* только специфические обозначения.

Со времен Карцевского достоянием пассива стали такие, рассматривавшиеся им как новые для периода 1905—1922 гг., слова, как *керенка* и *керениада*, *потребилка*, *отрубá*, *кинемат* (кинематограф), *совдёлыч* и *совдепшик*, *чайка* и *черезчурка* (ЧК), *чеквалап* (чрезвычайная комиссия по заготовке валенок и лаптей) и *чеквалапить*, *картофелизация* и мн. др. Азёф в романе Р. Гуля о Савинкове говорит, например: "...с одним *метальщиком* нельзя выходить на Плевэ" [11], имея в виду исполнителя террористического акта, который должен *метнуть* бомбу. Это слово не входит в словарь современного языка (см. [15]), и вне контекста "распредметить" его носитель уже не сможет: оно ушло в пассив. И наоборот, в современном русском ожили полузабытые *биржа* и *биржевик*, *биржевые ведомости*, *аукцион* и *аукционер*, *приватизировать* и *приватизация*, *ферма* и *фермер*, *предприниматель*, *банкир*; лишилось отрицательных коннотаций слово *бизнесмен*, расширилась семантика и изменились фреймы, связанные с понятиями *либерализация*, *выборы*, *партия*, *кредит*, *частная собственность* и т.п.

Для русского зарубежья можно отметить два процесса в динамике взаимоотношений пассивного и активного словаря носителя языка. Во-первых, отпала надобность в таких словах, которые обозначают реалии советской общественной жизни и быта: *профорг, милиционер, дружинник, ДОСААФ, старший научный сотрудник, стенгазета*; уменьшилась частотность слов и изменились стоящие за ними фреймы ситуаций *достать* или *очередь*, *записаться* или *отмечаться*, *казак* и т.п. Во-вторых, стали более активны слова бытовой лексики, которые в литературном русском языке теперь воспринимаются как устаревшие и перешли в пассив носителей, оставшись достоянием словарей: например, *разлтый, присядка, цукать, обсуживать, разводка* (в значении разведенная с мужем женщина), *этот присест мы давно облюбовали* [13] (ср. значения и квалификацию этих слов в словаре [15]).

Сложность в наблюдении за лексикой пассивного словаря заключается в том, что для ее выявления необходимо сопоставить достаточные пространственные словники "русских" и "зарубежных" текстов. А для такого сопоставления следовало бы проделать большую собирательскую работу, которая при подготовке этого предварительного очерка не предполагалась.

Словообразование

Этот способ пополнения и развития словаря и ассоциативно-вербальной сети носителя наиболее эффективен в эволюции языка и наиболее распространен в текстах русского зарубежья. Свобода словотворчества, не сдерживаемого искусственно политическими и идеологическими тормозами, ведет к созданию новых слов, и почти каждый деривационный акт — во всяком случае, в публицистических текстах — оказывается нагруженным когнитивно (т.е. несет некоторый новый понятийный смысл) и наделенным прагматически и эмоционально, способствуя достижению определенной воздейственности на читателя. Здесь нет нужды давать хрестоматийную квалификацию приводимых ниже случаев по способам и типам словообразовательных процедур, поскольку они стандартны. В одной только публицистической книге В. Зубова [10] мною отмечено более ста пятидесяти новообразований, большинство из которых являются, однако, окказионализмами. Рассматривая их здесь как "новые слова", я исхожу из мысли А.А. Потебни, что создание слова есть только первый случай его употребления.

Примеры эти таковы: *подлецизмы и мерзавизмы, по-компартовски* (< *компартия*), *четырегонометрия* (< *тригонометрия*), *вкусопоклонники и челобитники красоты, эмигрантское отствование советского диссидентства, оккультиоложество и оккультиоложцы, беспрестижье, просибирены, поддакивали и подмалчивали, учмужи* (< *ученые мужи*), *линкорность* (атрибут советских генералов), *вопрекизм, назловешество, заносчивая грудьколёсость* и др. [10]; *радикальная идеократия, политическое убежденство, трагическая двоица любви и смерти* [16]; *в ожидальне* (больничной кассы), *здесь я была в укрмности* [17]; *демдвиж* [18]; *нежноротость* [19]; *скотолубчивые повелители* [20]; *догон Запада* [21]; *дылдаст, ёдово* (как *варево, жарево*), *лукозерье* (< *лукоморье*) [13]; *несчастнослучайники* [22] и др.

Заемствования

Употребление иностранных слов, не освоенных языком и не проникших в широкий круг текстов, — явление, которое в равной мере прослеживается и в российских текстах, и в текстах русского зарубежья. Различия — в самих этих словах: за рубежом в этой роли оказываются часто не те слова, которые используются в России. То же касается и собственно иноязычных вкраплений, входящих в русский текст на языке оригинала, которые мы тоже, хотя и условно,

включаем в данный разряд единиц ассоциативно-вербальной сети. Именно единицы, маркируемые как заимствования, наиболее ярко отражают территориально-варьирующееся влияние инонационального окружения носителей русского языка, будь то французская, английская или немецкая языковая среда. Ср. у С.И. Карцевского: "Мы нередко наблюдали, что русские интеллигенты, напр., студенты, живя в Швейцарии, говорили *гутцировать* (< *gouter* — для обозначения 5-часового чая), тогда как простые люди, напр., прислуга, завезенная за границу, образовывали слово *гутекать*" [14].

Рассмотрим некоторые примеры передаваемых русской графикой иностранных слов, отметив, что стилистическая их функция — создавать эффект привязки дискурса к точному (геонациональному) месту и акцентировать явное или неявное противопоставление русского и не-русского: амер.: *на хайвеях*, *скеттинг-ринг*, *стаффаж* [13]; *коммонсенс*, *коммонсенщина* и *материцина* [10]; *заниматься шопингом* [23]; *коктейль-парти* [18]; *инглиш* [19]; *дрифтеры* [1] и др.; франц.: *высочайше утвержденный дюрюсс с петушками* [16]; *дортуар* [17]; *эколь дэ шарт*, *шартистка* [18]; нем.: *паркен*, *фишен* [13]; *апфелькухен* [11]; афг.: "*Афганец верит в Аллаха и дерется за свою ватан, а мы в Аллаха не верим и деремся, чтоб отобрать у него ватан*" [22] (*ватан* "родина" — К.Ю.); евр.: "*Обрывки фраз там, обрывки строк здесь, и вот уже бизнес, и вот уже цимес, и уже цорес, и кадохес*" [10]; *А, зохен вэй!* [22].

Что касается иноязычных вкраплений, то их количество определяется жанром текста: в публицистике их больше, в художественной литературе меньше, причем в публицистике это, как правило, "модели двух слов", своеобразные понятия-паттерны, тогда как в художественных произведениях это скорее указатели, т.е. уточняющие время, место или функцию элемента текста — надписи, названия, фреймы. Вот некоторые примеры: *столь же wishful thinking*, *соль и common sense* [10]; "*Российская интеллигенция — типичная секта, то, что французы называют petite religion*" [16]; *держат экзамен brevet* [17]; "*Будет для Андрея message? longe distance разговор*"; *Klein, aber mein* [13] (надпись); "*Фредерикс любил mots*" и *засмеялся* [11] и т.п.

Семантическое переосмысление

Процессы семантического переосмысления и развития значений слов столь же активны в исторической эволюции языка, как и в его метаморфозах за рубежом. Я выделяю здесь три типа переосмыслений.

Во-первых, это отрицательные коннотации, которые приобретают в зарубежных русских текстах все, считавшиеся в России вплоть до "перестроечных" времен сугубо положительными, советские политико-идеологические термины и идеологически окрашенные слова. И наоборот, лишаются отрицательного семантического ореола слова, обозначающие явления и факты, осуждавшиеся официальной идеологией. Одновременно многие вещи, скрывающиеся в СССР, никогда не называвшиеся своими собственными именами, в зарубежных текстах обретают аутентичную номинацию, например, *карательная медицина* [24].

В известном смысле маятник переоценки значений большой группы слов и понятий качнулся в сторону, противоположную той, которая имела место в России и в СССР, когда говорили (в 20-х годах) о *белогвардейской сволочи*, *буржуазной клике* и *своре*, *наемниках Антанты* и *мирового капитала*, *белогвардейских бандах* и *золотопогонниках* (а советские солдаты в Афганистане в 80-х годах поют белогвардейские песни — К.Ю. [22]); о *похабном Брестском мире*, о *копошащихся гнидах империализма* и *ревизионизма*, *место которым на свалке истории*, и наоборот, когда самыми ходовыми прилагательными положительной оценки были *красный*, *трудовой*, *социалистический*, *советский*, *революционный*, *рабоче-крестьянский*, *пролетарский*, *идеологический*, *коммунистический*.

Надо сказать, что такого рода переосмысление происходит и в российском общественном сознании и отражается на страницах печати в России со второй половины 1991 г. (после августовского путча особенно).

Рассмотрим некоторые примеры из зарубежных текстов: *советские бонзы, арестантский тракт истории СССР, Молох коммунизма, черное поле социалистического размаха, мленистское мировоззрение* (< марксистско-ленинское), *"говейская" власть* [10]; *революционное идолопоклонство, социалистическая олигархия, от "черного" до "красного" один шаг, коммунистическое крепостничество* [16]; *коммунист у нас слово ругательное, плохое слово* [18]; *правлящий в СССР коммунистический класс* [25]; *мазохистское разоблачение недостатков в Советском Союзе, опереточные оппозиционеры, игра в оппозицию* [21] и т.п.

Второй тип переосмысления реализуется на именах собственных, и функционально он ориентирован на придание слову отрицательного смысла и отрицательной коннотации, часто прямо противоположных традиционно положительной оценке этого имени. Способ этот стар как мир и всегда использовался в полемических целях и христианскими проповедниками, и в революционной риторике со времен Великой Французской революции. В русском политическом языке он получил особенно широкое распространение с начала XX в., в том числе в ленинских текстах, во многом определивших стилистику советского политического языка: *Деника-воин, либерданствовать* (< *Либер* и *Дан*) и т.п.

Переосмысление имен, граничащее с каламбуром, довольно часто и в разговорной речи. Карцевский отмечает: «Смотри, семашка ползет!» (за подписью комиссара народного здоровья Н.А. Семашко распространялись афиши с призывом уничтожать вшей и клопов); «Вот так Стучка!» Имя г-жи Колонтай дало *колонтаить...*» [14].

В зарубежных текстах такой способ переосмысления чаще всего мы встречаем в публицистике: *Америка скроена не по-Махачкаласски; Мракс и великие мраксятя; о какой новой трагедии сталинских Агод, концлагерных прерий и берий, абакумовств на верхах можно говорить* [10].

Видимо, вариантом данного способа следует считать чисто словообразовательный прием создания от известных имен новых слов, обозначающих отверженцев и последователей, но с использованием каждый раз ненормативной для исходного имени модели: *"Встают диссиденты против властей, друг против друга, ...появились гумилёфовцы против блочкистов, цветайцы против ахматуев, мандельштамисты вопреки пастернацам, растроповцы назло вишневестым, бродкисты супротив коржянцева..."* [10].

Если два первых охарактеризованных способа переосмысления слов заряжены в основном эмоционально когнитивным моментом и их итогом становятся, как правило, окказиональные образования и неологизмы, то третий представляет собой эмоционально нейтральный, классический, так сказать, путь развития, расширения семантики уже известных слов, бытующих в языке, который присущ эволюционно-временной перспективе языка. Перечень слов, подвергшихся такому переосмыслению, в появившейся в поле моего зрения литературе невелик.

Сожительница: *"Ни с одной из сожительниц я не сблизилась..."* [17]. В современном словоупотреблении это слово обозначает женщину, живущую вместе с мужчиной вне законного брака. В цитируемом тексте происходит расширение его значения до *"проживающие совместно"* (в данном случае в доме отдыха).

Кабинет: *"Отец Беатрисы не оставался с женой в кабинете, а подходил к нам..."* [17]. Речь идет на самом деле о кабине для переодевания на пляже.

Ребяческий: *"...правы те, кто считает его ребяческим чудачком"* [17], т.е. чудачком с ребяческими замашками, с чертами ребячества. Здесь происходит расширение сочетаемости прилагательного, которое в современном узусе может

относиться к свойствам (*ребяческие выходки*) или состояниям человека (*ребяческое блаженство*), но неприложимо к словам—названиям лица.

Соглядайтй: "Я пришла... от нечего делать, да еще из некоторого любопытства, и сразу превратилась в критикующего соглядайтй." [12]. *Соглядайтй* — это человек, тайно высматривающий нечто с целью использовать информацию во вред тому, за кем ведется наблюдение. В цитированном же сочинении слово употреблено в своем этимологически чистом, без коннотаций значении и выступает полным синонимом слова *наблюдатель* или *зритель*.

С аналогичным расширением значений подчеркнутых слов мы встречаемся во фразах: "...и принялся жевать столбняком (т.е. стоя как столб. — К.Ю.) заплесневелые макароны" [20]; "...малолетняя шантрапа копошилась в бассейне асухомятку" [13] (в бассейне не было воды. — К.Ю.); "...она явно шиковала своими лингвистическими знаниями" [12] и др.

Словосочетание и предложение

Грань, отделяющая изменения в лексической и синтаксической сочетаемости слов от изменения значений единиц, составляющих такие словосочетания, довольно зыбка и в известной мере условна. Как трактовать, например, следующее, необычное для современного российского русского соединение слов, в котором сема "юности, молодости" в одном из них приходит в противоречие с семой "старости" — в другом? — "...чемодан, в котором новобрачная бабушка привезла некогда свое имущество..." [17] — как изменение сочетаемости или расширение значения прилагательного?

Выше, говоря об изменении значений идеологически окрашенной лексики, я рассматривал подобные сдвиги семантики как раз в словосочетаниях, в "моделях двух слов". В сфере лексики бытовой, политически нейтральной различия могут обнаруживаться в управлении, ср.: "...стал подбирать и бросать на отца камешки..." [17]; или: "...болезнь, *ребяческое блаженство* в санатории, безграничный ужас, последовавший *блаженству*..." [17], где стандартное словопотребление требовало бы скорее предлога *за*. Наоборот, предложное управление появляется там, где современные российские норма и узус предполагают винительный без предлога: "...когда видишь комический сыск за несуществующими ересями" [16]. Иногда замена одного из слов в связанном сочетании на его синоним создает эффект "остранения", граничащий с "ошибкой": "...во мне могло бы взойти опасение..." (< возникнуть); или: "Хозяйка долго ломалась *пустить*" [13] (< *ломалась, не пуская или не хотелапустить*). Аналогично неузвальная вариативность управления во фразе "*Тротуаром останавливались люди*" [11].

Правила согласования — семантического и синтаксического — в случае их нарушения могут приводить к появлению необычных словосочетаний: *апельсиновый цвет заката* [13] — несколько неожиданное для русского восприятия захода солнца, как, впрочем, и сочетание *беженская вечеринка* [13].

Той тенденции, которая характеризует современные российские художественные и политические тексты, а именно, тенденции к обильному использованию в них бессубъектных конструкций разного рода [2], в зарубежных русских текстах в целом не отмечается. Однако есть случаи образования безличных глагольных форм от слов, обычно таких форм избегающих: "*Вход в нее* (в библиотеку, — К.Ю.) *не запрещался, но советовалось заходить туда только в случае...*" [17].

3. Когнитивный уровень языковой способности (элементы "картины мира")

В качестве элементов данного уровня я рассматриваю такие единицы текста, с помощью которых говорящий/пишущий обозначает определенные концептуальные (по функции) или ментальные (по природе) — структуры, отражающие его мировидение. Составляющаяся из них картина мира, или тезаурус (мир) личности, имеет тенденцию к последовательной иерархической организованности¹, хотя на деле строгости и полноты не достигает. Он никогда не бывает логически непротиворечивым и завершенным (ведь процесс познания и роста суммы знаний не останавливается), а, наоборот, характеризуется известной мозаичностью и прихотливостью. В языковом плане эта неизбежная человеческая непоследовательность и вытекающая из нее динамика тезауруса выражаются в том, что каждой единице с объективно логическими свойствами, занимающей определенное место в иерархии концептов мира, противостоит в том же тезаурусе единица иного рода, окрашенная субъективными представлениями и предпочтениями, личностным отношением, эмоционально-оценочными коннотациями, ситуативным состоянием духа.

Поэтому соотношение элементов тезауруса можно представить в виде двух следующих параллельных рядов текстовых единиц:

Логически мотивированные концепты	vs. Каламбуры (в том числе игра слов, рифма в прозе и т.п.)
Генерализованные высказывания	vs. Фразеологизмы (в том числе пословицы, поговорки, крылатые слова и выражения)
Дефиниции	vs. Парадоксы
Фреймы	vs. Метафоры

Если единицы левой колонки стремятся к логической строгости и упорядоченности, то единицы правого столбца, даже имея в виду один и тот же денотат или сигнификат, разрушают эту системность, придают тезаурусу динамику, окрашивают его позиции скепсисом, иронией, юмором, часто нося амбивалентный характер. Проиллюстрируем хотя бы на единичных примерах эти соотношения.

Концепты vs. каламбуры

Мафиекратия [10] (то же понятие, хотя без употребления именно этого термина, в [16, 25] и [21]), а соответствующие каламбуры — *шантажультничество до шантажультности; вотчина, да с червоточиной* [10].

Друговость [10] vs. *протестуозность; с лидуркически распахнутыми сердцами* [20].

Массмодернизм [10] vs. *его дарование наукадо; культурегери и талантулы* [14].

Церквизм vs. *право-славие, ставшее оплотом и славословием политической правоты; митрополитиканство*.

Идеократия vs. *проповедогандировать; на посту духократства и духокрадства* и мн. др.

Генерализованные высказывания vs. Фразеологические выражения

Генерализованные высказывания представляют собой некоторые обобщающие суждения, содержащие относительно простые житейские правила, формулы поведения и оценки, афоризмы и сентенции, отражающие естественные нормы здравого смысла. Те же обобщение и оценка ситуации заключены в во фразеологизмах, но генерализованные высказывания однозначны, являются авторским образованием,

¹ Иерархия в устройстве мира — это такая же априорная категория человеческого сознания (или бессознательного), как пространство и время.

создаваемым на случай, и образно-эмоциональный момент для них факультативен. Фразеологизмы же, как известно, это общезыковая, повторяющаяся и воспроизводимая формула, приложимая к самым разнообразным, в том числе и противоположным ситуациям, т.е. поливалентная, с обязательным образно-эмоциональным компонентом.

Понятно, что в художественной литературе генерализованные высказывания могут касаться всех без исключения сторон человеческой жизни, от сугубо индивидуальных и интимных — до социально-политических и философских: *не надо жаловаться; нельзя быть эгоистами* [17]; *«Говорят, будто "кесарю — кесарево" есть первая канонизация оппортунизма: жалость к ближнему спасает от обидной жалости к самому себе* [13]; *«Так-то, сударь, все великое-то в миг рождается, — бабушка (здесь "бабушка" русской революции — Брежневская. — К.Ю.) раскатисто засмеялась»* [11] и т.п. Подобные афоризмы могли прозвучать на любом языке и в разные времена, и то, что они принадлежат русским персонажам, живущим и действующим за границей, практически не накладывает на них какого-либо своеобразия.

Иное дело такого рода выражения (и соответственно, концептуальные структуры) в публицистике: *коммунизм — не атеизм, но религия атеистических псалмов* [10]; *убеждения не только притупляют ум — они изгоняют совесть* [16]; *зрелое коммунистическое общество по преимуществу консервативно* [21] и под.

Что касается фразеологизмов в широком смысле слова, то поскольку они являются воспроизводимыми речениями, ожидать различий в их употреблении можно по двум линиям: по составу фразеологии, употребляемой сейчас в России и за рубежом, и по приложимости той или иной фразеологической формулы к определенным жизненным ситуациям, событиям, фактам, явлениям. В качестве эталона сравнения нельзя, конечно, брать весь фонд русской фразеологии, в котором одни только идиомы составляют 8 тысяч единиц [26] и на фоне которого те 100 ФЕ, которые извлечены мною из вошедших в библиографию зарубежных текстов, составляют каплю в море. Поэтому я сопоставил фразеологию в зарубежных источниках с той активной сегодня в сознании русских частью фразеологического фонда, которая вошла в "Русский ассоциативный словарь" [26], отражающий живую ассоциативно-вербальную сеть, т.е. воплощающий реально функционирующую языковую способность современного носителя языка. Словарь фиксирует 17 тыс. вхождений ФЕ, среди которых 2,5 тыс. разных [28].

Проведенное таким образом сравнение резюмировалось в общем довольно тривиальным выводом. Оказалось, что зарубежные русские авторы, принадлежащие (фактически) к первой волне эмиграции (Р. Гуль или Л.Д. Ржевский), не используют ФЕ, активных в ассоциативно-вербальной сети современного носителя: почти ни один — из двухтомного романа первого из них и книги рассказов второго — не вошел в упомянутые 2,5 тыс. фразеологизмов в "Русском ассоциативном словаре". Ср.: *на один крюк всего не повесишь; хочу с кашей ем, хочу масло пахтаю* [13]; или: *на что Касьян взглянет, все вянет; один горюет, артель воет; зайца на барабан не выманишь* [11] и мн. др.; или: *хороша старина, да и бог с ней* [16] и т.п. Интересно, что в мемуарно-дневниковом жанре фразеология практически отсутствует. Так, в трехтомном издании дневников И.А. и В.Н. Буниных [29] встретился лишь один фразеологизм: *горе рака красит* — по поводу "покраснения" русских (пленных и беженцев во Франции) по мере приближения победы России в войне с Гитлером.

И наоборот, авторы из второй и третьей волн эмиграции тяготеют почти исключительно к набору ФЕ, вошедших в ассоциативно-вербальную сеть среднего носителя языка наших дней: *первая ласточка; наломать дров и сесть в лужу; как кость в горле; хлопнуть дверью; бельмо на глазу; голод не тетка, жажда не тесть* [23, 18, 30, 21, 22].

Необходимость введения в текст логически построенного определения появляется тогда, когда соответствующее понятие в тезаурусе автора несколько отличается от общепринятого или когда автор хочет выделить некую сторону определяемого понятия, которой обычно не придается значения. Парадокс — это как бы антидефиниция, т.е. по форме это то же определение, но через противоположное определяемому понятие, что придает всему выражению эмоциональную окраску. Давать дефиниции и строить парадоксы — прерогатива публицистов, хотя, надо сказать, этих способов эксплицирования единиц своего тезауруса не чуждаются и писатели. Ср.: *"Ностальгия — это и есть прежде всего одиночество, помноженное на неродные березки"* [13]; *"Демократизм как установка души — это и есть терпимость к друговости..."* [10] и т.п.

Парадоксы охватывают по сути те же понятия, которые подвергаются когнитивному переосмыслению и переформулированию в связи с дефинированием: *"В условиях коммунизма экономическая неэффективность оказывается даже экономически выгоднее обществу"* [21]; *"Истинная радость в мире падшем достигается на пути крестном"* [16]; *"Творец искусства может быть нетворческим человеком, талантливый литератор или художник — неталантливым человеком"* [10] и под.

Фреймы vs. метафоры

Фреймы, т.е. типовые когнитивные структуры, соответствующие распространенным и общепонятным, обычно не вербализуемым в деталях ситуациям в речевом коллективе, в речевой общности, которой принадлежит говорящий, могут различаться и быть непонятны тогда, когда имеется в виду ситуация, способ действий в которой не известен представителям иной речевой общности. Подобные случаи расхождений в понимании ситуации и связанных с ней поведенческих автоматизмов возникают при встрече с иной культурой или национальными традициями.

Фреймов, не известных широкому русскому читателю в России, в зарубежных текстах в целом немного. В языковом выражении фрейм может быть представлен либо одним словом, либо словосочетанием. Рассмотрим некоторые из них.

Укрутка [18] — это одновременно и новое для российского читателя слово, и фрейм, который обозначает такую процедуру, когда на заключенного (в тюрьме или психлечебнице, а именно из такой "речевой общности" слово вышло на страницы массовой печати) наматывают в несколько слоев мокрую парусину, которая по мере высыхания сжимается, причиняя невыносимую боль. Интересно, что в словаре Ж. Росси [31] этого термина нет, а есть *рубашка* или *смирилка*, причем последнее слово покрывает своим значением и фрейм *укрутка*.

Аналогично не вполне ясными в деталях для российского читателя окажутся фреймы *памятник по подписке* [13] или *прощание* [13], т.е. ритуал расставания с гостями, который имеет различия и в европейских культурах, и разнится между Европой и Америкой.

Метафорический строй русской зарубежной прозы характеризуется резкими отличиями и общезначимостью метафоры, пожалуй, лишь в политико-публицистических текстах. В художественных произведениях метафора камерна, она является сугубо авторским сиюминутным образованием, не претендующим на когнитивную общезначимость и глобальное воздействие на читательский тезаурус. Надо сказать, что и по количеству метафор публицистика держит первое место по отношению к художественной прозаической речи. Анализ русской политической метафоры 1990 — первой половины 1991 годов [32] показал излюбленные сигнификативные сферы, к которым тяготеет воображение публицистов и политиков при осмыслении ими реалий российской жизни и общественно-

политических коллизий в стране, т.е. позволили выделять феномены, в свете которых преимущественно и оцениваются актуальные события и факты. Сферы эти таковы: война, путь, строение, персонификация, механизм, театр, игра и др.

Если сравнивать зарубежную метафорику (в объеме того небольшого материала, который удалось посмотреть) с современной российской, то бросается в глаза прежде всего приглушенность военной метафоры при выдвижении на первый план метафоры персонификации. Из общего числа более сотни извлеченных из текстов метафор персонификационные занимают четвертую часть, тогда как на долю военных приходится 18%. Ср.: "...написано специально о наших православных тиранах сомнения и инакомыслия"; "...это не только несправедливо, это бесчеловечно — выткать кляп в рот творческому импульсу" [10] и военные: "... до тех пор, пока Ленин остается работоспособным, то есть еще может диктовать, Сталин весьма серьезно занят его блокадой" [33]; гуманитарные ученые (в СССР. — К.Ю.) родились под бомбами психологической нетерпимости [10].

Прочие типы сигнификативных метафорических сфер распределяются более или менее равномерно между полями "животный мир" («...русское "культурное зарубежье" представляет из себя враждующие территории, на которых царствуют "крупные самцы" мировоззрений и художественного вкуса» [10]); "организм" и "одежда" ("Антибольшевистский идеологический шарф старой эмиграции не смог прикрыть все ту же знакомую мне волосатую манию насильственных политических решений, присущую советским коммунистам" [10]); "растение" (на стебле власти [10]); "театр" (грандиозные спектакли советского руководства, устраиваемые с целью одурачить Запад [21]) и др.

В таком распределении обращает на себя внимание отсутствие — на фоне современной российской метафоры — таких наиболее активных в ней сегодня сигнификативных сфер, как "механизм" (винтик, гайка, рычаг, приводные ремни и т.п.); "путь" (повороты, подъемы, ухабы, перевалы); "строительство" (проробы, цемент, перекрытия, стена).

Но наиболее показательные, может быть, различия обнаруживаются при сопоставлении денотативных областей метафоры в российской печати и зарубежной, т.е. не того, как, с помощью чего метафорически осмыслиется (с чем сравнивается) то или иное явление, событие, факт или лицо, а именно что подвергается метафорическому представлению, каковы сами эти явление, событие, факт или лицо. Если в России с максимальной интенсивностью метафорическими концептуальными структурами описываются политическая деятельность, экономика, идеология, перестройка, КПСС, СССР, рынок, межнациональные отношения, республики, то в зарубежной русской публицистике и состав, и предпочтительность объектов метафоризации оказываются иными. Так, экономика, экономические отношения, хотя являются предметом изучения в ряде работ [25, 21], метафор почти не порождают. Если сгруппировать извлеченные мною из текстов метафоры по областям действительности, к которым они относятся и которые характеризуют, и расположить их по убыванию числа метафор, к ним относящихся, мы получим цепочку, которая имеет минимальные пересечения с приведенной выше для российской метафоры: 1) тоталитарный режим в СССР; 2) КПСС, власть КПСС, лидеры; 3) официальная коммунистическая идеология; 4) эмиграция, эмигранты, диссиденты; 5) православие; 6) оккультные течения (в СССР и за рубежом), их лидеры и adepts; 7) наука в СССР; 8) искусство и литература (русская литература, соцреализм, русское искусство и культура за рубежом) и их представители.

Проиллюстрируем названные зоны метафоризации:

1) "Тоталитарное лоно вскармливает антагонистические противоречия с тою же непреложностью, с какой кипение проявляется в пузырях"; "...существует особая полярность между авансценой "добрых намерений" и спертými кулисами эмоций ненависти" [10];

2) "...по-компартовски фартовая теократия и светская мафиократия составляют единый кулак, сжимающий одновременно и молот индоктринации и серп кары за мировоззренческие отклонения от массово-идеологической нормы бытия"; "Летела труха от ранее набитых слепым идеализмом народа — кукол советских богов с политбюровских тайных вечерь" [10];

3) "Такое размножение мировоззрений/вер было, как читатель легко может понять, — невозможно на огороде официальной идеологии, где коммунизмоцентрированная и слепленная слюной русско-советского шовинизма вера окончательно окостенела в полый догматизм и костыльную ритуальность" [10];

4) "По крайней мере 20 лет до своего появления на Западе те, кого мы назвали адептами провинциального авторитаризма — подставляли спины и затылки под фуганки и рапили советского быта и коммунистической идеологии" [10];

5) "...под иным по видимости флагом русского православия было то же тоталитарное древо" [10];

6) «Культ этот (теплохранительство духа. — К.Ю.) представляет собой конгломерат оккультистских мудростей, кредо и символов веры, вербального каждения вокруг "великих имен" и психологического падания ниц перед сбивающими тебя с ног тайнами» [10];

7) "Советское юношество...ныряет в науку, как Иванушка-дурачок в кипящее молоко" [10];

8) "Эти люди вокруг плоти искусства, распространяющие пропагандистки-восторженное жуужжание вокруг тех, кто обладает способностью стилировать. Они как мухи, обирающие эстетический пот"; "В идеологической кичливости соцреализма или в стилистической бравате неконформизма тоталитарный человек размахивает иконой нормативности как пращой"; "...русская литература в альманахе сведена к па языком, представая в роли дизитического гарнира к ликеру"; "Королина (и ее муж Взашейн) воспринимают искусство как что-то вроде белых перчаток на кухне политического быта" [10].

4. Прагматический уровень. ("для чего" и "для кого")

Единицы этого уровня языковой способности (или языковой личности носителя), ориентированные на воздейственно-оценочную функцию, весьма разнообразны и многочисленны. По своей природе они являются единицами затекстовыми или надтекстовыми, в том смысле, что для их декодирования, для их распредемичивания необходимо выходить за рамки конкретного текста. В их составе я числю, например, пресуппозиции, играющие важную роль прежде всего для формирования структуры художественного произведения, для выстраивания его композиции; ключевые слова, определяющие движение сюжета (если он есть); способы аргументации в авторском дискурсе и в речи персонажей [9]; а также прецедентные тексты культуры, т.е. широко распространенные, известные практически каждому носителю данного языка и данной культуры явления литературы, живописи, скульптуры, зодчества, музыки, народного творчества, — известные, часто воспроизводимые в общении и текстах и поэтому воспринимаемые по намеку, одному выразительному штриху или даже косвенному упоминанию.

Для данной задачи — характеристики русского языка зарубежья — я хотел бы наметить лишь несколько "прагматикалий", выбрав именно их для последующего детального рассмотрения не потому, что они могли бы претендовать на универсальность, а в силу их, как мне представляется, наибольшей показательности, наибольшей дифференцирующей значимости для анализируемых текстов и максимальной близости к ответу на вопросы, взятые в скобки в названии этого раздела.

Прежде всего следовало бы рассмотреть мотивы и настроения, которыми проникнуто творчество зарубежных русских писателей. Я отдаю себе отчет в том, что тот небольшой список источников, который вошел в библиографию

статья, явно недостаточен для указанной цели на фоне существующих, созданных сорок [34, 35] или двадцать лет назад [36] обзоров, а тем более на фоне современных, находящихся в состоянии подготовки исследований. Так что эта задача — на некоторую перспективу.

Тем не менее уже сейчас можно говорить о таком прагматическом показателе, как главный герой русской зарубежной литературы. Как правило, это эмигрант, за сложными перипетиями судьбы которого стоят напряженные размышления о России, о своем предназначении и смысле жизни, о роли и ценности эмиграции (эмиграции как процесса и как состояния). И оценочная шкала колебаний здесь оказывается настолько широкой, что на одном ее полюсе помещается безоговорочная апология эмиграции [37, 38] с анализом того культурного и духовного вклада, который она внесла в историю русской и мировой цивилизации, тогда как на другом конце — уничтожающая филиппика [10] в адрес ее политических и культурно-этических позиций. Естественно, с богатой гаммой переходов между двумя этими экстремумами.

Одним из центральных и неизбежных мотивов художественной литературы является мотив ностальгии, который столь разнообразен в своем языковом проявлении, что его воплощение можно обнаружить, наверное, в единицах всех трех уровней языковой способности, рассмотренных в этом этюде. Далее, большое место занимает в русской зарубежной литературе образ чужой страны и людей, а в связи с этим образом и на его фоне отчетливо вырисовываются черты русского национального характера, увиденные совсем иначе и другими глазами, чем это позволяет сделать позиция российского русского писателя.

Думается, что весьма показательным будет анализ прецедентных текстов, которыми оперирует автор и его персонажи. Различия в их составе и количестве значительны и определяют как жанром произведения, так и принадлежностью автора к той или иной эмиграционной волне. Писатели старшего поколения используют (с разными целями — аргументации, эмоционального воздействия и даже для выражения основной идеи своего произведения) широкую палитру имен персонажей, названий и цитат из русской литературы. Например, Л.Д. Ржевский, чтобы усилить свое ощущение от восприятия им своего друга и его состояния на чужбине, прибегает к цитате из рассказа Л.Н. Толстого "Люцерн": "Седьмого июля 1857 года в Люцерне перед отелем Швейцаргофом, в котором останавливаются самые богатые люди, странствующий нищий в продолжение получаса пел песни и играл на гитаре. Около ста человек слушало его. Певец три раза просил всех дать ему чего-нибудь. Ни один человек не дал ему ничего, и многие смеялись над ним" [13]. Исключительным обилием упоминаний, отсылок, цитат из русской литературы XIX и XX вв. (в том числе советской) отмечены дневники Буниных [29], причем рассыпанные по разным годам тонкие замечания об отдельных произведениях, сжатые и точные формулировки, иногда убийственные оценки могли бы составить специальную антологию. Такое основательное и глубокое включение русской литературы в свой мир мы найдем у В.Н. Ильина, Р. Гуля, Л.Д. Ржевского. У авторов, представляющих третью волну эмиграции, например, в [10, 23, 33, 30, 22], и круг ассоциируемых прецедентных текстов, и их состав, как и мотивы обращения к ним, оказываются уже, чем у писателей старшего поколения.

Наконец, интересные результаты могло бы дать наблюдение и интерпретация того, как русские зарубежные авторы называют свои произведения, т.е. семиотика заглавий. У того же Ржевского в сборнике рассказов разных лет символика их названий отчетливо коррелирует с некоторыми из выделенных здесь "прагматикалий". Так, "Малиновое варенье" — и в тоне рассказа, и в его названии — несет в качестве доминирующей ностальгическую ноту; "Полукрылый ангел" символизирует русскую интеллигенцию и русского интеллигента за границей; он "полукрылый", ему "не взлететь"; "За околицей" — значит за границей,

вне родины; то же "Через пролив"; через пролив аятор-рассказчик приехал навестить своего старого друга, как и он живущего за границей, но и через пролив находится Россия; "Полдюжины талантов" — это как бы типично русский характер, обладающий массой высоких задатков, ни один из которых так по-настоящему и не раскрылся; и т.п.

Я отдаю себе отчет в том, что высказанные в статье соображения о возможных аспектах изучения языка русского зарубежья ни в коем случае не исчерпывают всех возможностей. Тем более статья не претендует на то, чтобы представить развиваемый в ней подход к проблеме как наиболее эффективный. Я надеюсь, что материал статьи и идеи вызовут интерес у специалистов и привлекут внимание к обсуждаемой теме.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Синкевич В. Здесь я живу. Филадельфия, 1988.
2. Караулов Ю.Н. О состоянии русского языка современности. М., 1991.
3. Русская эмиграция в Европе: сводный каталог периодических изданий, 1855—1940/Établi par Tatiana Ossorguine-Bakounine. P., 1976.
4. Русская эмиграция в Европе: сводный каталог периодических изданий. 1940—1979/Établi par Anne-Marie Volkoff. 2-е éd., refondue. P., 1981.
5. Библиография русской зарубежной литературы. 1918—1968/Сост. Фостер Л.А. V. 2. Boston, 1970.
6. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. М., 1987.
7. Караулов Ю.Н. Морфология в ассоциативно-вербальной сети носителя языка // Русский язык и литература в общении народов мира: Материалы VII конгресса МАПРЯЛ. М., 1990.
8. Караулов Ю.Н. Ассоциативная грамматика русского. М., 1992.
9. Караулов Ю.Н. Словарь Пушкина и эволюция русской языковой способности. М., 1992.
10. Зубов В. (Victor Emyutin). 16-я республика СССР. (О советской эмиграции на Запад). San Francisco, 1982.
11. Гуль Р. Генерал БО. Т. I. Берлин, 1929.
12. Волкова Е. Обьедки. Р., 1987.
13. Ржевский Л.Д. За околицей. Рассказы разных лет. Тель-Авив, 1987.
14. Карцевский С.И. Язык, война и революция. Берлин, 1923.
15. Словарь современного русского литературного языка: В 17 т. М.; Л., 1952—1965.
16. Ильин В.Н. Религия революции и гибель культуры. Р., 1987.
17. Волкова Е. Быль и небыль. Перемены. Париж, 1991.
18. Буковский В. Почему русские сороятся? // За чей счет?: Сборник полемических статей / Ред.-сост. Фельштинский Ю. Тель-Авив, 1986.
19. Темкин М. В обратном направлении. Париж, 1989.
20. Козовой В. Поименное. Париж, 1988.
21. Зиновьев А. Горбачевизм. N.Y., 1988.
22. Рыбаков В. Афганцы. Л., 1988.
23. Коржавин Н. За чей счет? Открытое письмо Генриху Бёллю // За чей счет?: Сборник полемических статей / Ред.-сост. Фельштинский Ю. Тель-Авив, 1986.
24. Подрабинек А. Карательная медицина. Нью-Йорк, 1979.
25. Земцов И. Частная жизнь советской элиты. Л., 1985.
26. Баранов А.Н., Добровольский Д.О. Словарь-справочник по русской идиоматике (Машинная версия). Ин-т русского языка РАН. М., 1992.
27. Караулов Ю.Н., Сорокин Ю.А., Тарасов Е.Ф., Уфимцева Н.А., Черкасова Г.А. Русский ассоциативный словарь (Машинная версия). Ин-т русского языка РАН. М., 1992.
28. Добровольский Д.О., Караулов Ю.Н. Фразеология в ассоциативном словаре // ИАН СЛЯ. 1992. № 6.
29. Устами Буниных: Дневники Ивана Алексеевича и Веры Николаевны и другие архивные материалы / Под ред. Грин. М.: В 3 т. Frankfurt-a. M., 1977—1982.
30. Тмарченко А. Свобода мнений и уважение к истине // За чей счет?: Сборник полемических статей / Ред.-сост. Фельштинский Ю. Тель-Авив, 1986.
31. Росси Ж. Справочник по Гулагу. Исторический словарь советских пенитенциарных институций, связанных с принудительным трудом / Предисл. Безансона А. Л., 1987.
32. Баранов А.Н., Караулов Ю.Н. Русская политическая метафора: Материалы к словарю. М., 1991.
33. Штурман Д. В.И. Ленин. Что нужно знать о? Р., 1989.
34. Тхоржевский И.И. Русская литература. Париж, 1950.
35. Струве Г. Русская литература в изгнании. Нью-Йорк, 1956.
36. Ковалевский П.Е. Зарубежная Россия. V. 1—2. Р., 1971—1973.
37. Гуль Р. Я унес Россию. Апология эмиграции. 2-е изд. Нью-Йорк, 1981.
38. Зернов Н.М. Захваченные годы. Р., 1981.

© 1992 г. РУДЕНКО Д.И.

КОГНИТИВНАЯ НАУКА, ЛИНГВОФИЛОСОФСКИЕ
ПАРАДИГМЫ И ГРАНИЦЫ КУЛЬТУРЫ

1

Эта статья написана в развитие идей, отраженных в работах [1—3].

Как представляется, взаимосвязь парадигм философии языка, их базисных постулатов и методов в значительной мере обусловлена взаимосвязью (более того — взаимодополнительностью, "взаимопроникновением") самих базисных языковых категорий. Приведем в данной связи точку зрения, сформулированную одним из исследователей феномена "метатеории" (которая, в общем случае, понимается как методологическое образование, концентрирующее "в себе" опыт теоретического синтеза истории науки): «Методологическими основаниями функционирования метатеории как методологической формы диалектического синтеза является отрицание отрицания и противоречие. Проблема целостности метода представляет здесь содержательный аспект анализа, а его предметной областью является "воссоздание" в теории целостности объекта» [4, с. 55]. В качестве такого целостного объекта, очевидно, может рассматриваться система (универсально)-семантических категорий языка, тесно связанных друг с другом и получающих системное разнопарадигматическое лингвофилософское описание.

Важной объективной предпосылкой снятия "противоречия" ("противоречия" как методологического основания категориального синтеза) в сфере нашего анализа является то, что оно, в определенном смысле, снимается, "отрицается" и в языковом функционировании (ср.: "Язык... ориентируется на различные сферы и функции речевой деятельности, поэтому устроен таким образом, что для него важны не противопоставления категорий (что предполагало бы их конкуренцию), а позиция одних категорий относительно других, дополнительное распределение категорий" [5]) и на уровне языковой системы как таковой. В частности, оправданно предположить, что в целом грамматические категории вполне адекватно фиксируют общую концептуальную картину мира, отражая ее наиболее базисные, инвариантные аспекты, узловые точки [1, с. 18] (о возможности применения к языковым (именным) оппозициям диалектико-логической формулы "и—и" ср. [1, с. 114]).

Ориентация на исследование определенной базисной языковой категории, с точки зрения "иной" парадигмы, разумеется, может распространяться не только на имя. Например, одну из групп проблем, возникающих при "именном" подходе к глаголу (который, естественно, изучается главным образом с позиций "философии предиката") формируют такие вопросы, как установление референциальных характеристик глагольного слова, определение денотативных статусов сочетающихся с глагольным предикатом имен субъектов и объектов, закономерности взаимодействия денотативных параметров имен и предикатов в процессе речепорождения, их влияние на формирование пропозиционального ядра коммуника-

тивной единицы, выделение классов коммуникативно сопряженных друг с другом глагольных предикатов и имен субъектов и т.п. Это проблемы функционально-отражательного (функционально-ономасиологического) характера [6]. В свою очередь, анализ ориентации самих имен на сочетаемость с предикатом того или иного типа обнаруживает некоторые их дополнительные — коммуникативно значимые — "денотативные нюансы".

Выявление некоторых именных признаков у предикатов может осуществляться и в собственно синтаксической сфере. Так, безобъектные употребления переходных глаголов обычно описываются через концепты "семантической достаточности", "самостоятельности", "сужения" (своеобразной лексикализации) значения, которые обладают прежде всего "именной" природой [7, с. 365—366].

Переходя в сферу парадигмы "философии эгоцентрических слов", можно заметить, например, что в триаде личных местоимений "я" — "ты" — "он" (рассматриваемых именно в таком порядке) наблюдается как бы дезактуализация, "размывание" некоторых эгоцентрических свойств — от местоимения я, которое не обладает каким-либо собственно "именным", денотативным содержанием ("я" — это тот, кто в данной ситуации говорит "я"), к местоимению ты, которое, выделяя в универсуме объект, не тождественный говорящему, в то же время очень тесно — и непосредственно связано с "ядром" коммуникативного акта, его центральным участником, и, наконец, к местоимению он, которое в некоторой мере является не только эгоцентрическим словом, но и именем и обладает именно "местоименной", замещающей функцией (ср. в этой связи сопоставление местоимений 3-го л. с собственными именами [8]).

2

Исследование взаимодействия различных универсально-языковых категорий — предполагающее, с той или иной мерой эксплицитности, анализ взаимодействия методов и постулатов различных парных парадигм — представляет собой одну из наиболее значимых задач теоретической (лингвистической) семантики. Эта задача в большинстве случаев может успешно решаться лишь при последовательном использовании метанаучных (метатеоретических), "рефлексивных" рассуждений. Здесь возможны параллели с ситуацией, прослеживающейся в развитии логического знания: «как раз в пунктах "стыковки" теорий, логических оснований их методов, образно говоря, ответственность за переоформление чисто формальных антиномий в антиномически-проблемное знание несут на себе "рефлексивные" принципы... И чтобы рефлексивное знание в процедуре "включения" противоречия состоялось как "реально-логическое", а видимость диалектики объекта... все более трансформировалась в действительность ("опредмеченные" состояния теории), для этого необходимо, прежде всего, осознать внутреннюю логику объективации знания на уровне не только категориальных (понятийных), но и "рефлексивных форм" научного мышления» [4, с. 9—10].

В современной теоретической лингвистике достаточно отчетливо намечаются контуры метода, который можно назвать "методом перекрестных корреляций". Речь идет о прослеживании разнообразных (даже разнонаправленных) корреляций между соотношением аспектов языкового явления и соотношением лингвистических идей, так или иначе относящихся к этому явлению [9, с. 10—11]. Возможны и более универсальные соображения о роли языка (знания о языке) в рефлексивных моделях: "В обращении к языковой проблематике... ищется средство преодоления антирефлексивизма как логически первичной реакции на исчерпанность рефлексии традиционного типа" [10]. Перспективным (во всяком случае, наиболее очевидным) на таком пути является исследование категорий и концептов, входящих в сферу "третьей парадигмы" философия языка — прагматической (или,

по П. Серью [P. Seriot], "четвертой", когнитивной)¹. Эти категории группируются прежде всего вокруг категории "текста", эксплицирующей диалогическую природу гуманитарного познания, диалог как принцип, который раскрывает сущность понимания [11, с. 119—121; 12, с. 132—133]. Поскольку, в свою очередь, прагматическая парадигма имеет отчетливо выраженный общекультурный ореол, "текстуальные" ориентации лингвистического — металингвистического — анализа позволяют последовательно распространить рефлексивный подход не только на собственно внутринаучное развитие, но и — по В.С. Библеру — на бытие науки в сфере культуры ("Есть рефлексия выхода из теории — в культуру, рефлексия "входа" из культуры — в теорию" [13, с. 303]). Таким образом, внутритеоретическая рефлексия смещается в метатеоретическую плоскость, порождая важные философско-методологические импликации.

Представляется, что одно из важнейших направлений интерпретации знания, приобретенного в сфере отдельных парадигм философии языка, сейчас состоит в осознании необходимой взаимосвязи этих парадигм и выявлении как объективных ("онтологически-языковых") предпосылок такого положения дел, так и специфики реального историко-научного "воплощения" (или даже "невоплощения") этих предпосылок, а следовательно, — общего теоретического и социокультурного фона их реализации.

Взаимодействие лингвофилософских парадигм может проявляться в более или менее непосредственном сопряжении (совместном использовании) их постулатов, методов, понятий (ср.: "Завершив описание прагматики или находясь близко к его завершению, парадигма начинает новый виток спирали — описанием семантики, за которым последует, вероятно, описание синтактики, но уже обогащенное прагматикой, и, наконец, снова описание прагматики на новом, более высоком уровне" [14, с. 255]). Возможны и более сложные ситуации. В частности, по Ю.С. Степанову, на современном этапе развития науки о языке синтез разделенных парадигматических подходов стал осуществляться в совершенно новом научном пространстве — в сфере когнитивных проблем: «Контуры новой парадигмы представляются, в общих чертах, следующими: семантика, синтактика и прагматика "выбрасывают антенны" — через посредство комплекса когнитивных проблем — в сферы биологии... с одной стороны, и в сферы мифологии, "глубинной мифологии"², "концептуализированных областей" (термин С.Г. Проскурина), культурных концептов. В свою очередь, обе сферы обнаруживают тенденцию к смыканию» [15, с. 10].

Впрочем, когнитивные подходы к языку могут содержать и элементы традиционного взаимодействия парадигм. Так, одной из импликаций трактовки — отчетливо прагматической по своей природе — языка как "процесса формирования мира в устно-слуховом артикуляционном контакте" является утверждение о том, что "когда язык и мир так тесно связаны, результат — просто новый всеобъемлющий номинализм... Эта позиция не редуцирует все к языку, но подтверждает полную лингвистичность всего установления человеком смыслов" [16, с. 105]. При обосновании данного подхода используются концепты ("часть" — "целое"), обладающие отчетливой дискретизирующей, "именной" аурой.

¹ Здесь мы не уделяем внимания анализу различий между концептами "прагматического" и "когнитивного". В некоторых случаях, однако, они могут быть достаточно существенны. Например, в традиционной культуре решение поведенческих задач «постоянно носит такой характер, что индивид оказывается полностью "погруженным" в деятельность и ничто в ней самой не облегчает ему выход за пределы своего эмпирического "Я", занятие по отношению к себе рефлексивной позиции стороннего, контролирующего наблюдателя» [11, с. 50]. Возможно, есть смысл постулировать соотнесенность "когнитивного" с развитыми рефлексивными структурами и структурами "категоризации поведения" [11, с. 67]: в таком случае "прагматическое" — "эгоцентрическое", не связанное с рефлексией, не вполне тождественно "когнитивному" (по крайней мере трактуемому в узком смысле).

² Ср., например, "архетипы" в смысле К. Юнга.

В контексте наших рассуждений можно остановиться и на концепции "текста как имени". Характерно, что некоторые идеи, сформулированные в ее рамках, имеют явную метатеоретическую (точнее, интертеоретическую) направленность: "Концепция текста как сложного имени особого рода, не будучи инструментом спецификации парадигматических отношений на текстовом уровне, позволяет установить механизмы взаимодействия конституентов различных языковых парадигм в плане их функциональной связи в макропарадигме лингвистического знания" [17].

Некоторые понятия, используемые в той или иной лингвофилософской концепции, могут являться симптомом того, что эта концепция однозначно не входит в сферу какой-либо одной "философии языка" и совмещает в себе черты различных парадигм. Одно из понятий такого — плюралистического — рода представляет собой, как кажется, понятие "интенциональности".

Наиболее естественно и последовательно понятие "интенциональности" сопрягается с понятиями из сферы прагматической парадигмы философии языка, прежде всего с теми, которые отражают различные характеристики речевого акта. По Серлу, например, связующие звенья между интенциональными состояниями и речевыми актами естественным образом формируют определенное представление об интенциональности: каждое интенциональное состояние содержит некоторое репрезентативное содержание в определенном психологическом модусе [18]. Очевидно, и при данном подходе концепт "интенциональности" включает денотативный компонент, по крайней мере "пресуппозицию" (ср. общую трактовку интенциональности как направленности). Однако такое положение дел является достаточно тривиальным. К тому же, по определению, вполне возможны ситуации, когда у интенционального состояния, не переставшего считаться — и являться — интенциональным, "направленным", отсутствуют интенциональные объекты.

Большой интерес — в плане взаимодействия именного и прагматического в концепции (концепте) интенциональности — представляют случаи, когда понятие "интенциональности" может использоваться для описания собственно именных явлений. При этом некоторые аргументы в пользу такого подхода имплицитно представлены уже в философии Э. Гуссерля.

Так, несмотря на то, что, по Гуссерлю, интенциональный предмет полностью определяется актом интенционального переживания, философ включает в сферу анализа и проблему "материальных вещей". Помимо свойств интенциональности и трансцендентности, материальной вещи приписывается признак "самости", означающий, что интенционально-трансцендентный предмет "материальная вещь" существует как бы ради самой себя, из-за самой себя. Допустимо предположить, таким образом, что Гуссерль в гносеологической форме по существу уловил и признал действительную бытийную независимость и самостоятельность, т.е. объективную реальность вещей [19, с. 96]. (В контексте наших рассуждений представляет интерес и трактовка понятия "отношение — к" у Х. Гадамера; в частности, в его интерпретации отношение — не столько психологическая диспозиция, сколько перспектива или определенного рода соответствие, позволяющее держаться настолько независимо от того, что встречается в мире, что можно представить (мир) для себя таким, каков он есть [16, с. 89].)

Сходным образом в лингвистике даже чисто грамматические ("неденотативные") трактовки "предметности" как категориального значения имени (существительного) обычно базируются на хотя бы имплицитном понимании материального (целостного) предмета как своего рода денотативной модели предметности. Ср. в этой связи у Гуссерля понимание мира "материальных вещей" как "презумптивной", предполагаемой, вероятной реальности [19, с. 95—97], которое, пожалуй, может быть достаточно рационально интерпретировано в лингвистическом плане. В частности, "материальный предмет" является не единственным, но наиболее вероятным объектом обозначения слов со значением "предметности" [1, с. 58—61].

Примером логико-семантической теории, использующей понятие "интенциональности" с отчетливо "именными" коннотациями, может служить концепция К. Айдукевича. "Интенциональный предмет" у Айдукевича оказывается — хотя и не вполне эксплицитно — достаточно близок к "материальному предмету" и описывается в соотношении с понятием (материального) тождества объекта самому себе [20]³. В некоторых (лингво) философских системах постулируется подчиненность (зависимость) интенционального предмета по отношению к предмету, определяемому как "реальный" (Р. Ингарден) или даже прямо как "материальный", "физический" (М. Вартофский) [1, с. 60—61; 7, с. 371].

Могут быть установлены и достаточно нетривиальные (т.е. не сводящиеся к указанию на то, что определение "интенциональности" как направленности так или иначе коррелирует с концептом "отношение") связи понятия интенциональности с понятиями из сферы "философии предиката" (синтактической парадигмы философии языка). В этой связи, например, можно указать на точку зрения, согласно которой успешное распознавание интенции говорящего зависит от объема и параметров информации, входящей в интенционал употребленного предложения [22].

Важно отметить, что понятие "интенциональности" играет важную роль и в новой — когнитивной — парадигме, контуры которой проступают в философии языка, выполняя в ней также интегративные функции: "Погружение семантики, а отчасти и прагматики (поскольку они тесно связаны), в сферу когнитивных проблем обнажает проблему интенциональности в ее как чисто человеческом, так и эволюционно биологическом аспектах" [15, с. 9].

Еще одним понятием, свидетельствующим о "парадигматической плюралистичности" концепции, в которой оно используется, является понятие внутренней формы. В частности, единицы внутренней формы, трактуемые как значения морфем и обладающие, следовательно, дискретизирующей, именной природой, могут в то же время рассматриваться как своего рода точки преломления иных категорий и аспектов языка — предикатных и эгоцентрических (точнее, "коммуникативно-центрических"). Так, в системологии, для которой понятие внутренней формы является особо значимым (ср. прежде всего концепцию Г.П. Мельникова, тесно связанную с идеями фон Гумбольдта [23]), предполагается, что означающие единицы имен могут ассоциироваться, через свои значения, с единицами целочастной картины мира, порождая таким образом когнитивную — именно когнитивную — предикацию. (Подобный подход позволяет избежать непосредственно психологического — как бы "утрированно-прагматического" — понимания "внутренней формы", при анализе которого, в частности, становится очевидным, что признак, положенный в основу номинации, далеко не всегда воспринимается носителями языка как наиболее значимый из признаков объекта.)

Плюралистичный ("разнопарадигматический") характер в последнее время все более очевидно приобретает и лингвофилософское понятие "возможного мира". Классическое — "реалистическое" — понимание возможного мира, тесно связанное с проблемой статуса индивидов в возможных мирах, обладает прежде всего именной, объективирующей направленностью (ср., например: "В семантике возможных миров произвольной интерпретации противопоставлено реалистически

³ Так, Айдукевич рассматривал интенциональные контексты как дефектные, по крайней мере сомнительные, с логической точки зрения. Отчасти по этой причине он не анализирует такие контексты, в которых тождество денотации не обеспечивает взаимозаменяемости выражений. Можно привести здесь формулировку, по которой два выражения в данном языке означают одно и то же (*znacza to samo*) тогда, когда мы готовы применить к предмету (репрезентированному в определенном аспекте) как первое, так и второе выражение [21, с. 132]. Отметим также точку зрения, по которой дефиниция эквивалентности (по определению, два выражения А и А' являются эквивалентными, если каждому истинному предложению с А соответствует истинное предложение, образованное от него путем включения А' вместо А, и наоборот) "в случае имен дает дефиницию объема имени (в терминологии Милля — денотации)" [21, с. 164].

понимаемое понятие возможного мира" [24, с. 36]). Особо явственно денотативные, агносеологические коннотации концепта возможного мира прослеживаются в той его интерпретации, которая представлена у Д. Льюиса и С. Крипке (vs. Я. Хинтика).

У Крипке, в частности, намечается своего рода противоречие между определением возможного мира как познавательной (все же) сущности ("Возможные миры задаются, а не открываются с помощью мощных телескопов" [25, с. 267]) и отказом от исследования дескрипций, "существенных признаков" как средств идентификации объекта в возможных мирах.

В последние годы, однако, отчетливо намечается тенденция к более "гносеологизированной" трактовке семантики возможных миров (ср., например: "подлинными альтернативами являются модальные альтернативы определенного положения дел...; такая постановка вопроса предполагает контрфактическое использование языка" [26]). Это относится прежде всего к возможным мирам, интерпретируемым в духе Я. Хинтики, всегда постулировавшего первичность, по крайней мере концептуальную, возможных миров по отношению к индивидам [24, с. 31]. По Хинтике, в частности, такая семантика "...всегда представлялась ... аналогичной исчислению вероятностей (с которой она и в самом деле тесно связана), т.е. мыслилась в своих приложениях такой, что рассматриваемые в ней альтернативы не должны были быть обязательно состояниями космологии или мировой истории; эти альтернативы могли рассматриваться как "небольшие миры", как альтернативные пути, по которым мог пойти эксперимент" [27, с. 3]. При таком подходе в сферу анализа входят не только — вполне очевидные — прагматические, шире — когнитивные моменты (ср.: "то, что я назвал перцептуальным прослеживанием альтернатив, должно иметь ситуационную природу. Потому что каждая из них должна кем-то восприниматься, и все они должны иметь перцептуальное пространство воспринимающего" [27, с. 4]), но даже некоторые "предикатные" коннотации.

Интересно, что сам Крипке в работах конца семидесятых годов [28] вводит и подробно разрабатывает речевое, прагматическое по своей направленности понятие "референции говорящего", которая определяется как специфическое, соотносимое с конкретными обстоятельствами (on a given occasion) намерение (интенция) говорящего осуществить референцию к некоторому объекту. "Семантическая референция" трактуется как общая интенция говорящего к осуществлению референции, не зависящая от обстоятельств употребления десигнатора. Возможно, было бы проще описать это различие с помощью лапидарной формулировки К. Доннелана ("People refer and expressions refer" [29]), но это не совсем то, что имеет в виду Крипке. Последний включает указание на говорящего даже в понятие "семантической референции", как бы компенсируя проявляющееся в его более ранних работах невнимание к этому аспекту языка. Позиция "позднего" Крипке, как кажется, имеет черты сходства с развитой Р. Монтегю трактовкой значений как функций от возможного мира и контекста употребления, служащих целям актуальной интерпретации выражений [30; 1, с. 239—240].

Разумеется, возможно обнаружение и других лингвофилософских концептов, обладающих — с той или иной степенью очевидности — разнопарадигматической, "плюралистичной" природой. Показательно в этом смысле, например, понятие субъекта (как оно используется в лингвистике) [7, с. 375—376], фрейма [9, с. 4—5]. Можно предположить, что достаточно полная система понятий рассматриваемого типа (когда она будет построена) в значительной мере совпадает с системой понятий, которые являются базисными для философии языка, а последовательное выявление связей между входящими в нее концептами позволит даже прогнозировать появление некоторых новых идей лингвофилософской направленности.

Говоря о тесной взаимосвязи парадигм философии языка, можно предположить, однако, что одна из них является наиболее "либеральной", наиболее терпимой к инопарадигмальным концептуальным включениям. (Представляет интерес в этой связи точка зрения, согласно которой в рамках "архетипов теоретического мышления" — сопоставимых, по крайней мере по объему, с парадигмами в их метатеоретическом понимании — "...могут сосуществовать и конкурирующие теоретические построения, но все они должны подчиняться некоторым общим требованиям, заложенным в архетипе" [31].) По-видимому, это — парадигма философии имени, наиболее развитая и обладающая наиболее длительной историей из парадигм философии языка, выполняющая в ней функции своего рода классической парадигмы. (В свою очередь, постоянное обращение — разумеется, с большей или меньшей долей критицизма — к интерпретациям (и "переинтерпретациям" — *reinterpretation*) научной "классики" является одним из основных факторов, обеспечивающих континуальность наук — прежде всего социальных [32, с. 3—4; 33, с. 138—139]).

Приведем в данной связи точку зрения Ю.С. Степанова, согласно которой в области философских проблем языка исследователи постепенно снова возвращаются к уже оставленным вопросам, прежде всего к семантике (даже к семантике имени), дополняя и обогащая ее описание идеями, полученными в сфере "предикатной" и "эгоцентрической" парадигм [14, с. 255]. Во всяком случае, трудно представить себе, чтобы кто-либо из представителей философии имени оказался — в нынешней лингвофилософской атмосфере — в такой же мере нетерпимым по отношению к, скажем, прагматической парадигме, в какой представители последней могут быть агрессивны по отношению к парадигме именной [34; 1, с. 37—39].

Существуют и косвенные свидетельства (определенной) концептуальной плюралистичности философии имени. Так, в лингвистических идеях философов львовско-варшавской школы, в которой, по удачному выражению Я. Ядацкого, осознание своеобразия не проявлялось в ксенофобии по отношению к другим философским школам, а полемики лишь изредка затрагивали сферу фундаментальных предпочтений, достаточно отчетливо заметна доминанция, акцентирование концептов и идей из сферы философии имени, причем это относится не только к К. Твардовскому и Т. Котарбиньскому [35—37], но и — с некоторыми оговорками — к К. Айдукевичу, использующему в своих построениях многие понятия из сферы прагматической философии [20].

По-видимому, постулируемый плюрализм философии имени в общей тенденции обусловлен тем, что имя наиболее отчетливо воплощает в себе некоторые свойства слова как базисной единицы языка, прежде всего — способность к отчетливому членению континуума действительности. (В этом смысле концепт "дискретности" действительно оказывается одним из средств анализа конкурирующих концепций "на однообразной категориальной основе" [38].)

Здесь возможна любопытная параллель с той трактовкой символа (и его роли в средневековом стиле мышления), которую развивает В.Л. Рабинович. Указывая, что символ — "...живой знак вещи, но и ее отвлеченная идейная образность; но такой знак, который никак не связан с непосредственным единичным содержанием, зато указывающий на самобытность вещи. Опять — выход в мир самоценных вещей, в удвоениях-подобиях не нуждающихся. Символ вещи есть взаимопронизанность означаемой вещи и означающего ее образа" [39, с. 67], Рабинович отмечает: "Многие из названных здесь общих характеристик символа противоречат друг другу, уничтожаются одна другой. Но фокус в том и состоит, что эти атрибуты символа в живом символе всегда существуют — сразу и вместе" [39, с. 67]. Если интерпретировать это суждение в терминах концепции парадигм философии языка (символ в единстве — "живом", динамичном единстве — совмещает как денотативные, так и прагматические, "когнитивные"

черты), его вполне можно соотнести со словом, даже с именем. (Очевидно, концепты символа и символизма входят прежде всего в сферу именной парадигмы философии языка.) Отметим также точку зрения, согласно которой к особенностям средневекового стиля мышления относится "принципиальная незамкнутость слова, постоянное его самоусовершенствование, саморазвитие, миллениаристская установка, т.е. стремление восстановить утраченный смысл" [40, с. 14].

Кстати, идею Рабиновича о "квазисимволическом" характере форм средневекового сознания [39, с. 70] допустимо истолковать в том смысле, что в последнем на первый план выдвигаются не собственно денотативные параметры слова ("подобие"), а личностно- (впрочем, не только личностно-) прагматические, когнитивные (в том числе связанные с приращением нового знания у адресата): "Не просто сказать секретное Слово в его всеобщем обобщенном звуке, но сообщить его — в общемительном собеседовании, и потому научить ему" [39, с. 82]; "Узнавание менее всего идет через расшифровку божьего Слова и его прославление. Оно идет по другому пути: через вочеловечение Слова" [39, с. 85]; "Суметь в слове воспроизвести Смысл, высветить его и потому воспринять его как смысл божественный, но и как смысл самого себя, своей жизни ([39, с. 109]; ср. [41, с. 86—87]).

Еще одним интересным историко-философским свидетельством концептуальной плюралистичности "философии имени" — и, шире, "именной" интерпретации действительности — может служить то, что социологически философский номинализм почти всегда связан с попытками разрушения застывшего, лишенного наглядности и жизненности, чисто понятийного мира стабильных культурных форм (ср. в этой связи антисхоластические тенденции в западном христианстве, суфизм в арабском мире, философию Спинозы, антитезу Лао-цзы и Конфуция; в развитии виде такая трактовка номинализма представлена у М. Шелера [42, с. 159—160, 168—170]). В определенном смысле "номинализм", следовательно, оказывается "антиименным" ("антиноминальным") течением: подчеркивание условности связи имен и реальности, носящее "революционно-прагматический" характер, может отодвигать на второй план собственно денотативные характеристики имени. (Интересно, впрочем, что такой подход сочетается с переоценкой онтологической значимости вновь концептуально осваиваемых областей реальности: "весь мир, или возможно большая его часть, интерпретируется по аналогии с фаворизируемой областью" [42, с. 170].) "Номинализм" в философии, таким образом, обладает некоторыми прагматическими (прагматически-когнитивными) чертами; характерно, например, что в наиболее радикальных номиналистических течениях часто подчеркивается значимость интроспекции непосредственного знания, интуиции (противопоставляемых рациональным формам познания) ([42, с. 169]; подробнее см. [7, с. 379—380])⁴.

⁴ Интересно, что анализируемые свойства "именной" ("денотативной") интерпретации реальности могут проявляться и в различных сферах искусства. К примеру, один из исследователей творчества художника Владимира Брайнина отмечает: «Иррационален сам взгляд на мир, который видит все происходящее как изначально странное, то есть то, что не может быть разумно объяснено и не делает различия между логичным и нелогичным. Здесь-то и важен объектив фотоаппарата — воплощение такого абсолютно неосмысленного взгляда, жадно собирающего в себя все. В чем это проявляется?... У Брайнина это — утрированная, всепоглощающая перспектива "рыбьего глаза", раздвигающая края картины... Даже когда Брайнин пишет с натуры, он пишет то, что остается в воспоминании, то, что больше фрагмента времени и пространства» (цит. по [43]). Интересно привести также суждение о лирике Э. Дикinson, в котором достаточно отчетливо выявляется когнитивный ореол именного стиля в поэзии: "Дикinson стремится к предельной точности в назывании и обозначении каждого предмета или явления, в то же время она любит недоговоренности, умолчания, загадки. Ее цель — избегая определенности, все-таки добиться той же определенности" ([44]; ср. [14, с. 76—77]). Наконец, имя, трактуемое в прагматическом и/или когнитивном плане, может эксплицитно противопоставляться слову, как, например, у О. Мандельштама: "Явления или события жизни осваиваются, освоенное явление получает имя — слово становится именем, хотя вещь, сейчас названная, существовала, возможно, раньше" [45, с. 31]; ставшее именем слово открывается глубинно уже в тексте [45, с. 36].

Таким образом, представляет бесспорный интерес анализ парадигм философии языка и их взаимосвязи в широком социально-культурном контексте.

Достаточно близок к намеченной нами исследовательской ориентации предложенный С.Г. Проскуриным подход (соотносящийся с методом концептуального анализа), в котором при исследовании лексических единиц того или иного типа во внимание принимаются смысловые параметры культурной парадигмы. "Данный подход и его методы предполагают отказ от исследования групп лексем, лексических полей ради них самих и интерпретации лексико-семантических областей как собственно языковых феноменов" [46]. В частности, сведения о культурной парадигме эпохи (той или иной культурной теме в ней) позволяют верифицировать языковые семантические реконструкции. Заметим, что важную роль в подходе Проскурина играет концепт фрейма, обладающий разнопарадигматической природой; при этом подчеркивается, что "явление, которое мы постулируем (т.е. существование групп слов, мотивированных и взаимно структурированных той областью знания, которая их объединяет. — Р.Д.), отличается от собственно фрейма диахронической многослойностью, вытекающей из смены культурных представлений" [47].

Вообще парадигмы философии языка могут рассматриваться не только в соответствии с собственно научными теориями, но и в более широкой сфере концептуального знания, которое, как предполагается, в большей мере, по сравнению с любой теорией, интегрировано в живую ткань культуры: концептуальное знание трактуется как наиболее самостоятельная и устойчивая часть человеческих знаний (концепт — как универсалия некоторого уровня обобщения) [48]. В описании "концептуального знания" важную роль играют понятия "интерпретации", "переосмысления", "концептуального плюрализма", "адекватности метода реальности", безусловно значимые для анализа взаимодействия парадигм философии языка.

Примером концептуального подхода в лингвофилософском анализе может служить сопоставление парадигм философии языка с определенными идеями современной политологии. Немалый интерес в этом смысле представляют работы П. Серьо о языке советской социалистической культуры прошедшего периода [49].

Более глубокому осмыслению лингвофилософских концептов и построений способствует, как кажется, и рассмотрение специфики парадигм философии языка в связи с идеями "социологии знания". Такая возможность вытекает уже из трактовки парадигм как такого уровня опредмечивания методологического сознания, когда последнее, в предметном выражении, "... приобретает категориальный характер, предполагает учет категориального строя мышления тех либо иных эпох" [50].

Возможно обнаружение определенных параллелей между движением (развертыванием) лингвофилософских парадигм от философии имени к философии предиката и, далее, прагматической философии и развитием социокультурных типов (стилей) мышления — по крайней мере, в их европейском (европеизированном) воплощении, связанном с универсально-понятийным — по М.К. Петрову — типом социального кодирования.

Например, аристотелевско-средневековый ("телеологический", "биоморфический") стиль мышления включает в себе предпосылки прежде всего философии имени, чем, по-видимому, отчасти объясняется то, что философия имени "... была первым из трех направлений, по которому устремились философы языка" [14, с. 9]. В частности (по М. Шелеру), идею, лежащую в основе данного стиля мышления, можно сформулировать в двух утверждениях: "Каждая вещь хороша в той мере, в какой она существует (ist) и плоха в той мере, в какой не существует (nicht ist)" и "Каждая вещь представляет из себя в иерархии добра и зла добро и зло тем большее, чем более автономен вид существования, которым она характеризуется" [42, с. 190]. Концепты автономности, иерархии, зависимости

аксиологического статуса объекта от его существования или несуществования (т.е. от онтологического параметра) обладают — метафорически (впрочем, скорее "метонимически") выражаясь — прежде всего именной природой.

Характерно, что понимание мира как иерархии ценностей, во главе которой находится *summum bonum*, то есть сам Бог, который автономен в наибольшей мере (*est a se et per se*), отчетливо коррелирует с трактовкой имени Бога ("подлинного" *JHWH*) как "вершинного", "максимального" имени, в соответствии с которым все остальные имена оказываются ущербными: "Если бы кто-то смог понять или назвать такое единство, которое, будучи единством, есть все, и, будучи максимумом, есть минимум, то он постиг бы имя Божие. Но поскольку имя Божие есть Бог, его имя тоже знает только тот ум, который сам есть максимум и сам есть максимальное имя... Отсюда ясно, что утвердительные имена, которые мы приписываем Богу, его бесконечно умаляют" [51]. Интересно, что именно в средневековой схоластике можно обнаружить одно из наиболее близких исторических соответствий концепции С. Криппе, трактующего имена как жесткие, адескриптивные обозначения [52].

Важно подчеркнуть также, что в биоморфической модели мира "...структурами управляет вневременная динамика, а не временной, эволюционный процесс. Структура форм общества, органической и мертвой природы, неба в мире Средневековья всегда одна и та же стабильная иерархия сил (*Macht*) и существований, одновременно представляющая собой чисто аналитически выведенную иерархию ценностей" [42, с. 193]. Эта формулировка соотносима и с представлением о том, что в системе имени и, шире, узультально-языкового отражения действительности пространство (с коннотацией стабильности) в определенной степени доминирует над временем (другими словами, является более существенным, чем время, параметром дискретизации универсума) [1, с. 50—51], и даже — хотя опосредованно — с менее очевидной идеей, согласно которой имя, на фоне других смысловых категорий, наиболее тесно связано с параметром аналитичности (ср. в этой связи возможность — хотя и не вполне однозначную — рассмотрения имени в соотношении с концептом внутренней формы [34]).

Характерно, что концепты из сферы философии имени (стабильность, замкнутость, целостность и т.д.) часто используются для описания теоретико-гносеологических построений анализируемой модели мира. Отмечается, например, что застывшее, статуарное понимание истины соответствует античной эпистеме, накладывает на античное знание свои ограничения, удерживает его в пределах целостности, замкнутости, самодовления [41, с. 43]. Эпистема (имеются в виду прежде всего философские концепции Платона и Аристотеля) "...требует, чтобы покой был предпочтительным, по сравнению с движением" ([41, с. 51], ср. также с. 74—75); (ср. в этой связи о гносеологическом протезировании "покоя" в сфере имени [1, с. 50—51]).

Как представляется, механистический стиль мышления (который приходит на смену биоморфическому, телеологичному) оказывается — по своей общей концептуальной ауре — более близким к философии предиката, чем стиль мышления, ему предшествующий. Действительно, в механической картине мира на первый план выходит внешний тип связей, основанный (в социальной сфере) на межличностных контактах, а не на некоторой — генетической или психической — жизненной общности [42, с. 160]. Для "новой науки" (*nova scientia*) характерно превалирование категории отношения над категорией субстанции и ее акциденциями, категории количества над категорией качества, логики реляционистского мышления над субсумпционной логикой силлогизмов, категории движения — непрерывно продуцируемых пространственных форм (в соответствии с аналитическими формулами) — над категорией качественного вида пространства (аналитическая геометрия Декарта) [42, с. 182; 53, с. 91—92]. На месте мира, концептуализируемого главным образом в пространственных формах, с вневременной динамикой, появляется схема становления во времени, в которой

регулярным образом возникают и исчезают все новые и новые формы (общества, органической и неорганической природы) [42, с. 195].

В гносеологии Нового времени прослеживается деонтологизация знания и языка, сведение языка к комбинаторике знаков, трактовка активности сознания как комбинаторики простых знаков [40]. Вытесняются представления об иерархической упорядоченности всех сфер сотворенного мира [53, с. 64—65; 70—71; 76—81]. Мир перестает восприниматься в его непосредственной, реальной чувственной полноте [53, с. 146—147] (ср., в этой связи, о значимости параметра чувственного для философии имени [1, с. 92—93]). В лингвофилософском плане все это можно рассматривать как размывание именной ауры (точнее, именных импликаций) общекультурного стиля мышления.

Вообще говоря, предполагается (по мысли Ю.С. Степанова), что философия предиката в развитом виде сформировалась только к началу XX в.: "В течение 20—30 лет, на рубеже веков, создалась новая картина языка, соответствующая новой картине мира и ее философским константам. Прежде всего она отвечала, несколько отставая от них, новым физическим представлениям о мире" [14, с. 125]. Тем не менее, уже в работах классиков "новой науки" можно обнаружить формулировки, имеющие отчетливо предикатную, "синтаксическую" направленность. Такие суждения часто обладают — например, у Декарта, Локка [7, с. 390—391] — также аксиологической аурой. Это особо значимо в том смысле, что в механистической картине мира ценность представляет собой одно из наиболее базисных понятий, охватывающее все сферы реальности, причем различение ценностей ряда типов субъективизировано и релятивизовано к человеку ([42, с. 196—197]; ср. [53, с. 82—83; 116—117]). Отметим также выраженный вероятностный оттенок эпистемологии Нового времени [53, с. 117—118, 124—125]. В свою очередь, в применении к языку такой подход обычно предполагает акцентирование сочетаемостного, шире — комбинаторного аспекта языковых единиц [7, с. 374—375]. (Впрочем, аналитическая природа английского языка, в соотнесении с категориями которого разрабатывались — по М.К. Петрову — многие категории философии Нового времени, очевидно, несколько тормозит лингвофилософскую разработку названных проблем. Ср.: "Отсутствию во флективных языках жесткого порядка слов мы обязаны проявлением философских категорий альтернативности, противоречия, выбора, цели, возможности и действительности. Их нельзя было бы осмыслить и формализовать на основе аналитических языковых структур" [33, с. 185].)

По М. Шелеру, «только разрушение механистической теории природы в современной физике, биологии и психологии кладет начало новому способу подлинного преодоления обеих теорий [т.е. как "биоморфической", так и "механистической" — Р.Д.] субъективности форм, качеств и ценностей и абсолютного дуализма ценности и существования» [42, с. 197]. Односторонняя система категорий механистического типа мышления постепенно размывается, однако на смену ей приходит биоморфический тип мышления Средневековья, а новая синтетическая концепция мира и знания, преодолевающая противопоставление телеологической и механической связи через познание общей формы основного закона природы. Последняя не является ни механистической, ни телеологической и находит свой социологический коррелят в новой сущностной форме человеческого объединения, начиная преодолевать форму как жизненной общности, так и непосредственной связи. Это проявляется в солидарном объединении незаменимых личностей-индивидов (*Personindividuen*) [42, с. 199].

Последняя часть суждения Шелера порождает прямые ассоциации с некоторыми идеями из сферы современной философии эгоцентрических слов. Ср., например, мысль Ю. Хабермаса о том, что смысл понятия "индивидуальность" может быть объяснен лишь "...через обращение к концепции самости субъекта, субъекта, который презентует и в конечном счете оправдывает себя *vis-à-vis* к другим сторонам в качестве несомненной и незаменимой личности. Эта концепция

самости, какой бы расплывчатой она ни была, обосновывает самоидентичность человека" ([54]; анализ см. [1, с. 248—249] и [14, с. 125])⁵.

Как представляется, последовательное соотнесение концепции парадигм философии языка с концепцией социокультурных типов мышления (в той или иной ее модификации) позволяет рассматривать смену лингвофилософских парадигм как проявление общих закономерностей развития познания, в некотором отвлечении от личностных — реализовавшихся в истории науки — парадигматических воплощений. К тому же в определенном смысле социокультурный анализ парадигм даже увеличивает значимость исследования научно-индивидуального, так как существенно расширяет сферу, в которой оно реализуется.

Намеченный подход, по-видимому, может оказаться адекватным и при рассмотрении так называемых "межпарадигматических" периодов" (термин Ю.С. Степанова) в развитии философии языка, характеризующихся отсутствием отчетливой выраженности черт той или иной парадигмы, смешением парадигматических признаков. Это связано с тем, что основные социокультурные типы мышления допустимо интерпретировать в терминах различных парадигм философии языка [7, с. 392—395].

Так, "биоморфический" стиль мышления, базисным для которого является концепт автономности, — именной по своей природе, но в то же время обладает и предикатными коннотациями, причем такими, которые непосредственно связаны с названным понятием: "Относительно автономное бытие представляет собой действие, бытие менее автономное подвергается его воздействию" [42, с. 192]. В рассматриваемой картине мира существенную роль играет "идея иерархического порядка активности форм, которые одновременно определяют развитие, существование и качественные характеристики каждой вещи" [42, с. 194]. Достаточно отчетлива (несмотря на своего рода имплицитность) и эгоцентрическая аура рассматриваемого стиля мышления (Ср., в частности, выше о лингвофилософской плюралистичности философии имени. В общем виде это обусловлено тем, что для любой разновидности универсально-понятийного кодирования значимо субъект-субъектное отношение [33, с. 145—146].)

С другой стороны, механистический стиль мышления, который соотносится прежде всего с философией предиката, содержит как именные, так и прагматические моменты. Здесь можно упомянуть, например, ситуацию (характерную для познавательного освоения новых областей универсума), когда конкретная сфера познания "... рассматривается как независимая переменная всех изменений мира" [42, с. 170]. (Кстати, подобным модельным объектом может быть "тело". Так, у Декарта «понятие тела распространяется... на всю природу, которая отождествляется с "протяженной субстанцией"» [56, с. 17]; об именных коннотациях концепта тела см. [1, с. 28—36].) Сама ориентация на познание механистических, внешних связей предполагает относительно четкую выделенность — если не из универсума, то в универсуме — объектов, вступающих в эти связи (применительно к языку см. [57]). Важно подчеркнуть, что значимость "(отдельного) объекта" выводится и из анализа собственно гносеологических (обладающих аналитической природой) явлений: "Путем описанной процедуры — следовать естественному сцеплению ясных и отчетливых идей — мыслящее сознание доходит до открытия другой субстанции — тела" [56, с. 16].

Выше уже упоминался эгоцентрический, личностный оттенок рассматриваемого стиля мышления. В частности, в картине мира Нового времени наиболее убедительным начинает представляться образ мира как механизма, устройство которого доступно контролю мысли [53, с. 153]. В свою очередь, такая ценностная

⁵ Здесь также возможны любопытные параллели с феноменами из сферы искусства. Ср. у А. Гениса: "Современный писатель, избавляясь от поэзии, остается с голой, обнаженной до болезненного неприличия правдой, правдой о себе. Книга превращается в текст, автор — в персонажа, литература — в жизнь... В результате расфокусировки авторского сознания писатель и читатель меняются местами. Первый распахивает душу, второй в ней копается" [55].

ориентация тесно связана с протезированием самосознающего типа личности [53, с. 22]. Можно привести в этой связи суждение Локка, согласно которому для того чтобы хорошо выразить строго последовательные и целесообразные мысли, человеку "необходимо иметь слова, показывающие, какого рода связь, ограничение, различие, противоположение, подчеркивание и т.п. он придает каждой данной части своей речи" ([58]; см. также [7, с. 390—391; 57]).

Наконец, с еще большей очевидностью именное, предикатное и эгоцентрическое — при ведущей роли последнего — соединяются в синтетической картине мира (и соотносящемся с ней типе мышления). Так, важную роль в синтетической модели играют концепты целого и динамики, очень тесно связанные друг с другом [42, с. 197—198]. Здесь просматриваются определенные параллели с моделью мира, сложившейся в современном — причем "современном" с точки зрения не М. Шелера, а "автора 1992 г." — естествознании: "целое уже не собирается из кубиков частей, а формирует в своем развитии либо свой элементный состав..., либо части из наличных элементов среды... Развитие целого детерминировано законами лишь на определенных этапах между пунктами, где возникают ситуации выбора... и случайность необходимым образом определяет рождение новой необходимости" [59]. С другой стороны, как уже говорилось, социологическим коррелятом синтетической картины мира становится такая социальная общность, которая представляет собой (точнее, пожалуй, "интерпретируется как") солидарное объединение незаменимых личностей-индивидов.

Отчетливое возрастание значимости человеческого фактора в описании естественнонаучного знания и в естественнонаучном познании как таковом [60] может быть соотнесено с той лингвофилософской ситуацией, когда на первый план в анализе языка выдвигаются эгоцентрические и, шире, когнитивные моменты и факторы. Представляет интерес в этой связи выделение концептов, роль которых возрастает параллельно в современных естественных и гуманитарных науках. Так, понятие (само)организации оказывается значимым как для нелинейного мышления — естественнонаучного по своей основной направленности, так и для когнитивного подхода к языку (ср., в частности, явление "самоорганизации текста" [7, с. 396—397]).

Интерпретация в терминах парадигм философии языка "стилей мышления", выделяемых в социологии знания (социологии культуры), показывает, что им в той или иной мере присуща своеобразная лингвофилософская плюралистичность. Иными словами, тот или иной социокультурный стиль мышления потенциально содержит в себе предпосылки разнонаправленного ("разнопарадигматического") философско-языкового движения. При этом одно из направлений является доминирующим (по крайней мере, наиболее вероятным). Ср. возможность установления аналогий между гносеологическим движением от философии имени — через философию предиката — к прагматической (или даже когнитивной) парадигме философии языка и движением от биоморфического стиля мышления к синтетическому, в интерпретации М. Шелера. Такое положение дел может рассматриваться как подтверждение точки зрения, согласно которой типичное состояние философии языка представляет собой состояние суспензии, смеси противоречивых признаков и незавершенных поисков определенности [14, с. 93]. Отметим здесь и принадлежащую Ю.С. Степанову и В.В. Петрову идею — высказанную в устном общении с автором настоящей статьи — о перспективности соотнесения с парадигматическим развитием понятия турбулентности⁶

⁶ Говоря выше о возможности обнаружения параллелей между сменой социокультурных типов мышления и лингвофилософским движением от именного к прагматическому и когнитивному, мы использовали главным образом идеи М. Шелера (практически не вводившиеся ранее в контекст теоретической лингвистики). Однако постулируемые аналогии прослеживаются и при трактовке "стилей мышления" в иных концептуальных рамках. Можно упомянуть в данной связи, например, различение перцептивного, операционального и коммуникативного стилей, концепцию "гуманитарной" и "мозаичной" культуры (А. Моль) [7, с. 397—398].

Действительно, историко-научное "движение" многих лингвофилософских (шире — гуманитарных) концепций и точек зрения может быть концептуально сопоставлено с описываемой в гидродинамике ситуацией, когда некоторые характеристики "испытывают хаотические флуктуации и потому изменяются от точки к точке и во времени нерегулярно" [61]. Характерно, что в физических исследованиях по проблеме турбулентности подчеркивается: "Область исследования здесь необычайно обширна, поскольку охватывает анализ всех зависящих от времени явлений" [62, с. 5], т.е. также и социокультурных явлений типа "научные парадигмы". Зависимость от времени — как внутринаучного, так и общекультурного — бесспорно, может быть приписана и философско-языковым построениям. Даже в сфере естественных наук исследователи, отмечая широту и вариативность предмета теории турбулентности, указывают, что между входящими в него динамическими системами существует не только внешнее — статистически эксплицируемое — сходство, но и внутренняя аналогия, которая и делает возможным единый подход к их исследованию ("Мы имеем в виду не статистический или стохастический подход и не внешнее сходство явлений на описательном уровне" [61, с. 9]).

Так или иначе, между детерминистским подходом к турбулентности и лингвистическим — металингвистическим — развитием обнаруживаются определенные параллели. Ср.: "Новая нелинейная физика занимается изучением интереснейших явлений: турбулентности и колебаний в физико-химических и биологических системах. Хаотические и причудливые, почти непредсказуемые внешние эффекты ныне уступают место неожиданной концептуальной унификации на основе таких понятий, как бифуркации, странные аттракторы, показатели Ляпунова и т.д." [61, с. 9]. Сходным (по крайней мере сопоставимым) образом полиинтенциональная и отчасти хаотичная, во всяком случае не всегда отчетливо концептуализированная исследовательская ситуация в философии языка концептуально унифицируется с помощью понятия лингвофилософской парадигмы и блока понятий, производных от него или по крайней мере имплицитивно с ним связанных (подробнее см. [9, с. 11—17]).

В современном науковедении выявляются черты сходства между когерентными феноменами в сфере культуры и науки и явлениями, которые могут описываться через понятие турбулентности и другие концепты вероятностной направленности [63]. Приведем, например, точку зрения, согласно которой "монадологический" подход к соотношению культуры и науки (в котором постулируется своего рода равноправие целого и части) предполагает "... не жесткий, а скорее вероятностный тип взаимодействия, для которого характерно наличие и расходящихся линий возможного развития, и точек бифуркации" [64]. Более того, в наблюдениях такого рода подчеркивается значимость понятий рефлексивного и парадигматического, базисных для нашего исследования (ср.: «Испытывая теорию на "надежность", рефлексия является источником тех "флуктуаций" в ее развитии, которые обуславливают периодические неустойчивые состояния» [65]; см. также [66; 12, с. 140]).

Очень интересным кажется выявление основных параметров, порождающих турбулентность в движении (развитии) лингвофилософских парадигм. Прежде всего здесь следует назвать социокультурный стиль мышления — причем рассматриваемый не только в его собственно научных, но и в более широких, действительно общекультурных реализациях (такой подход, в свою очередь, дает хорошие возможности для поиска тех черт, которые роднят науку с гуманистикой [67, с. 22]), аксиологические структуры научных концепций (образующие достаточно сложные единства [68]), личностно-психологические (связанные с широко понятой субстантивностью исследователя) моменты, наконец, свойства самого языка (разумеется, также "преломленные" в теоретическом сознании). Последний тип "предпосылок турбулентности" последовательно анализируется в яркой концепции М.К. Петрова (ср., в частности, выделение трех

фундаментальных "замыканий" на языковые структуры в истории европейского социального кодирования [33, с. 284, 293]).

Не менее значимым является исследование закономерностей взаимодействия (по крайней мере — взаимовлияния) названных параметров, что, очевидно, может рассматриваться как реализация детерминистского подхода к турбулентности. Разумеется, ситуация в данном случае очень далека от простого суммирования (или "взаимовычеркивания") различных моментов. Тем не менее именно на таком пути, по-видимому, существует возможность создания объясняющей (по крайней мере — реконструктивистской [67, с. 136]) истории философии языка.

5

Возвращаясь к положениям, сформулированным в начале статьи, можно сделать вывод, что отсутствие жестких границ между различными лингвофилософскими парадигмами определяется не только взаимосвязанностью универсально-смысловых категорий языка, но и внешними, социокультурными причинами. Напомним в данной связи, что вполне адекватное (прагматически и гносеологически) использование концепта парадигмы применительно к философско-языковому материалу предполагает отказ от "узко-куновского" (точнее "догматически-куновского") понимания парадигмы (как общепризнанного образца постановки и решения научных задач). При оперировании данным понятием имеются в виду прежде всего общие представления и постулаты (а также соответствующие им операционные дефиниции) о природе того или иного широкого языкового класса, используемые для описания входящих в него единиц, а часто и единиц других классов. Концепт парадигмы при таком подходе имеет немало черт сходства с понятием гносеологических оснований теории, обладая, однако, гораздо более отчетливыми метанаучными и социокультурными коннотациями (и импликациями) [1, с. 19—20].

Намеченный подход позволяет включать в сферу анализа как узувальные, социально-культурные, так и психологические [69] (личностные), шире — субъективные (интерсубъективные) моменты парадигмы, причем рассматриваемые в тесном соотношении с ее общими характеристиками, "первофеноменами культурно-исторической периодики" [68, с. 128—129]⁷. (Здесь можно привести суждение Дж. Александера, согласно которому основное отличие между социальными и естественными науками состоит не в факте субъективной ориентации, а в отсутствии консенсуса по поводу того, какими — на той или иной стадии развития науки — являются подлинные субъективные ориентации (what the proper subjective orientations are [32, с. 2].) В конечном счете у исследователя философии языка при такой познавательной ориентации возникает возможность не только "увидеть мышление эпохи" в мышлении того или иного "философа языка", но и "понять это мышление в его движении к пределу, в его способности рефлексировать и трансформировать самого себя" [13, с. 24]. Лингвофилософские построения дают для этого неплохие шансы.

Динамичность, все более очевидно проявляющаяся, развертывания лингвофилософских и лингвокультурных интерпретаций языковых категорий оказывается для исследователя, даже такого, который не включает последовательно в свой анализ метанаучные построения, своего рода компенсацией некоторой статичности, как бы "априорной данности" [1, с. 261; 7, с. 400—401] самих категорий. (Такая ситуация, как кажется, может описываться в духе идей Фейерабенда: «Ученый, заинтересованный в получении максимального эмпирического содержания и желающий понять как можно больше аспектов своей теории, примет плюралистическую методологию и будет сравнивать теории

⁷ Ср., например, у М. К. Петрова о "страхе" Платона перед неустранимой из флективных языковых структур проблемой выбора [33, с. 204].

друг с другом, а не с "опытом", "данными" или "фактами". Альтернативы, нужные для поддержания дискуссии, он вполне может заимствовать из прошлого... Исчезают границы между историей науки, ее философией и самой наукой» [70]. Впрочем, именно эта данность (и взаимосвязанность) категорий является необходимой предпосылкой, даже источником, познавательного "единства многообразия", которое отчетливо проступает в философии языка.

Такое единство порождается также тесными связями лингвофилософских построений с "социальным бессознательным", которое задает и жесткость "границ культуры", и их взаимопересечение. В этом смысле перспективы когнитологического подхода к философии языка оказываются почти необозримыми.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Руденко Д.И. Имя в парадигмах "философии языка". Харьков, 1990.
2. Руденко Д.И. Категория имени в основных парадигмах "философии языка": Автореф. дис. ...док. филол. наук. М., 1990.
3. Степанов Ю.С., Демьянков В.З. Философия языка // Современная западная философия. М., 1991.
4. Береговой И.И. Категориальный синтез логического знания. Львов, 1990.
5. Луценко Н.А. Грамматические категории в системе и узусе (русские глагол и имя): Автореф. дис. ...докт. филол. наук. Днепрпетровск, 1990. С. 5—6.
6. Бацевич Ф.С. Глагол в "межпарадигматическом" аспекте изучения // Лингвистика: взаимодействие концепций и парадигм. Вып. 1. Ч. 1. Харьков, 1991.
7. Руденко Д.И. От взаимосвязи категорий к взаимопроникновению парадигм // Лингвистика: взаимодействие концепций и парадигм. Вып. 1. Ч. 2. Харьков, 1991.
8. Thorne T. Referential-semantic analysis. Cambridge, 1980. P. 214.
9. Руденко Д.И. Метаэллипсология А.Л. Факторовича // Факторович А.Л. Выражение смысловых различий посредством эллипсиса. Харьков, 1991.
10. Автономова Н.С. Рефлексия в науке и философии // Проблемы рефлексии в научном познании. Самара, 1983. С. 23.
11. Романов В.Н. Историческое развитие культуры: Проблемы типологии. М., 1991.
12. Кузнецов В.Г. Герменевтика и гуманитарное познание. М., 1991.
13. Библер В.С. Кант — Галляей — Кант: Разум Нового времени в парадоксах самообоснования. М., 1991.
14. Степанов Ю.С. В трехмерном пространстве языка: Семиотические проблемы лингвистики, философии, искусства. М., 1985.
15. Степанов Ю.С. Некоторые соображения о проступающих контурах новой парадигмы // Лингвистика: взаимодействие концепций и парадигм. Вып. 1. Ч. 1. Харьков, 1991.
16. Стюарт Дж. Возвращаясь к символической модели: нерепрезентативная модель природы языка // Знаковые системы в социальных и когнитивных процессах. Новосибирск, 1990.
17. Сватко Ю.И. Типы парадигм и концепций: текстовый уровень взаимодействия // Лингвистика: взаимодействие концепций и парадигм. Вып. 1. Ч. 1. Харьков, 1991. С. 21.
18. Серль Дж. Природа интернациональных состояний // Философия, логика, язык. М., 1987. С. 107.
19. Маттёус Ю. Проблема бытия "материальных вещей" в феноменологии Э. Гуссерля // Уч. зап. Тартуск. ун-та. 1988. Вып. 829.
20. Руденко Д.И. Лингвистические идеи К. Айдукевича в контексте славянской традиции "философии языка" // Материалы II Международного семинара "Славянская культура в современном мире". Киев, 1991.
21. Ajdukiewicz K. Język a poznanie. T. 1. Warszawa, 1960.
22. Кобозева И.М. Интенсионал предложения и интенция говорящего // Анализ знаковых систем. История логики и методологии науки. Киев, 1986.
23. Мельников Г.П., Преображенский С.Ю. Методология лингвистики. М., 1989.
24. Целищев В.В. Философские проблемы семантики возможных миров. Новосибирск, 1977.
25. Kripke S. Naming and necessity // Semantics of natural language. Dordrecht, 1972.
26. Пхакадзе И.Г. Недостижимые достижимые миры: Семантика возможного и языковая относительность. Тбилиси, 1991. С. 116—117.
27. Хинтиikka Я. Ситуация, возможные миры и установки // Знаковые системы в социальных и когнитивных процессах. Новосибирск, 1990.
28. Kripke S. Speaker's reference and semantic reference // Contemporary perspectives in the philosophy of language. Minneapolis, 1979.
29. Donnellan K.S. Speaker reference, descriptions, and anaphora // Contemporary perspectives in the philosophy of language, Minneapolis, 1979.
30. Руденко Д.И. Собственные имена в контексте современных теорий референции // ВЯ. 1988. № 3. С. 63—64.

31. Панин А.В. Является ли дихотомия эмпирического и теоретического исчерпывающей в методологии научного познания? // ФН. 1986. № 2. С. 72.
32. Alexander J. Theoretical logic in sociology. V. 2. Berkeley; Los Angeles, 1982.
33. Петров М.К. Язык, знак, культура. М., 1991.
34. Руденко Д.И. Категория имени: как разрушить парадигму? // Семантика в преподавании русского языка как иностранного. Вып. 3. Ч. 1, Харьков, 1989.
35. Руденко Д.И. Лінгвістичні ідеї Т. Котарбінського (система імен) // Проблеми слов'янознавства. Вип. 39. Львів, 1989.
36. Руденко Д.И. Лінгвістичні ідеї у науковій спадщині К. Твардовського // Проблеми слов'янознавства. Вип. 41. Львів, 1990.
37. Руденко Д.И. Львовско-Варшавская философская школа и "философия имени" // Функція в мові, логіці та математиці Т.І. Тернопіль, 1990.
38. Поляков И.В. Парадигмы в философии языка: семантический анализ // Концептуализация и смысл. Новосибирск, 1989. С. 99.
39. Рабинович В.Л. Исповедь Книгочея, который учил буквы, а укреплял дух. М., 1991.
40. Огурцов А.П. Генезис рефлексивной установки в гносеологии Нового времени // Проблемы рефлексии в научном познании. Самара, 1983.
41. Лосева И.Н. Теоретическое знание: проблемы генезиса и различения форм. Ростов-на-Дону, 1989.
42. Scheler M. Problemy socjologii wiedzy. Warszawa, 1990.
43. Никич Г.А. Владимир Брайнин. М., 1991. С. 13.
44. Павличенко С. Емліл Дікінсон: поезія скептичного ума // Дікінсон Е. Лірика. Київ, 1991. С. 30.
45. Обухова Э.А., Семчук Ю.О., Юхт В.В. Слово и имя в поэзии Осипа Мандельштама // Проблемы изучения поэзии О.Э. Мандельштама в педагогическом вузе. Харьков, 1990.
46. Проскурин С.Г. Древнеанглийская пространственная лексика концептуализированных областей: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1990. С. 7.
47. Проскурин С.Г. Мифопоэтический мотив "мирового дерева" в древнеанглийском языке и англосаксонской культуре (концептуальный анализ) // Логический анализ языка: Культурные концепты. М., 1991. С. 124.
48. Кислов А.Г. Генетическая связь факта и теории в научном познании: Автореф. дис. ...канд. филос. наук. Екатеринбург, 1990.
49. Seriot P. Analyse du discours politique soviétique. Paris, 1985.
50. Методологическое сознание в современной науке / Отв. ред. Йолон П.Ф. Киев, 1989. С. 43.
51. Кузнецкий Николай. Об ученом незнании // Николай Кузнецкий. Соч.: В 2-х т. М., 1979. Т. 1. С. 89.
52. Руденко Д.И. Имена естественных классов, собственные имена и имена номинальных классов в семантике естественного языка // ИАН СЛЯ. 1987. № 1. С. 23.
53. Косарева Л.М. Социокультурный генезис науки Нового времени (Философский аспект проблемы). М., 1989.
54. Хабермас Ю. Понятие индивидуальности // ВФ. 1989. № 2. С. 38.
55. Генис А. Иван Петрович умер: Писатель как современник // Независимая газета. 1992. № 8. С. 7.
56. Степанов Ю.С. Пор-Рояль в европейской культуре // Грамматика общая и рациональная Пор-Рояля. М., 1990.
57. Ромашко С.А. "Язык": структура концепта и возможности развертывания лингвистических концепций // Логический анализ языка: Культурные концепты. М., 1991. С. 162—163.
58. Локк Дж. Опыт о человеческом разумении // Локк Дж. Соч.: В 3-х т.: Т. 1. М., 1985. С. 530.
59. Добронравова И.С. Синергетика: становление нелинейного мышления. Киев, 1990. С. 129.
60. Шкода В.В. Оправдание многообразия (Принципы полиморфизма в методологии науки). Харьков, 1990. С. 53—54, 164—165.
61. БСЭ. 3-е изд. Т. 26. М., 1977. С. 324.
62. Берже П., Помо И., Видаль К. Порядок в хаосе: О детерминистском подходе к турбулентности. М., 1991.
63. Мамчур Е.А. Проблемы социокультурной детерминации научного знания. М., 1987. С. 43.
64. Юдин Б.Г. Наука, культура и научные революции // Научные революции в динамике культуры. Минск, 1987. С. 134.
65. Бажанов В.А. К вопросу о механизмах саморефлексивности науки // Проблемы рефлексии в научном познании. Самара, 1983. С. 67.
66. Шелепин Л.А. Вдали от равновесия. М., 1987. С. 57—59.
67. Метод исторической реконструкции в истории науки (История науки в контексте культуры) / Отв. ред. Геворкян Г.А. Ерван, 1990.
68. Бургин М.С., Кузнецов В.И. Аксиологические аспекты научных теорий. Киев, 1991.
69. Marková I. Paradigms, thought and language. Chichester, 1982. P. 1—2.
70. Фейерабенд П. Избр. тр. по методологии науки. М., 1986. С. 179—180.

© 1992 г. МАКОВСКИЙ М.М.

"КАРТИНА МИРА" И МИРЫ ОБРАЗОВ

(ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ЭТЮДЫ)

1. Слово как мифопоэтическое понятие

Die Welt ist durch die Sieb
des Wortes gesiebt

K. Kraus

Говорение представлялось язычникам творческим началом. Как отмечает известный английский исследователь Э. Тайлер, в первобытном обществе "...язык действует не только в полном согласии с воображением, продукты которого он выражает, но он творит сам по себе, так что рядом с мифическими идеями, в которых речь следовала за воображением, есть и такие, в которых речь шла впереди, а воображение следовало по проложенному ею пути" [1, с. 214]. Человек репродуцирует свои представления о природе и вещах в словах (и их эквивалентах). Вещь для него — космос, и он создает вокруг себя вещи, которые представляют жизнь природы во всем ее многообразии. Рассмотрим в этой связи следующие семасиологические универсалии.

1) Соотношение значений "издавать звуки" — "творить, создавать": ср. лтш. *skanēt* "звучать", *skana* "звук", но и.е. **konas* "творить, создавать"; и.е. **ker-* "издавать звуки", но и.е. **ker-* "создавать, творить"; и.е. **kens-* "громко произносить", но осет. *kaenun* "творить, делать"; и.е. **yer-* "произносить, издавать звуки", но и.е. **yer-* "делать, творить" (ср. англ. *work*); и.е. **ag-* "говорить", но лат. *agere* "делать, творить"; и.е. **ger-* "издавать звуки", но швед. *göra* "делать, творить"; и.е. **yak-*, **uek-* "издавать звуки", но литов. *veikti* "пелать, творить"; нем. *reden* "говорить", но серб.-хорв. *raditi* "делать, творить" (ср. русск. *радеть*); чеш. *praviti* "говорить", но болг. *pravja* "делать, творить".

¹ Интересно, что слова со значением "издавать звуки" могут соотноситься со значением "начало, начать": ср. нем. *Ge-sang* "песня", др.-англ. *sāecgan*, но лтш. *sākt* "начинать"; ирл. *domscanna* (3 л. ед. числа) < **to-lind-scann-*, но лтш. *skana* "звук", *skanēt* "звучать"; англ. *be-gin*, нем. *be-ginnen* "начинать", но и.е. **kens-* "издавать звуки"; др.-сев. *byrja* "начинать", но и.е. **bher-* "издавать звуки"; др.-инд. *a-rabh-* "начинать", но тох. А *rape* "музыка"; брит. *derou* "начинать", но литов. *laryti* "говорить" [2].

² Ср. также: ирл. *libais* "работа", но нем. *loben* "хвалить"; и.е. **yed-* "говорить" — валл. *gwaith* "работа"; др.-англ. *zwinc* "работа" — др.-англ. *singan* "петь"; и.е. **prek-* "просить, громко звать"; ср. чеш. *prace* "работа". С другой стороны, интересно сопоставить: и.е. **pal-* "просить, умолять", но тох. А *pal* "природа"; и.е. **syer-* "издавать звуки", но тох. А. *širt* "первопричина"; гот. *stibna* "голос", но лтш. *daba* "природа".

Вполне понтико соотношение значений "издавать звуки" → "творить" → "лечить": ср. и.е. **kel-* "кричать", но др.-англ. *hal*, *hāl* "здоровый", нем. *heilen* "лечить"; др.-инд. *yacati* "умоляет", др.-в.-нем. *jehan* "говорить", но др.-инд. *yācas* "исцеление", др.-ирл. *hicc* "исцеление" (< **jékko-*); нем. *loben* "хвалить", но др.-в.-нем. *luppen* "лечить". Интересно, что в ряде случаев слова со значением "издавать звуки" соотносятся со значением "(исцеляющая) трава, (исцеляющее) дерево, растение": ср. др.-англ. *gers* "трава", но и.е. **ger-* "издавать звуки"; англ. *word* "слово", но англ. *sward* "дерн, трава"; индо-арийск. *nimata* "трава", но др.-англ. *neotman* "издавать звуки"; др. инд. *trna* "трава" < **irek-s-no*, но кельт. *irigiō* "музыка"; др.-сев. *byf* "лечебная трава", но нем. *loben* "хвалить"; прусск. *gudde* "куст", но ирл. *guth* "голос"; греч. *φάρμακον* "лечебная трава", но **bher-* "издавать звуки" + **mek-* "издавать звуки".

2) Соотношение значений "издавать звуки, говорить" — "вещь": ср. и.-е. **uer-* "говорить", но тох. А. *wram* "вещь"; хет. *temiia(n)* "слово, речь", но также "вещь"; арм. *ban* "слово", но также "вещь"; польск. *rzecz* "вещь; предмет", но также "речь"; нем. *dingen* "говорить", но нем. *Ding* "вещь"; гот. *stibna* "голос", (< **teb-*, **tep-*), но нем. *Stoff*, англ. *stuff* "вещество"; русск. *вещать*, но русск. *вещь*; др.-англ. *cearm* "шум, крик", но греч. *χρῆμα* "вещь"; англ. *to sing* "петь", но др.-англ. *sinc* "сокровище".

3) Соотношение значений "звук, песня" — "рожать, производить на свет": ср. русск. *песня*, но и.-е. **pes-nis* > *penis*; греч. *λέγειν* "говорить", но греч. *λήκω* "соить"; лтш. *daina* "песня", но ирл. *din* "род, потомство"; нем. *Lied* "песня" (ср. лат. *ludus* "культовая игра"), др.-англ. *lēod* "звук", но др.-англ. *lēod*, нем. *Leute*, англ. диал. *leed* "народ"; и.-е. **ker-* "издавать звуки", но осет. *kuryn* "рожать"; литов. *kaukti* "издавать звуки", но и.-е. **kūk-* "puddendum"; др.-англ. *сведан* "говорить", но валл. *cydio* "соить"; ирл. *guth* "голос", но ирл. *goithimm* "соить"; тох. А. *кап* "звук" (ср. осет. *kom* "рот"), но др.-англ. *haēman* "соить"; кельт. *trigiō* "музыка, но брит. *serch* "наложница, конкубина" (< **stergh-*); тох. А. *rape* "музыка", но др.-сев. *rafr* "жир (рыбы)" > ("семя"), укр. *pona* "гной", др.-англ. *ropp* "кишка" > ("половые органы"); др.-англ. *hrōtan* "кричать", но др.-инд. *ret-* "семя"; литов. *taryti* "говорить", но др.-англ. *teors* "penis"; и.-е. **uer-* "говорить", но осет. *waryn* "рожать"; лат. *rūdere* "кричать", но осет. *rud* "кишки, живот" > ("половые органы"), др.-англ. *read* "желудок коровы"; и.-е. **eg-* "говорить", но ср.-в.-нем. *unc* "penis". Интересно сопоставить также: и.-е. **ghen(d)-*, **ken(d)-* "рожать", но англ. *chat* "беседа" (ср. др.-англ. *ceatta* "вещь"); и.-е. **rek-* "говорить", но англ. диал. *ruck* "семья"; **kik-* "издавать звуки", но др.-англ. *higo* "familia", нем. диал. *heijen* "соить"³.

Произнесенное слово, по поверьям древних, заключало в себе образ тотема. Акт называния обуславливает прибытие тотема, его живое присутствие⁴. Отсюда связь инвокаций с богоявлением, с "оживлением" умерших. Совершая какие-либо операции над именем, по мнению язычников, мы воздействуем и на соответствующий предмет, подчиняя его своей воле. В связи с этим становится понятным смысл буквенной и словесной магии, стремление "засекретить" имена тех предметов, которые нужно "обезопасить" от враждебного воздействия, боязнь того, что произнесенное слово может навлечь несчастье, болезнь, испортить охоту, помешать пахоте или получению хорошего урожая. В этой связи рассмотрим следующий материал.

1) Соотношение "издавать звуки" — "являться, появляться": ср. и.-е. **ace-* "говорить", но русск. *явить(ся)*; лат. *dicere* "говорить", но и.-е. **deik-* "появляться, показывать(ся)"; русск. *сказать*, но русск. *по-казывать(ся)*; и.-е. **kik-*, **kek-*, **kuk-* "schreien", и.-е. **kkek'* "erscheinen"; др.-англ. *sæcgan* "говорить, сказать"; но **sekʰ-* "появиться"; греч. *φαίνειν* "появиться", но арм. *ban* "слово".

2) Соотношение "издавать звуки" — "бог": ирл. *guth* "голос", но др.-англ. *gōð* "бог"; и.-е. **bhag-* "говорить", но русск. *бог*; лат. *dicere* "говорить", но арм. *d'ik* "боги"; др.-инд. *sura-* "бог", но и.-е. **uer-* "говорить, издавать звуки"; и.-е. **syen-*

³ Ср. также болг. *дума* "слово", но др.-инд. *dumah* "половые органы"; и.-е. **pal-* "издавать звуки", но др.-инд. *pelah* "половые органы".

⁴ Как отмечает О.М. Фрейденберг, "акт говорения представляется не абстрактным, а конкретным "вещанием" жизни-смерти, их подачей; говорящий недаром называется у греков "поэтом", творцом. Поэт-тотем, позже демиург и сотворитель мира, является "пророком" жизни-смерти. Это пророчество, как показывают многие мифы, представляется актом разрывания зверя или человека на части; "пророк" якобы из этого разрывания оживает вновь цельным. Так закладывается фундамент для будущего гадания... по расчленению животного" [3, с. 57]. Интересно в этой связи, что лексемы со значением "говорить" нередко восходят к значению "резать": ср. др.-англ. *sæcgan* "говорить", но русск. *сечь* (< **sek-*); прусск. *gerbi* "говорить", но др.-англ. *ceorfan* "резать"; нем. *kerben* "делая зарубки"; литов. *biñti* "говорить", но и.-е. **bil-* "резать"; литов. *taryti* "говорить", но и.-е. **ter-* "тереть, резать" (ср. прусск. *tarm* "голос"); греч. *λέγειν* "говорить", но нем. диал. *Lehe* "серп", русск. диал. *ложить* "кастрировать"; русск. *молить*, *молвить*, но русск. диал. *молить* "убивать (скот)"

(< *an- : ср. и.-е. *an* "дыхание"; хет. *an* "небо"), но гот. *ans*, *ass* "Gott", др.-англ. *ās*, др.-сев. *qss* "Gott" (ср. гот. *ans* "столб": языческое поклонение столбам; типологически ср. также и.-е. **yak*- "издавать звуки, но др.-англ. *wah* "trabs", нем. *schwach* "находящийся в религиозном трансе, расслабленный"; ср. также греч. οὐρανός "небо" < **yer*- "издавать звуки" + **an*-, **syen*- "звук" или осет. *warun* "to give birth to", и.-е. **yen*- "coire"); др.-в.-нем. *kosian* "говорить", но хет. *hassu* "повелитель".

3) Соотношение "издавать звуки" — "плохой, больной": ср. и.-е. **yer*- "издавать звуки", но англ. *worse* "хуже", *the worst* "наихудший"; и.-е. **bhā*- "говорить, издавать звуки", но англ. *bad* "плохой", и.-е. **bhel*- "издавать звуки", но русск. *больной*; греч. λεγέιν "говорить", но и.-е. **elk*- "плохой", **leig*- "больной"; др.-англ. *leod* "звук", но русск. диал. *леда*, *ляда* "болезнь"; др.-англ. *sweðan* "говорить", но нидерл. *kwaad* "плохой"; англ. *word* "слово", но русск. *вред*; нем. *übel* "плохой", но и.-е. **yab*-, **yeb*- "издавать звуки"; швед. *mål* "язык, речь", но лат. *malus* "плохой"; и.-е. **ag*- "говорить", но и.-е. **aig*- "больной"; и.-е. **kel*- "говорить, издавать звуки", но русск. *злой*; и.-е. **rek*- "говорить", но нем. *arg* "злой"; тох. *A plac* "слово", но русск. *плохой*³. Значения "слово; издавать звуки" могли соотноситься и со значением "хороший": ср. ирл. *guth* "голос", но англ. *good* "хороший"; и.-е. **ger*- "издавать звуки", но литов. *gėras* "хороший"; и.-е. **kel*- "издавать звуки", но греч. καλός "хороший"; нем. *loben* "хвалить", но литов. *labas* "хороший".

4) Соотношение "издавать звуки, говорить" — "остановиться, прекратить" (табу на слова): ср. др.-англ. *mæþlian* "говорить", но русск. *медленный*; греч. λεγέιν "говорить", но др.-англ. *slāc* "медленный"; и.-е. **kel*- "издавать звуки, говорить", но и.-е. **kēlō* "прекратить"; и.-е. **gel*- "издавать звуки", но др.-англ. *gāelan* "прекратить, остановиться"; др.-в.-нем. *kosian* "говорить", но церк.-слав. *куснеть* "медлить"; кельт. *trigiō* "музыка", но др.-в.-нем. *tragi* "медленный"; и.-е. **ker*- "издавать звуки", но англ. *curb* "прекратить; сдерживать, не пускать"; и.-е. **kūk*- "издавать звуки", но лат. *sunctare* "прекращать(ся); швед. *mål* "язык, речь", но и.-е. **mel*- "медлить"; др.-англ. *swig* "звук", но др.-англ. *swigian* "молчать"; и.-е. **yed*-, **yeid*- "говорить, издавать звуки", но др.-англ. *sweðrian* "прекратить(ся), иссякнуть"; гот. *stibna* "голос", но англ. *stop* "остановить(ся)"; нем. *reden* "говорить", но лат. *lentus* "медленный"; и.-е. **bhag*- "издавать звуки", но лтш. *beigt* "кончать, прекращать"; и.-е. **bher*- "говорить", но англ. *bar* "сдерживать".

5) Соотношение "издавать звуки" > "жить, оживать": ср. и.-е. **ker*- "издавать звуки", но осет. *soeryn* "жить"; и.-е. **rek*- "говорить", но алб. *rroj* "жить"; и.-е. **gheu*- "издавать звуки", но и.-е. **ghuei*- "жить"; др.-англ. *spræcan* "говорить", но др.-англ. *feorh* "жизнь"; нем. *loben* "хвалить" (ср. переход *слово* → *слава*), но нем. *leben* "жить".

6) Как мы уже говорили (примеч. 4), в древности широко практиковалось предсказание будущего по внутренностям животных и особенно рыб. Ср. греч. ὄρυα "кишка", но и.-е. **yer*- "вещать"; лат. *ilia* "внутренности", но и.-е. **el*- "издавать звуки"; англ. *gut* "кишка", но ирл. *guth* "голос"; др.-англ. *reada* "желудок", осет. *rud* "кишки", но др.-англ. *rædan* "гадать"; гот. *qifus* "живот", но др.-англ. *sweðan* "говорить, вещать"; др.-англ. *gorp* "кишка", но нем. *rufen* "кричать" (ср. др.-англ. *hrōpan* "издавать звуки"); нем. *Ein-ge-weide* "внутренности", но и.-е. **yed*- "вещать"; греч. κόλον "кишка", но и.-е. **kel*- "вещать". В связи с тем, что гадание проводилось по конфигурации внутренних органов, интересно соотношение "внутренние органы" — "образ": ср. лат. *i-māgo* "образ", но нем. *Magen* "живот, желудок" (ср. перс. *māhi* рыба, и.-е. **tag*- "ворожить"); лат. *sinus* "матка, внутренности", но хет. *senā* "образ"; англ. *womb* "матка,

³ Ср. те же др.-англ. *sweðan* "говорить", но др.-англ. *sobi* "болезнь".

⁶ Ср. также: др.-англ. *sweðan* "говорить", но англ. *skid* "остановить(ся), тормозить".

внутренности", но англ. диал. *obering* "предзнаменование" (ср. валл. *oabl* "небо", и.-е. **ombel-* "пуп, середина"); валл. *cylla* "желудок", но др.-сев. *heill* "предзнаменование"; швед. *buk*, нем. *Bauch* "живот", но тох. А *puk-* "верить, надеяться"; англ. *ribblings* "внутренности", но русск. *рыба*, а с другой стороны — валл. *rheib* "колдун"; др.-англ. *geosen* "кишка", но англ. *guesz* "гадать" (ср. нем. диал. *Giesen* "рыба"); нем. *Lachs* "лосось", нем. *Laich* "рыбья икра", но др.-инд. *lakṣaṇa* "образ" (вторая часть этого слова соответствует хет. *senā* "образ"), др.-англ. *ling* "образ"; англ. *pluck* "внутренности", но тох. А *preke* "время" (типологически ср.: **uēder-* "живот, внутренности", но нем. *Wetter* "погода", русск. *вѣдро*; лат. *sinus* "матка, внутренности", но ирл. *sion*, валл. *hin* "погода"); лат. *ōmēn* "предзнаменование", но **uēd(er)-* "живот, внутренности" + суф. *-men* (ср. др.-инд. *udu* "звезда"); ср. др.-сев. *vilja* "внутренности", но **uēl-*, **el-* "издавать звуки", хет. *wallas* "звезда"; лтш. *terbt* "говорить, издавать звуки", но русск. *у-троба* (ср. русск. *требуха*, а также ирл. *twar*, *tuar*, хет. *tar-* "предзнаменование").

Ср. также: др.-англ. *drēam* "песня, музыка", греч. *δρέομαι* "кричать, издавать звуки", хет. *tarmā(i)-* "придавать очертания, форму", но с другой стороны, нем. *Darm* "кишка", лат. *forma*. В лат. *informatio* "изложение, истолкование" наиболее ярко представлена идея о воплощении "Божественного слова" в определенной материальной форме. "Божественное слово" могло воплощаться и в насекомых, символизировавших верхний мир, небо, душу: ср. лат. *forma*, но лат. *formica* "муравей". Ср. также: швед. *buk* "живот", русск. *бог*, но англ. *bug* "жук, насекомое", англ. диал. *bogie* "привидение".

В древнем сознании слово соответствовало времени-кругу, умирающему и оживающему логосу-богу, году. Ср. и.-е. **uēr-* "говорить", но русск. *время* (< *uēr-men*); лат. *dicēre* "говорить", но гот. *feihis* "время"; греч. *λέγειν* "говорить", но лтш. *laiks* "время"; и.-е. **kel-* "говорить", но др.-инд. *kala-* "время"; чеш. *doba* "время", но гот. *stibna* "голос"; и.-е. **uēd-* "говорить", но и.-е. **uēt-* "время; год"; и.-е. **uak-* "издавать звуки", но русск. *век*; и.-е. **om-* "произносить, заклинать" (др.-инд. *amī-sval* "заклинать", лтш. *amas* "голос"), но ирл. *aimsir* "время"; гот. *merjan* "вещать, возвещать голосом", но лат. *mōrā* "время"; др.-англ. *spraecan* "говорить", но тох. А *preke* "время"; тох. А *rape* "музыка", но греч. *ροπή* "время"; кельт. *trigiō* "музыка", но др.-англ. *þrag* "время"; и.-е. **kek-* "издавать звуки", но алб. *kohë* "время"; алб. *tungull* "звук", но осет. *dug* "время".

Как отмечал А.Я. Гуревич [4, с. 73], "и миром и человеком управляет космическая музыка, выражающая гармонию целого и его частей и пронизывающая все — от небесных сфер до человека... С музыкой связано все, измеряемое временем. Музыка подчиняется числу. Поэтому и в макрокосме и в микрокосме-человеке царят числа, определяющие их структуру и движение". Ср. следующие переходы значений: русск. *число*, но др.-в.-нем. *kosian* "говорить"; гот. *raþjō* "число", но нем. *reden* "говорить"; тох. А *kaç* "число", лтш. *skaitis* "число", но др.-англ. *þwēðan* "говорить", литов. *žadis* "слово"; др.-сев. *tala* "число" и "слово". русск. *шум*, но и.-е. **sem-* "один"; лат. *monēre* "вещать", но греч. *μόνος*.

Слово непосредственно связано, с одной стороны, с понятием Вселенной, с понятиями бытия, существования, а с другой — с понятием смерти, с вечной сменой бытия и небытия. Как отмечает О.М. Фрейденберг, "Логос говорит деревьями, землей, птицами, животными, людьми, вещами. Форма этого разговора — борьба... Одна сторона спрашивает другую, другая отвечает,

¹ Ср. также древневерхненемецкую глоссу (II, 349, 37): *ebur. tempus*, где первая часть древневерхненемецкого слова соотносится с и.-е. **uab-* "говорить, произносить звуки", а вторая — с и.-е. **bher-* "говорить". Первую часть рассматриваемого древневерхненемецкого слова можно также сопоставить с кельт. *amb* "время" (ср. арм. *amr* "небо"). Значение "время" в свою очередь обычно коррелирует со значением "Вселенная": ср. др.-сев. *skeið* "время", но авест. *gaēru-* "Вселенная"; русск. *час*, но греч. *κόσμος* "Вселенная"; лат. *mōrā* "время", но русск. *мир*; лтш. *laiks* "время", но др.-инд. *loka-* "Вселенная"; и.-е. **uēt-* "время", но русск. *swetan* "Вселенная".

одна отрицает, другая говорит утвердительно, одна сторона обращается, другая внимает" [3, с. 59]. Слово отождествляется с постоянной борьбой дня и ночи, жизни и смерти, добра и зла, духа и тела, верха и низа, своего и чужого. В этой связи показательны следующие переходы значений.

1) Соотношение "издавать звуки, говорить" — "Вселенная": ср. литов. *žadis* "слово", но авест. *gāēpu-* "Вселенная"; др.-в.-нем. *kosian* "говорить", но греч. *κόβ-μος* "Вселенная", тох. А *qosi* "люди"; и.-е. **yed-* "говорить", но прусск. *swetan* "Вселенная"; лат. *loquere* "говорить", но др.-инд. *loka-* "Вселенная"; др.-англ. *weorold* "Вселенная, но и.-е. **yer-* "говорить" (вторую часть этого слова следует сопоставить с англ. *tell* "говорить").

2) Соотношение "издавать звуки" — "смерть" (о соотношении "издавать звуки" — "жизнь" см. выше): и.-е. **gel-* "издавать звуки", но прусск. *gallan* "смерть"; и.-е. **rek-* "говорить", но тох. А *sruk* "смерть"; гот. *merjan* "вещать, возвещать голосом", но и.-е. **mer-* "смерть, умирать"; лат. *dicere* "говорить", но др.-сев. *doegja* "умирать" (ср. англ. *die* "умирать", но, с другой стороны, тох. А *tak* "быть, существовать"); лтш. *daina* "песня", но греч. *θάνατος* "смерть"; и.-е. **ag-* "говорить" (ср. лат. *ad-agium*), но и.-е. **eg-* "терять силы, вянуть, быть ущербным"; лтш. *terbi* "говорить", но нем. *sterben* "умирать" (ср., с другой стороны, и.-е. **terp-* "преуспевать"); и.-е. **ke(n)k-* "издавать звуки", но хет. *henkan* "смерть"; литов. *oŭti* "кричать", но авест. *aoša* "смерть".

3) Соотношение "издавать звуки, говорить" — "круг" (символ святости и основной Принцип существования Вселенной): ср. лат. *rudere* "реветь", но нем. *rund*, англ. *round* "круглый" (ср. русск. *родить*, см. выше); др.-англ. *maeðlian* "говорить", но др.-инд. *mandala-* "круг"; и.-е. **yer-* "говорить", но др.-инд. *vartula-* "круглый"; и.-е. **ker-* "издавать звуки", но брит. *krewn*, авест. *skarəna-* "круглый"; и.-е. **kel-* "издавать звуки", но греч. *κύκλος* "круг"; лтш. *iraidā* "песня", но др.-англ. *trendel* "круг"; ирл. *meall* "круг", но швед. *mål* "речь, язык".

4) Соотношение "издавать звуки, говорить" — "дерево" (символ Вселенной, местопребывание душ умерших и еще не родившихся): ср. и.-е. **kūk-* "издавать звуки", но лтш. *kuòks* "дерево"; нем. *reden* "говорить", но лат. *arbor* "дерево" (ср. индо-арийск. *ardhá-* "середина" — центр Вселенной, символ святости); и.-е. **ger-* "издавать звуки", но прусск. *garian* "дерево"; и.-е. **ag-* "говорить", но и.-е. **dǵ-* "дуб"; гот. *merjan* "вещать, возвещать", но арм. *mair* "ель"; лтш. *daina* "песня", но др.-инд. *dhanuḥ* "дерево"; и.-е. **yer-* "говорить", но др.-инд. *varana-* "дерево". Ср. также следующие сопоставления, показывающие соотношение значений "говорить, издавать звуки" — "дерево" — "душа": др.-англ. *sweðan* "говорить", но осет. *qād* "дерево", а также греч. *ἄδης* "ад"; др.-инд. *roh* "дерево", и.-е. **rek-* "говорить", но русск. *рай* (ср. русск. диал. *рай* "шум, крик", русск. диал. *райник* "лес, деревня", др.-инд. *rahaḥ* "удинение, скрытость, сокровенность", *rājāḥ* "воздушное пространство, небесное пространство", арм. *eraz* "сон"); **ag-* "говорить", но гот. *ahma* "дух, душа" (вторая часть этого слова может соотноситься с русск. диал. *манеть* "кричать", а также с лат. *mānēs* "души умерших"), русск. *дуб* (ср. гот. *siibna* "голос"), но валл. *anw(f)n* "потусторонний мир", где *dwn* "Вселенная" (ср. галльск. *dubno-*, *dumno-*). Возможно, однако, что валл. *anw(f)n* соотносится с брит. *anaw(u)n* "души" < *anaffo(u)n*.

5) Соотношение "издавать звуки" — "вода, жидкость". В гимнах Ригведы пение гимнов, священных песен рассматривается как одна из важнейших действующих сил, посредством которых Сома приобретает свою чудодейственную мощь. Сома есть жидкость — текущая, очищающая, жидкость, являющаяся причиной религиозного опьянения. Ср. в этой связи: и.-е. **ag-* "издавать звуки", но лат. *aqua* "вода"; лтш. *daina* "песня", но др.-англ. *ðān* "мокрый"; др.-инд. *padati*

⁸ Ср. еще нем. *gedeihen* "преуспевать".

⁹ Ср. также русск. *шзч*, но серб.-хорв. *šuma* "лес" (ср. лат. *semen* "семя", и.-е. **sem-* "половина").

"издавать звуки", но и-е. **nad-* "мокрый"; и-е. *rek-* "говорить", но русск. река; и-е. **syer-* "издавать звуки", но русск. сырой (ср. др.-инд. *sar* "течь"); и-е. **yer-* "издавать звуки", но и-е. **yer-* "мокрый" (тох. А. *war* "вода"); нем. *loben* "хвалить", но и-е. **leib-* "мокрый"; и-е. **yak-* "издавать звуки", но и-е. **yek-* "сырой, мокрый"; и-е. **om-* "издавать звуки", но лат. *amnis* "река" (вторая часть этого слова соотносится с корнем, представленным нем. *nass* "мокрый"; с лат. *amnis* можно сопоставить лат. *anima* "душа"); гот. *stibna* "голос", но и-е. **lap-* "сырость"¹⁰.

6) Соотношение "издавать звуки" — "огонь, свет". Как мы уже говорили, понятия "речь", "звук" непосредственно соотносятся с понятием "дерево". Но в древности дерево было еще и источником огня. Овсяннико-Куликовский отмечает: "Огонь выходит из дерева; стихия подвижная, эфирная, неустойчивая возникает из твердого и плотного тела, горячее выходит из холодного. Очевидно, в дереве скрыт огонь, и процесс трения только вызывает его наружу. Это, стало быть, не более как магическая манипуляция, принуждающая скрытое в дереве божество выйти из своего убежища. Но вот он вышел, он появился, — с треском и блеском; — сперва он неровен, угловат и безобразен; его кормят, — он пожирает щепки, ветви, листья — пожирает и растет, и по мере возрастания незаметно превращается из неуклюжего в стройного и сильного, — вот он уже превратился в яркое и мощное пламя, он уже далеко не безобразен, он красив и величествен, — он великолепен, — в особенности когда угостят его растопленным маслом (он любит эту пищу); пожирая масло и щепки, все растет и растет он; его огненные языки тянутся к небу; он мечет искры и в клубах дыма уносится в небеса. Если в этот дым бросить крылатое слово молитвы, оно улетит вместе с ним в небеса, к богам. Здесь все полно тайны, здесь все чудесно" [5, с. 23—24]. Ср. нем. *beten* "молиться", *bieten* "просить", но и-е. **bedh-* "гореть", греч. *λεγεῖν* "говорить", но др.-англ. *lieg* "огонь"; и-е. **bhā-* "говорить", но греч. *φῶς* "свет"; и-е. **bher-* "говорить", но **bher-* "огонь"; и-е. **ker-* "издавать звуки", но **ker-* "гореть"; и-е. **aye-* "говорить", но **eus-* "гореть"; др.-англ. *singan* "петь", но и-е. **senq-* "гореть"; нем. *loben* "хвалить", но и-е. **lap-* "гореть"; и-е. **yed-* "говорить", но русск. *свет*¹¹.

7) Соотношение "слово, говорить" — "небо": ср. тох. А. *kaṃ* "звук" (< **kemb-*, **keb-* "кричать"), но нем. *Himmel* "небо" (ср. также: гот. *stibna* "голос", но литов. *debess* "небо"); и-е. **kel-* "издавать звуки", но лат. *caelum* "небо"; и-е. **pal-* "просить, умолять", но ирл. *spéir* "небо" (**pel-/per-*); ирл. *nuibr*

¹⁰ Ср. еще: и-е. **geu-* "кричать", но **gheu-* "лить". Интересно, что слова со значением "издавать звуки" могут соотноситься со значением "кровь": ср. лат. *loquere* "говорить", но др.-инд. *loha* "кровь", др.-англ. *sāccgan* "говорить", но лат. *sanguis* "кровь"; греч. *αἷμα* "кровь", но тох. А. *kaṃ* "звук", и-е. **ker-* "издавать звуки", но лат. *cruor* "кровь"; русск. диал. *чанеть* "кричать", но хет. *manis* "кровь".

Значение "огонь" соотносится со значениями "язык, речь", а также "род, семья": ср. лат. *lingua* "язык", но др.-англ. *lieg* "пламя", нем. *Geschlecht* "род" (типологически ср. русск. *п.ламч* — *п.лечч*), англ. диал. *melt* "язык", но англ. *melt* "плавить", ср. хет. *mul* "звезда"; др.-англ. *tung* "язык", но и-е. **reg-* "гореть", ср. др.-англ. *tungol* "звезда", *nohh* "род"; литов. *kalba* "язык", но и-е. **kel-* "гореть", тох. А. *šāp-* "пылать", ср. др.-инд. *kuḍā-* "род", и-е. **g'olbh-* "матка"; лтш. *valoda* "язык", но др.-в.-нем. *swelzen* "сжигать". Поскольку слова со значением "издавать звуки" соотносятся со значением "небо", вполне понятен и переклад значения "слово, звучание" в значение "звезда", а также в значение "знак, знамение" (гадание по звездам): ср. др.-инд. *udu* "звезда", но и-е. **yed-* "говорить" (ср. лат. *otien* "знамение" < др.-инд. *udu* "звезда" + суф. *-men*); русск. *звезда*, но др.-англ. *swedan* "говорить"; алб. *hyll* "звезда", но и-е. **kel-* "говорить"; хет. *mul* "звезда", но швед. *mal* "язык, речь"; англ. *star* "звезда", но литов. *taryti* "говорить", ср. хет. *tar-* "образ, знамение"; и-е. **(s)ked->*ksed->*sed-* "звук", но лат. *sidus* "звезда" [6].

Следует иметь в виду, что в мифопоэтической традиции причиной грома и молнии считалось рассечение небосвода фаллосом (resp. языком) божества: ср. ирл. *torainn* "гром", но др.-англ. *teorǝ* "репс"; брит. *kurin* "гром", но осет. *kurin* "рожать"; гот. *þeihswo* "гром", но др.-англ. *tung* "язык"; валл. *meati* "молния", но англ. диал. *melt* "язык".

"небо", но и.е. **uabio* "кричать" (ср. **ombhelos* "пуп, середина" и валл. *oabl* "небо"); и.е. **uēn-* "издавать звуки; звук", но хет. *an* "небо".

8) Соотношение "слово, говорить" — "зверь" (символ Вселенной, выступает также в качестве тотема); ср. русск. *слово*, но тох. *A lu* "зверь"; литов. *taruti* "говорить", но нем. *Tier* "зверь"; лтш. *daina* "песня", но и.е. **dhaunos-* "животное" (ср. осет. *dunē* "Вселенная"); лат. *loquere* "говорить", но литов. *lokys* "медведь" (ср. др.-инд. *loka-* "Вселенная"); и.е. **ger-* "издавать звуки", но литов. *žeris* "зверь", греч. θῆρ, русск. *зверь*; др.-англ. *spæcan* "говорить", но др.-инд. *paśi-* "зверь"; др.-англ. *hropan* "кричать", но ирл. *gor* "зверь"¹².

Речь, слово всегда сопровождали обряд жертвоприношения [7], что нашло отражение в следующих семасиологических универсалиях: лтш. *bals* "голос", но индо-арийск. *bali* "жертвоприношение"; и.е. **zyer-* "издавать звуки", но хет. *suris* "жертвоприношение"; **ger-* "издавать звуки", но русск. *жертва* (ср. литов. *gerti* "хвалить"); лат. *loquere* "говорить", но др.-англ. *lās* "жертвоприношение"; др.-в.-нем. *kostan* "говорить", но др.-англ. *husl* "жертвоприношение"; и.е. **yed-* "говорить", но перс. *feda* "жертвоприношение" (ср. прусск. *swetan* "Вселенная"), англ. *talk* "говорить", но тох. *A talke* "жертва".

Укажем также соотношение значений "издавать звуки" — "святой" ср. др.-англ. *singan* "петь", но и.е. **sak-* "святой" (лат. *sacer*); гот. *stibna* "голос", но кельт. **toib-* "святой"; и.е. **kel-* "издавать звуки", но др.-англ. *hālig* "святой"; и.е. **yak-*, **yek-* "издавать звуки", но др.-англ. *wih* "святой"; и.е. **kyent-* "святой", но лтш. *skanēt* "звучать", *skapa* "звук".

Интересно, что слова со значением "святой" соотносятся со значением "бить": ср. *(s)*kend-* "рассекать", но **kyent-* "святой"; **kel-* "рассекать", но др.-англ. *hālig* "святой"; **sek-* "разрубать", но лат. *sacer* "святой"; др.-англ. *wig* "война", но др.-англ. *wih* "святой"; нем. *Krieg* "война", но др.-англ. *hearg* "храм"; хет. *huek* "kill", но *huek* "conjure".

Слово могло быть не только символом макромира, но и символом микромира-человека (мужчины и женщины, верхнего и нижнего миров, неба и земли)¹³: ср. **yer-* "издавать звуки", но лат. *vir* "мужчина", тох. *A kam* "звук", но лат. *homo* "человек, мужчина"; русск. диал. *манеть* "кричать", но англ. *man*, нем. *Mann* "мужчина"; англ. диал. *mal* "кричать", но англ. *male* "мужской"; **yab-*, **yeb-* "кричать", но нем. *Weib* "женщина" (ср. тох. *A wip* "мокрый"); **kens-* "громко говорить", но русск. *женщина*, др.-англ. *sāecgan* "говорить", но др.-англ. *secg* "мужчина, воин"; **yed-* "говорить", но др.-англ. *ides* "женщина"; англ. *word* "слово", но др.-сев. *vorð* "женщина". При этом слова со значением "издавать звуки" могут обозначать ориентацию в пространстве, в частности принимать значения "правый—левый" (resp. мужчина—женщина): ср. гот. *taihswa* "правый", но лтш. *teikt* "хвалить"; русск. *правый*, но чеш. *praviti* "рассказывать"; **reg-* "правый", но русск. *речь, река*; русск. *слово*, но русск. *левый*, лат. *laevus*; ирл. *clé* "левый", но и.е. **kel-* "говорить" (ср. хет. *gallu* "человек, мужчина"), норв. *ogv* "левый", но и.е. **yer-* "говорить". Интересно древне-английское (нортумбрийское) *būta* "женщина", которое можно соотносить с прусск. *bitai* "ночью, вечером" (борьба ночи и дня), швед. *byta* "менять, изменять" (постоянное перевоплощение миров), англ. *boat* "лодка" (миф о перемещении душ умерших в

¹² Ср. также др.-англ. *sneðan* "говорить", но хет. *huedar* "зверь".

¹³ И макромир, и микромир понимались как гармония, противопоставленная хаосу. Гармония, согласно древним представлениям, неизменно отождествлялась со связью, с соединением разрозненных частей, а хаос понимался как разъединение, расторжение целостности. В этой связи следует отметить, что человек отождествлялся с гармонией. Ср. и.е. **yer-* "связывать", (> "приводить в порядок, устанавливать гармонию"), но лат. *vir* "человек, мужчина", и.е. **yer-* "говорить"; греч. λυεῖν "говорить", но лат. *ligare* "связывать", осет. *laeg* "человек"; и.е. **bher-* "связывать", но и.е. **bher-* "говорить", алб. *burri* "человек"; и.е. **rek-* "говорить", и.е. **reig-*, **rek-* "связывать", но др.-англ. *rinc* "человек, мужчина"; и.е. **sek-* "связывать", но др.-англ. *sāecgan* "говорить", др.-англ. *secg* "человек, воин"; и.е. **mer-* "связывать", гот. *merjan* "вешать", но и.е. **merjo* "человек", др.-англ. *dream* "песня", но др.-инд. *dharma-* "гармония, порядок".

лодке), кельт. *byd* "Вселенная". Все эти слова можно соотносить с нем. *beten* "молить(ся)", *bieten* "просить" (ср. **bedh-* "огонь; гореть").

Интересно, что женские существа и "женские" явления природы, творящие жизнь на земле, обожествлялись и были предметом религиозного почитания. Так, понятие середины ("пуп земли"), которое считалось священным, нередко отождествлялось с женщиной — воспроизводительницей всего живого (как мы уже говорили, слова со значением "мужчина" — "женщина" одновременно могли соотноситься со значением "издавать звуки, говорить, молить, обращаться к божеству"): ср. и.-е. **sor-* "женщина" (и.-е. **syer-* "говорить, издавать звуки"), но русск. *середина*; др.-сев. *skorð* "женщина", но и.-е. **kerd-* "середина" (возможно, что эти последние слова являются вариантом **ser-*, *середина*, но с инфиксом *-k-*); др.-англ. *ides* "женщина" (ср. **yed-* "говорить"), но литов. *vidus* "середина"; тох. А *kuli* "женщина", но др.-англ. *healf* "половина, середина" (< **kel-* "говорить, издавать звуки"); польск. *kobieta* "женщина", но хет. *qabblu* "середина" + литов. *vidus* "середина" (ср. др.-англ. *ides* "женщина": ср. и.-е. **keb-* "издавать звуки" + **yed-* "издавать звуки"); др.-англ. *midd* "средний", литов. *medis* "дерево" (мировое древо, стоящее в середине мироздания), но нем. *Mädchen* "девушка". Женщина отождествлялась и с кругом — символом вечности и святости: ср. нем. *Mädchen* "девушка", но др.-инд. *mandala-* "круг"; англ. *girl* "девушка" (ср. **ker-* "издавать звуки"), но лат. *circulus* "круг"; др.-сев. *vorð* "женщина" (ср. англ. *word* "слово"), но др.-инд. *vartula-* "круглый"; тох. А *kuli* "женщина" (ср. **kel-* "издавать звуки"), но чеш. *kulaty* "круглый". Понятие женщины уравнивалось и небом: ср. валл. *wybr* "небо", но нем. *Weib* "женщина" (ср. **wab-*, **web-* "издавать звуки"); лат. *caelum* "небо", но тох. А *kuli* "женщина" (ср. **kel-* "издавать звуки"); литов. *debess* "небо", но исл. *dybbe* "женщина" (ср. гот. *stibna* "голос"); нем. *Himmel* "небо", но хет. *gin*, *geme* "женщина-рабыня" (ср. тох. А *kaṃ* "звук"). Значение "женщина" соотносилось и со значением "число": ср. и.-е. **sor-* "женщина", но хет. *sirais* "один"; арм. *eg* "женщина", но др.-инд. *ek* "один" (ср. **ag-* "говорить"); и.-е. **ken(d)-* "женщина", но тох. А *kaç* "число", лтш. *skaitis* "число" (ср. **kens* "громко произносить") [8].

Слова со значением "издавать звуки", принимающие значения "мужчина" и "женщина", могут использоваться и в значениях "внешний" и "внутренний" ("находящийся внутри мироздания" и "находящийся вне мироздания, в области хаоса"): ср. **rek-*, **reg-* "говорить", др.-англ. *rine* "человек, мужчина", но русск. *ча-руж-ный* (ср. блр. *ружа* "суша, земля"; др.-инд. *raditi* "издавать звуки", др.-сев. *snotr* "женщина", но русск. *в-нутрь*; и.-е. **yer-* "издавать звуки", **ats-* "мужчина, мужской", но лтш. *ar* "внешний"; **syen-* "звук; звучать"; англ. *swain* "парень", но русск. *вне, внешний*; др.-англ. *teorǵ* "penis" (ср. литов. *taryti* "говорить"), но др.-инд. *tar* "внешний, далекий" [9—11]¹⁴.

Слова со значением "говорить, издавать звуки" могут также принимать значение "рука": ср. русск. диал. *манеть* "кричать", но лат. *manus* "рука"; **rek-* "говорить", но русск. *рука* (литов. *rankà*); др.-англ. *spæcan* "говорить", но и.-е. **bhag-* "рука"; литов. *žadis* "слово", но англ. *hand* "рука"; гот. *merjan* "вещать", но и.-е. **mər-* "рука"; и.-е. **ker-* "издавать звуки", но греч. *χείρ* "рука".

Значение "слово" может соотноситься и со значением "меч" (ср. в Библии: "мечом ты рассекаешь тело, словом ты рассекаешь душу"): ср. англ. *word*, нем. *Wort* "слово", но нем. *Schwert* "меч"; и.-е. **yer-* "говорить", но греч. *ἄορ* "меч"; и.-э. **mek-* "издавать звуки", но др.-англ. *mece* "меч"¹⁵.

¹⁴Ср. еще: лтш. *wards* "слово", но англ. *-ward*, нем. *-wärts* "по направлению к" (ср. тох. А *wārt* "лес"); нем. *singen* "петь", но нем. диал. *-siech* "по направлению к"; лат. *sonus* "звук", но литов. *lonaš* "сторона"; русск. *стон*, но англ. *down* "вниз".

¹⁵Ср. еще др.-ирл. *audacht* "меч", но и.-е. **yak-* "издавать звуки"; англ. *spear* "копье", но литов. *taryti* "говорить".

значение "издавать звуки" может также переходить в значение "сильный, сила"; ср. др.-англ. *spæcan* "говорить", но лтш. *spēks* "сила"; и.-е. **yed-* "говорить", но др.-англ. *lwið* "сильный"; греч. *σθενος* "сильный", но и.-е. **stero-* "петь, издавать звуки"; и.-е. **bhel-* "издавать звуки", но др.-инд. *bala-* "сила"; др.-инд. *ajas* "сильный", но и.-е. **yak-* "издавать звуки".

Слова со значением "говорить, произносить звуки" тесно связаны со значением "судьба". Ведь произнести слово означало фактически повлиять на жизнь того или иного человека или предмета (последние считались одушевленными). Ср. в этой связи: лат. *fatum* "судьба", но и.-е. **bhā-t* "говорить"; русск. *речь, из-рекать*, но русск. *рок*; др.-англ. *myrd* "судьба", но англ. *word* "слово"; др.-англ. *spæcan* "говорить", но др.-англ. *faege* "обреченный"; лат. *sors* "судьба", но **syer-* "издавать звуки"; и.-е. **deik-* "говорить", но и.-е. **dhugh-* "судьба"; греч. *κῆρα* "судьба", но и.-е. **ker-* "издавать звуки"; греч. *μοῖρα* "судьба", но гот. *merjan* "вещать". В древности понятие судьбы отождествлялось с женскими божествами: ср. лат. *sors* "удел, судьба", но и.-е. **sor-* "женщина" (ср. **syer-* "говорить") ново-ирл. *adh* "судьба", но др.-англ. *ides* "женщина" (ср. **yed-* "говорить"); нем. *Schicksal* "судьба" (< **kek-*, **kik-*), но и.-е. **kik-* "prudendum"; ирл. *ag* "судьба", но арм. *eg* "женщина"; др.-англ. *myrd* "судьба", но др.-сев. *vorð* "женщина"; др.-инд. *bhagya-* "судьба", но др.-инд. *bhāg* "vulva" (ср. **bhag-* "издавать звуки"); др.-русс. *кобь* "судьба", но нем. *Kebse* "потаскуха".

В мифопоэтической традиции гриб символизирует небо, гром, молнию, ураган, фаллическую потенцию. Непосредственная связь грибов с небом, с божествами дает возможность понять соотношения значения "гриб" со значением "судьба (определяемая богами)". Вместе с тем все эти слова соотносятся со значением "издавать звуки": ср. русск. *жеребий*, но русск. *гриб* (< **ker-b* "издавать звуки"), ср. др.-англ. *hrif* "живот, внутренности" > "половые органы", прусск. *gerbian* "число" (символ гармонии во Вселенной); чеш. *houba* "гриб" (ср. и.-е. **keb-*, **kob-* "издавать звуки"), но др.-русс. *кобь* "судьба"; лат. *fungus* "гриб, лишайник" (ср. **deik-* "говорить"), но и.-е. **dhugh-* "судьба"; и.-е. **rek-* "говорить", др.-англ. *ragu* "гриб, лишайник", но русск. *рок* "судьба"; др.-в.-нем. *ustin* "гриб", но др.-сев. *verðr*, греч. *ἑορτή* "сакральная трапеза" (она призвана решить судьбу рода, урожая, охоты); серб.-хорв. *vargen* "гриб", но литов. *vargas* "беда, бедствие, бедность", прусск. *warg* "плохой" (> "судьба"), ср. **yerg-* "причинять боль", русск. диал. *пан* "гриб" (ср. арм. *ban* "слово"), но др.-в.-нем. *bano* "смерть" (> "судьба"), др.-англ. *benn* "рана", др.-инд. *rap* "смена, обмен" (перевоплощение в течение жизни и смерти); лат. *bōletus* "гриб", но гот. *dulps* "сакральная игра"¹⁶.

В целом ряде случаев слова со значением "говорить, издавать звуки" могут использоваться в значении "культовый акт, культовая игра, сакральная трапеза": ср. др.-англ. *ymbel* "религиозный праздник"; ср. русск. *шум* (и.-е. **sem-* "половина, середина", лат. *semen* "семя") + и.-е. **bhel-* "говорить, произносить звуки"; **pal-* "говорить, умолять, просить", но нем. *Spiel* "(культовая) игра" (ср. **pel-men*; русск. *племя, пламя*); др.-сев. *verðr* "культовое пиршество", но англ. *word* "слово", др.-англ. *bāerlic* "праздничный, относящийся к сакральному акту", авест. *hərəg* "религиозный обычай, ритуал", но **bher-* "говорить", лат. *loquere* "говорить", но др.-англ. *lās* "культовая игра"; русск. *игра*, но и.-е. **ger-*

¹⁶ Ср. с лат. *bōletus* и гот. *dulps* следующие литовские слова: *tilti, tylėti* "молчать" < "говорить" (букв. "потерять дар речи в процессе религиозного экстаза").

Поскольку слово было символом вечности, апологично, что соотносимое с ним понятие гриба могло коррелировать со значением "старый" (> "долгожитель") ср. греч. *μυκη* "гриб", но тох. А *tok* "старый" (ср. **tek-* "издавать звуки"); англ. *old*, нем. *alt* "старый", но арм. *ah* "грибок, плесень"; греч. *γέρων* "старый", но русск. *гриб* (**ger-b*); др.-в.-нем. *ustin* "гриб", но ново-ирл. *aosta* "старый". Ср. также иврит *gamal* "старый", но тох. А *kaṃ* "звук"; лат. *vetus* "старый", но и.-е. **yed-* "издавать звуки"; лат. *senex* "старый", но лат. *sonus* "звук"; др.-инд. *addha-* "старый", но англ. *word* "слово".

"издавать звуки", ср. др.-инд. *gir* "круговой (культовый) танец", лат. *ludus* "(культовая) игра", но нем. *Laut* "звук", русск. диал. *луд* "свет".

Как известно, волос был символом связи верхнего, среднего и нижнего миров, т.е. фактически символом универсума. К тому же понятие связи отождествлялось с понятием гармонии, порядка в отличие от хаоса. В этом плане становится вполне понятным соотношение значения "говорить, издавать звуки" со значением "волос". Ср. тох. *A kam* "звук", но греч. *κόμη* "волос"; др.-англ. *sweðan* "говорить", но кельт. **gait-*, греч. *χαίτη* "волосы"; кельт. *trigïō* "музыка", но греч. *θρίξ* "волосы"; греч. *λέγειν* "говорить", но серб.-хорв. *dlaka* "волосы" (**dlek-* > **lek-*), и.-е. **ger-* "говорить", но авест. *varesa-* "волосы"; и.-е. **ger-* "говорить", но литов. *gaurai* "волосы"; др.-англ. *spāecan* "говорить", но др.-англ. *fāh* "волосы"; тох. *A rape* "музыка", др.-англ. *hrōpan* "кричать", но др.-англ. *rūpe* "волос", тох. *A saku* "волос", но др.-англ. *sāecgan*.

II. Мифологема Вселенной

Aš norečiau prikelti vieną senelį
Iš kapų milženų,
Ir išgirsti nors vieną, bet gyvą, žodėlį
Iš senųjų laikų!

Maironis

Согласно древнеиндийской мифопоэтической традиции, Космос рождается к бытию и существует как день Брахмы, который длится четыре с лишним миллиарда лет, затем умирает и наступает ночь Брахмы, затем снова возрождается и так без конца. Закон природы — вечный ритм смены бытия и небытия. Когда умирает Вселенная, остается Единый Непостижимый Разум, или Принцип, который снова вызывает ее рождение и бытие. Началом новой космической жизни служит Логос — Божественная мысль, которая претворяется в слове (звуке) и свете. Создание Вселенной ассоциируется с возникновением божественной гармонии из хаоса, причем гармония идентифицируется с добром, а хаос — со злом. Ср. типичные противопоставления гармонии и хаоса: день — ночь, верх — низ, правый — левый, мужчина — женщина. Олицетворением гармонии являются Слово, небо, Вселенная, вода, огонь, дерево, человек, жизнь. Рассмотрим три модели Вселенной.

А. Одним из наиболее древних мифов о возникновении Вселенной является учение о четырех первоэлементах Бытия — воде, огне, воздухе и земле, которые люди издревле обожествляли и которым поклонялись. Первозданную природу четырех стихий язычники усматривали в том обстоятельстве, что воплощаясь во множестве качественно и количественно неодинаковых форм и обликов, сами они лишены какой-либо определенной формы и тождественны самим себе, вечны и неуничтожаемы, но способны как исцелить, так и погубить. Кроме того, в мире существуют и стихии, совершенно лишенные вещественности, — время, пространство, душа, разум. Между "исходными" первоэлементами Бытия происходит постоянное взаимодействие. Древнегреческий мыслитель Эмпедокл (V в. до н.э.) писал в этой связи: "Нет никакого рожденья, как нет и губительной смерти: есть смешение одно с разделением того, что смешалось". При этом "бестелесные" стихии неизменно соотносятся с первоэлементами бытия — земля соответствует времени, огонь — душе, воздух — разуму. В связи с этим интересны следующие сопоставления: лат. *aqua* "вода", но авест. *anghu-* "Вселенная"; др.-инд. *loka-* "Вселенная", но др.-сев. *logr*, др.-англ. *log* "вода"; др.-англ. *weorold* "Вселенная", но тох. *A war* "вода" + и.-е. **lei(n)dh-* "жидкий, мокрый" (ср. швед. *eld* "огонь"); др.-англ. *feorh* "Вселенная", но и.-е. **pelk-* "влага, жидкость". В связи с мифопоэтическим представлением о вечной смене космического дня и ночи интересны следующие соответствия

значений "Вселенная" и "молодой, новый": др.-англ. *molde* "Вселенная, мир", но русск. *молодой*; др.-инд. *jagat* "Вселенная", но гот. *juggs* "молодой" (букв. "омоложенный водой": ср. и.-е. **yeǵu-* "мокрый", ср. также индо-арийск. *jungha-* "волос" — основной Принцип организации Вселенной); гот. *fairhvus* "Вселенная", но др.-англ. *fersé* "новый, свежий"; лат. *mundus* "Вселенная", но и.-е. **smoidos* "новый, чистый"; др.-англ. *weorold* "Вселенная", но тох. *A wir* "новый" + *(*m*)*led-* > **led-*, русск. *молодой*.

Небо мыслилось как безбрежное море или река, по которому плывет солнце (ср. валл. *wybr* "небо", но лтш. *upē* "река"; русск. *река*, но ирл. *erc* "небо"; ирл. *spéir* "небо", но алб. *përrue* "ручей"; литов. *debess* "небо", но англ. диал. *dwb* "водоем"; др.-англ. *heofon* "небо", но др.-сев. *hāf* "море"). Путь в потусторонний мир обычно ассоциировался с переправой на лодке по течению реки (моря), впадающей в "Дверь земли", за которой находится царство душ умерших (ср. обряд захоронения в лодке у некоторых народов). Далее душа проходит через целый ряд особых дверей (ср. обряд омовения покойных). "Мировая река" — это рубеж между живыми и мертвыми. Ср. алб. *det* "море", но англ. *death* "смерть"; лат. *mare* "море", но лат. *mors* "смерть"; др.-англ. *wāel* "река, море", но литов. *velionės* "мертвец"; тох. *A tarp* "пруд", но нем. *sterben* "умирать". Небо представляло собой "верхний мир", наша земля — "средний мир", под которым находился "нижний мир", т.е. Преисподняя. Последняя представлялась в виде рва, углубления и отождествлялась с сосудом. Сосуд же был символом зла и "нечистой силы". Ср. лат. *urceus* "сосуд", но литов. *vargs* "плохой, злой"; и.-е. **aldjo-*, русск. *ладья*, но др.-англ. *adl* "зло, болезнь"; русск. *кадка*, но и.-е. **kad-* "зло"; нем. *Schale* "сосуд", но русск. *зло* (**kel-*); русск. *ведро* (ср. нем. диал. *Wädlen* тж.), но др.-англ. *widl* "зло".

Большое значение имеет миф о так называемом "мировом дереве" [12], т.е. дереве, которое, по поверьям язычников, якобы посредине мироздания и олицетворяет Вселенную. Корни этого дерева были символом "нижнего мира", ствол — "среднего мира", а крона — "верхнего мира". Ср. в этой связи: др.-англ. *wang* "Вселенная", но др.-инд. *vangaḥ* "дерево"; авест. *anghu-* "Вселенная", но и.-е. **ag-* "дуб"; гот. *fairhvus* "Вселенная", но и.-е. **perk-* "дуб"; русск. *мир*, но арм. *mair* "ель"; др.-сев. *selja* "ива", но литов. *pa-saulis* "Вселенная"; др.-англ. *weorold* "Вселенная", но авест. *varesa* "дерево", др.-англ. *swir* "столб" + др.-ирл. *slat*, валл. *llath* "столб" (языческое поклонение столбам).

Существовал также миф о так называемой "мировой горе", олицетворявшей Вселенную. Ср. в этой связи: гот. *fairgini* "гора", но гот. *fairhvus* "Вселенная"; др.-инд. *maru-*, алб. *mal* "гора", но русск. *мир*; тох. *A šul* "гора", но литов. *pa-saulis* "Вселенная" (ср. русск. *сила*, лат. *sollus* "весь, целиком"); др.-инд. *loka-* "Вселенная", но англ. *rock* "скала"; и.-е. **ak-* "камень, гора", но авест. *anghu-* "Вселенная". С другой стороны, слова со значением "гора" могут соотноситься со словами, обозначающими душу (гора как место пребывания душ): ср. тох. *A šul* "гора", но англ. *soul*, нем. *Seele* "душа"; гот. *fairgini* "гора", но др.-англ. *feorh* "душа"; др.-инд. *punga* "гора", но греч. *ψυχή* "душа"; валл. *bryn* "холм", но греч. *φρήν* "душа"; гот. *ahma* "душа", но **ak-* "камень, гора" + алб. *mal* "гора"; **ond-* "камень, гора", но др.-сев. *qnd* "дыхание, душа"; лат. *mons* "гора", но авест. *mainyu-* "дух"; русск. *гора*, но лтш. *gars* "душа".

Особое символическое значение имело понятие центра, середины, которое отождествлялись с макро- и микрокосмом: показательно, что мировое дерево и мировая гора расположены в середине мироздания. Все святые места (например, храмы) считались расположенными в центре Вселенной. Интересно в связи с этим соотношение значений "(мировое) дерево" и "середина": лат. *arbor* "дерево", но индо-арийск. *ardhā-* "середина"; др.-англ. *midd* "средний", но литов. *medis* "дерево"; ирл. *fid*, др.-англ. *widu* "лес, дерево", но литов. *vidus* "середина"; лтш. *pižis* "ель", но лтш. *pus* "половина, середина"; др.-англ. *ceart* "лес", и.-е. **ker-* "дерево", но русск. *середина*.

Слова со значением "дерево" могли принимать значение "вера, верить": ср. др.-англ. *ceart* "лес", ирл. *ceirt* "яблоневое дерево", но лтш. *ceret* "надеяться", лат. *credere* "верить"; и.-е. **ruk-* "ель", но тох. А *ruk-* "верить"; русск. *дерево*, но прусск. *druwit* "верить", *druwi* "вера"; алб. *verë* "дерево", лтш. *veris* "густой лес", но русск. *верить, вера* (ср. также тох. А *wärt* "лес"); и.-е. **leip-* "липа" (дерево), др.-ирл. *luib* "куст", но гот. *ga-laubjan* "верить" (ср. ирл. *sliab* "гора"); лат. *arbor* "дерево", но кельт. *(p)*arei* "верить" + **dher-* "дерево" (ср. литов. *dorà* "добродетель", *doras* "честный").

Слова со значением "Вселенная" могут соотноситься не только со значением "вода", но и со значением "огонь": ср. авест. *anghu-* "Вселенная", но русск. *огонь*; др.-инд. *loka-* "Вселенная", но др.-англ. *lieg* "огонь"; русск. *мир*, но и.-е. **mer-* "гореть". Интересно, что половой акт (он обычно отождествлялся с сакральным) уподоблялся трению двух деревянных щепок для получения огня: ср. лат. *lignum* "древесина", но греч. *λήκαω* "coire"; лат. *cinnus* < **kud-nos* "pudendum", но валл. *coeden* "дерево"; лтш. *kuòks* "дерево", но и.-е. **kūk-* "pudendum"; англ. *tree* "дерево", но др.-англ. *ðeors* "penis".

Б. Помимо гидроцентрической модели космоса (в центре Вселенной находится мировая река, в том числе и огненная), а также дендроцентрической (в центре Вселенной находится мировое дерево) и орологической (в центре Вселенной находится мировая гора) моделей, существовала и зооморфная модель Вселенной. В.В. Евсюков отмечает в этой связи: "Главное свойство земли, имевшее в глазах древнего человека первостепенное значение, — это плодородие. Неведомая чудесная сила, ежегодно производящая злаки и растения и дающая тем самым пропитание людям и зверям, не могла не вызвать в религиозном сознании почтительнейшего к себе отношения. Появление из мертвой почвы живых ростков казалось загадкой, тайной, чем-то сверхъестественным. Параллельно с обожествлением плодоносящей почвы формировался и культ животных, считавшихся ее воплощением и символом. Все качества земли в равной степени приписывались им. Так и получилось, что хтонические создания — лягушки, черепахи, змеи и им подобные — вопреки своей ничтожной роли в жизни человека в мифологии приобрели значение совершенно особое, если не сказать выдающееся... Люди наделяли их волей, разумом, душой, чувствами, ставили выше себя, приписывали им особое могущество и сверхъестественные свойства [13, с. 58]. Сама Вселенная мыслилась как огромный космический зверь. Ср. в этой связи: авест. *anghu-* "Вселенная", но др.-инд. *ahi*, лат. *anguis* "змея" (ср. гот. *ahi* "разум"); др.-инд. *loka-* "Вселенная", но нем. *Schlange* "змея"; русск. *змея*, но др.-сев. *heimr* "Вселенная"; чеш. *had* "змея" (ср. русск. *gad*), но авест. *gaēpu-* "Вселенная"; ср. также: прусск. *gerbin* "число" (Принцип организации Вселенной), но русск. *черепаха*; алб. *hardhjē* "ящерица", но русск. *середина*; литов. *varlė* "лягушка", но др.-англ. *weorold* "Вселенная"; русск. *лягушка*, но др.-инд. *loka-* "Вселенная" [14]. Многие слова, обозначающие земноводных, могут принимать значение "число": ср. прусск. *gerbin* "число", но алб. *gjërpe* "змея"; лтш. *skaitis* "число", тох. А *kaç* "число", но русск. *gad*, чеш. *had* "змея"; и.-е. **uks-* "шесть", но др.-англ. *use* "лягушка"; слова со значением "рыба" часто соотносились со значением "червь, змея": ср. и.-е. **gheslo-* "тысяча", но нем. диал. *Giesen* "рыба"; русск. *рыба*, но валл. *rhif* "число"; и.-е. **sem-* "один", но русск. *сом*; лтш. *tarps* "червь", но и.-е. **ter-* "три" [15].

Нередко земноводные предстают как творческое начало (прародитель Вселенной): ср. алб. *shapi* "ящерица", но нем. *schaffen* "творить"; перс. *machid* "змея" (ср. перс. *māhi* "рыба"), но англ. *make*, нем. *machen* "делать, творить"; др.-инд. *hari* "змея", но и.-е. **ker-* "делать, творить". Слова, обозначающие земноводных, могли соотноситься и со значением "музыка" (музыка, как и число, считалась всеобщим упорядочивающим Принципом Вселенной): ср. польск. *ropucha* "лягушка", но тох. А *rape* "музыка"; литов. *deržas* "змея", но кельт. *trigïō* "музыка".

Значение "змея" может также соотноситься со значением "волосы" (символ

сверхъестественной силы, а также символ связи, гармонии): ср. др.-англ. *maða* "червь", но лтш. *mats* "волосы"; чеш. *had* "змея", но кельт. **gait-* "волосы"; нем. *Raupe* "гусеница", но др.-англ. *ripe* "волос". Наконец, значение "земноводные" может соотноситься и со значением "время": ср. англ. *frog* "лягушка", но тох. *A preke* "время"; греч. *χέλυς* "черепаха", но др.-инд. *kala-* "время"; гот. *waurnts* "змея", но русск. *время* (**čer-men*). Значение "червь" ("змея") может соотноситься со значением "говорить". Ср.: и.-е. **bhel-* "говорить", но др.-инд. *bhulātá* "червь"; литов. *žadis*, но русск. *гад*, чеш. *had* "змея"; др.-англ. *maefelian* "говорить", но др.-англ. *maða* "червь"; и.-е. **ker-* "говорить", но др.-инд. *hira* "змея".

Показательно следующее сопоставление: и.-е. **dhaunos* "дикий зверь", лат. *faunus* "бог лесов и полей", лат. *fauna* "животные", но осет. *duné* "Вселенная". Учитывая древнее поверье о воплощении хлебного духа в образах животных, интересно сопоставить: и.-е. **dhaunos* "дикий зверь" и литов. *duona* "хлеб", др.-инд. *dhanah* "зерно"; ср. также русск. *заяц* (литов. *žaištis*, *žaidžiu* "прыгать"), др.-инд. *śacin* "заяц" (но также "луна") и др.-инд. *śasys* "зерно"; греч. *άρτος* "хлеб" (< **arkton*), но и.-е. **rks-* "медведь", ср. англ. *scrat* "дух"; русск. *злак*, но лтш. *lakis* "медведь", литов. *lokys* "медведь", др.-инд. *loka-* "Вселенная"; авест. *anghi-* "Вселенная", но русск. *ячмень* (< **iag-men*), ср. и.-е. **iag-* "поклоняться божеству"; и.-е. **adher-* [ср. лат. *ador*] "хлеб, зерно" представляет собой фактически **a-dher*, т.е. **dher-* "зверь" с отрицанием *a-* (из соображений табу); можно сопоставить также: нем. *Gerste* "ячмень", но и.-е. **gher-* "зверь"; др.-ирл. *bairen* "хлеб", но др.-инд. *mrga-* "животное"; русск. *пшеница*, *пшено* (**pek-*), но др.-инд. *raçi* "зверь" (< **pek-*); ср. также: англ. *barley* "ячмень", но нем. *Bär*, англ. *bear* + тох. *A lu* "зверь".

Рассмотрим символическое значение некоторых животных. Корова считалась небожителем, олицетворением неба и божества (подробнее об этом см. в моей работе [16, с. 153—168]). Лошадь олицетворяла сумерки хтонического мира, она считалась порождением ночи. Ср. в связи с этим: нем. *Hengst* "мерин", но хет. *henkan* "смерть"; нем. *Gaul* "лошадь", но прусск. *gallan* "смерть"; англ. *pag* "кобыла", но и.-е. **nek-* "смерть"; лат. *equus* "лошадь", но хет. *ek* "смерть"; швед. *häst* "лошадь", но тох. *A kasi* "голод" (> "смерть"); нем. *Stute* "кобыла", но нем. *Tod* "смерть"; англ. *mare* "кобыла", но и.-е. **mer-* "смерть". Кошка была символом колдовства и зла. Ср. др.-инд. *margara-* "кошка", но русск. *мерзкий*; и.-е. **kat-*, **kad-* "кошка", но и.-е. **kad-* "зло; злой"; лат. *felis* "кошка", но швед. *dålig* "плохой" (возможно, к тому же корню относится и лат. *felix* — дихотомия добра и зла). Согласно древним преданиям, перед тем как заниматься магией черти чистили свои рога, а ведьмы мылись и расчесывали волосы. Ср. в этой связи: лат. *felis* "кошка" < **kel-es* (ср. **kel-*, русск. *зло*) < **lek-es* (ср. англ. диал. *lash* "гребень"). Возможны и другие интерпретации этого латинского слова: *felis* < **tel/*ter* (ср. русск. *ступать*, лат. *sterilis*) + **-lei*, **-lau* (ср. лат. *lavare* "мыть"); с другой стороны, *felis* можно разлагать: **tek-* **tuak-* (ср. гот. *þwahan* "мать") + **lei-*, **lau-* (ср. лат. *lavare*). Лат. *margara* соотносится с **merg-* "мыть" (ср. лтш. *mazgioti* "мыть"). Наконец, **kad-* "кошка" соотносится с **(s)kand-* "бить, чистить, чесать" > **kamd-* > нем. *Kamm* "гребень". Ср. также греч. *καβαρός* "чистый" < **(s)kend-* "бить, чистить, чесать" (ср. тох. *A kati* "драгоценность") + **čer-* "чистый". Интересно принять во внимание и греч. (F)αἰλорός "дикая кошка" << **čel-* [ср. англ. *swill* "мыть, полоскать", а с другой стороны, русск. *волос*, ср. также тох. *A wāl* "смерть" (как символика кошки)] + **čer-* "чистый" [ср. др.-в.-нем. *urichen*, др.-англ. *eorcan-* "чистый", литов. *orūš* "благородный"; ср. также и.-е. **ar-* "огонь" (очищение огнем), тох. *A war* "вода" (как очистительное начало)]. Ср. еще: перс. *pušuk*, курд. *psik* "кошка" < **pe(s)k-*, но лат. *pecten* "гребень", др.-англ. *fah* "волос", а также лтш. *spēks* "(сверхъестественная) сила"; нем. *fegen* "чистить, мести".

В. Третьей космической моделью является антропоморфная модель Вселенной. Согласно этой модели, человек и космос — едины и в точности повторяют

друг друга. Вселенная мыслится как человек-великан. Человеческое тело — микрокосм, малая Вселенная в отличие от макрокосма, большой Вселенной. Ср. в этой связи: лат. *vir*, гот. *wair* "человек", но др.-англ. *weor(old)* "Вселенная"; лат. *homo* "человек", но др.-сев. *heimr* "Вселенная"; лат. *mons* "гора" (символ Вселенной), но англ. *man*, нем. *Mann* "человек"; тох. А *onk-* "человек", но авест. *anghu-* "Вселенная"; др.-англ. *feorh* "Вселенная", но др.-англ. *firos* "люди"; тох. А *arki-(cosi)* "Вселенная", но др.-англ. *fine* "человек"¹⁶. Ср. также тох. А *cosi* "люди", но греч. κοσ-μος "Вселенная"¹⁷.

Согласно антропоморфной модели космоса, ногам человека соответствуют корни "мирового дерева", туловищу и внутренним органам — ствол "мирового дерева", а голове — крона дерева. В священной книге древней Индии — Ведах — говорится о том, как боги принесли в жертву гигантского космического человека по имени Пуруша, рассекли тело и из его частей создали видимый мир. Из разума Пуруши появился месяц, из глаза — солнце, из рта — огонь, из дыхания — ветер, из пупа — воздух, голова образовала небо, уши превратились в стороны света, а ноги стали землей. В других древнеиндийских трактатах говорится, что человек состоит из пяти частей: голова — свет, отверстия — пространство, кровь, слюна и семя — вода, тело — земля, дыхание — воздух. Рассмотрим подробнее символическое значение отдельных частей человеческого тела.

Голова соотносится с небом — с творческим (ср. лат. *caput* "голова", но др.-англ. *scéapan* "творить"), активным мужским началом, а также выступает в качестве фаллического символа (в древности считалось, что средоточием мужского семени являются голова и легкие). Голова отождествляется с серединой — основным Принципом гармонии Вселенной — и со всем духовным в отличие от телесного, тленного, с местопребыванием души (голова — символ добрых и злых намерений человека: ср. лат. *caput* "голова", но хет. *kab* "левый, неблагоприятный"; русск. *голова*, но хет. *kal* "злой"). Голова символизирует могущество (в мифах встречаются многоголовые существа — боги, люди, змеи).

а) Голова как символ неба. Ср. др.-англ. *héafod* "голова", но др.-англ. *neafon* "небо", брит. *koabrenn* "облако". Голова, как и небо, предопределяет судьбу человека: ср. др.-русс. *кобь* "предзнаменование", англ. *happen* "тропа, по которой идет скот" (путь — это космос с его необъятностью и бесконечностью); и.-е. **ker-* "голова", но греч. κῆρα "судьба", др.-инд. *śala* "богиня судьбы". Далее следует сопоставить русск. *голова* и лат. *caelum* "небо".

б) Голова (синоним неба) как символ гармонии космоса: ср. лат. *caput* "голова", но хет. *qabblu* "середина", и.-е. **kab-* "соединять".

в) Голова как символ "мирового дерева". Ср. авест. *vagdāna-* "голова", но др.-инд. *vaganah* "дерево"; др.-англ. *wah* "шест, дерево" + др.-инд. *dhanah* "дерево".

г) Голова — символ святости. Ср. и.-е. **ker-* "голова", но арм. *surb* (< **ker-b*) "святой"; кельт. *cennd* "голова", но и.-е. **kyent-* "святой"; русск. *голова*, но др.-англ. *hālig* "святой"; лат. *caput* "голова", но др.-русс. *капъ* "идол, объект поклонения и святости".

¹⁶ Ср. также др.-инд. *goḥ* "дерево" (> "Вселенная"); блр. *ружа* "твердь земли".

¹⁷ Интересно, что в целом ряде случаев слова со значением "человек" соотносятся со значением "один, единица" (символ организующего Принципа Вселенной): ср. лтш. *kais* "один, сам по себе", но др.-англ. *haeleþ* "человек"; тох. А *onk* "человек", но др.-инд. *enḥ* "один"; греч. μόνος "один", но нем. *Mann* "человек, мужчина"; лат. *singulus* "один, одинокий", но др.-англ. *secg* "человек"; лат. *homo* "человек", но и.-е. **sem-* "один" (**kes-m* > **ksem-* > **kem-*, **sem-*), интересно греческое слово ἄνθρωπος "человек", которое состоит из **and-* < **oin-d-* "один" и корня, представленного др.-англ. *gipe* "волос" (символ гармонии и связи всех частей Вселенной) Следует обратить внимание на последний компонент греч. ἄνθρωπος "человек" — *-pos*, который можно сопоставить с лтш. *pus* "половина, середина" и с лат. *pubes* "народ".

Фрезер в этой связи писал: "Многие народы считают голову особо священной частью тела. Святость эта иногда связана с верой в то, что в голове обитает душа, которая весьма чувствительна к обидам и непочтительному отношению. ...Духу этому они приносят жертву обычно домашней птицей, а себе в лоб втирают ее кровь попеременно с пальмовым маслом... У камбоджийцев прикосновение к голове человека считается тяжким грехом" [17, с. 222—223]. В этой связи интересно соотношение между значениями "голова" и "запретить, мешать, не пускать, останавливать": ср. др.-англ. *hēafod*, лат. *caput* "голова", но лат. *pro-hib-ere* "запрещать"; кельт. *cennd* "голова", но осет. *gudur* "замок, запор"; русск. *голова*, но и.-е. **kelo* "останавливать"; и.-е. **uer-* "голова, вершина", но англ. *weir* "запруда"; и.-е. **ker-* "голова", но ср.-в.-нем. *schrank(e)* "забор; запор", *schrenken* "мешать, не позволять"; с и.-е. **ker-* следует также сопоставить англ. *curb* "останавливать, не пускать".

Как уже говорилось, голове приносили жертву (ср. бытующий у некоторых народов обычай крутить над головой жертвенное животное или предмет, приносимый в жертву): ср. и.-е. **ker-* "голова", но хет. *zur* "жертвоприношение"; лтш. *kauss* "череп" (ср. греч. κοσμος "Вселенная", серб.-хорв. *kiša* "дождь"), но др.-англ. *hust* "жертвоприношение"; кельт. *cennd* "голова", но **k'ed* "жертвоприношение"; англ. диал. *tip* "голова", но др.-англ. *tiber* "жертвоприношение".

Голова считалась местом скопления мужского семени: отсюда соотношение значений "голова — рожать — думать, понимать (имеется в виду высший божественный Разум)". Ср.: др.-инд. *dumañ* "половые органы", но русск. *думать* (ср. русск. *темя*, но тох. А *tām* "рожать"); русск. *мысль* (**moud-slo*), но и.-е. **moud-* "половые органы" (ср. с инфиксом: др.-англ. *molda* "верх головы", др.-инд. *murdhan-* "голова"); кельт. *cennd* "голова", но ирл. *cond* "разум"; англ. *think* "думать", но др.-инд. *tok-man* "мужское семя".

Ср. также следующие соответствия: хет. *hersan* "голова", но *harsis* "гармоничный, стройный, регулярный"; русск. *голова*, но валл. *gallu* "сила"; др.-инд. *śura* "сила", но **ker-* "голова", англ. диал. *tip* "голова", но литов. *stiprus* "сильный".

Глаз олицетворял солнце и луну [соответственно: свет, огонь, (божественную) силу, плодородие, знание]. Подобно луне и звездам, глаз может излучать не только добро, но и зло. Ср.: др.-англ. *ēage*, нем. *Auge* "глаз", но др.-сев. *ugg* "испуг, смятение", англ. *ugly* "отвратительный"; русск. *глаз* (**kel-*), но русск. *зло*; осет. *coest* "глаз", но тох. А *kast* "голод" > ("смерть"); валл. *llygad* "глаз", но литов. *ligotas* "больной"; греч. ὄψα "глаз", но нем. *Übel* "зло"; ирл. *fiocel* "глаз", но и.-е. **ueig-* "дефект, изъян"; ирл. *rosc* "глаз" < **pro-sc* < **sek-* (ср. англ. *sick*, нем. *siech* "больной", но с другой стороны, др.-англ. *sinc* "богатство", тох. А *suk* "счастье"). Ср. вместе с тем греч. οφθαλμος "глаз", но брит. *oabl* "небо" + индо-арийск. *dharma-* "гармония, порядок; религия" [возможно также членение: арм. *ogi* "дух" + др.-англ. *trum* "(божественная) сила"]. Показательно, что значение "смотреть, видеть" может соотноситься со значением "плохой": ср. и.-е. **spek-* "смотреть", но лат. *piger* "плохой"; лат. *videre* "смотреть", но др.-англ. *widl* "порок, изъян"; литов. *regėti* "смотреть", нем. *arg* "злой"; нем. *sehen* "видеть", но нем. *siech* "больной"; и.-е. **yed-*, **yeid-* "видеть", но хет. *udal* "больной, плохой" (**yeid-* + **el-* "больной, кривой"); греч. δέρκομαι "видеть", др.-инд. *dr̥c* "видеть", но ирл. *droch-*, брит. *drouk* "плохой".

Зубы символизируют Вселенную, небо, а также мудрость; кроме того, они могут иметь фаллическое значение. Согласно ирландской традиции, зуб служит символом песнопения и поэзии (ср. лат. *dens* "зуб", но лтш. *daina* "песня", др.-инд. *d̥hena* "речь, голос", греч. θοίνη "празднество; жертвоприношение"). Ср. лат. *dens* "зуб", но осет. *dune* "Вселенная", осет. *don* "вода" (первозлемент Вселенной), галльск. *dunum* "гора", др.-инд. *dhanuñ* "дерево" (символ Вселенной), др.-инд. *dundū* "гореть" (огонь — первозлемент Вселенной); ср. также фаллические значения: ирл. *din* "поколение", лтш. *tene* "живот", и.-е. **dhen-* "производить,

давать потомство"; ср. также лат. *studeō* "стремиться; изучать, думать"¹⁸. Тох. А *ankār* "зуб", "клык", но авест. *anghu-* "Вселенная" [хет. *an* "небо" + и.-е. **ker-* "верх" или **and-* "один" (макрокосм) + **ker(d)-* "середина"]. Ср. также: индо-арийск. *angahara* "жест, движение" (сакральное таинство); *angara* "горящий уголь". Русск. *зуб* < **kem(b)-*: ср. нем. *Himmel* "небо", хет. *šame* "небо", и.-е. **sem-* "один" (макрокосм, символ гармонии). К тому же корню относятся: русск. *знобить*, и.-е. **gen-* "рожать", нем. *kennen* "знать", литов. *žaibas* "молния" (относительно этого литовского слова ср. примеч. 11).

Слова со значением *рот* соотносятся со значением "рожать, порождать": ср. др.-англ. *mūð* (< **mund*) "рот", но и.-е. **moud-* "половые органы" (ср. лат. *mundus* "Вселенная"; русск. *рот*, но русск. *родить* (ср. др.-англ. *roðar* "небо"); греч. *στόμα* "рот", но тох. А *tām* "рожать" (ср. осет. *tāmdn* "вершина"); ирл. *gín*, валл. *geneu* "рот", но и.-е. **gen-* "рожать"; лат. *bocca* "рот", но др.-инд. *tok-man* "семья, потомство"; лат. *os, oris* "рот", но осет. *arun* "рожать"; ср. литов. *oras* "воздух"; осет. *kom* "рот" но алб. *gem* "армия" ("множество" > "потомство"), греч. *κάσση* "наложница" (< **kmt-*); литов. *burna*, арм. *beran* "рот", но гот. *bairan* "рожать" (ср. ирл. *spēir* "небо").

Легкие, как уже говорилось, считались древними средоточием мужского семени: ср. англ. *breathe* "дышать", но англ. *breed* "рожать"; др.-англ. *æðm* "дыхание", но и.-е. **moud-* "половые органы"; перс. *šiz* "легкое", но и.-е. **seu-* "рожать"; лат. *spirō* "дышать", но *pariō* "рожать"; нем. *Hauch* "дыхание", но и.-е. **kuk-* "rudendum"; русск. *дух, душа*, но др.-инд. *tok-man* "семья, потомство"; брит. *alan* "дыхание", но лат. *ale/e* "кормить, воспитывать" (ср. лат. *prōles* "ребенок, потомство"); лтш. *elpt* "дышать", но и.-е. **pel-* "рожать" (ср. **pel-men*: русск. *племя*), ср. также лат. *pulmen* "легкое"; русск. *легкое*, но греч. *λήκω*.

Тело человека олицетворяло мироздание, микрокосм: ср. лат. *corpus* "тело", но прусск. *gerbin* "число" (принцип организации Вселенной), др.-инд. *kṛp-* "дерево" (символ Вселенной); прусск. *kermens* "тело", но тох. А *ʃurt* "первопричина"; англ. *body* "тело", но валл. *bed*, брит. *byd* "Вселенная", др.-инд. *bodhi* "дерево" ("мировое дерево"); др.-инд. *dehaḥ* "тело", но литов. *dangūs* "небо"; русск. *тело*, но и.-е. **tel-* "музыка, гармония, порядок", др.-инд. *taruḥ* "дерево", ср. также лат. *stella* "звезда", нидерл. *telen* "рожать, создавать"; серб.-хорв. *тлѣ* "почва, земля"; нем. *Leib* "тело", но ирл. *slíab* "гора" ("мировая гора"), хет. *libbi* "середина, половина", и.-е. **lep-* "огонь"; греч. *σῶμα* "тело", но *sep-tm* "семь", др.-сев. *sefi* ("космический" разум", возможна также исходная форма **toib-men* "сторона, направление (середина в отличие от периферии, т.е. хаоса), и.-е. **toib-men* "чудо", следует принять во внимание также **tem-na-* (ср. тох. А *tām* "рожать") и **k'amos* "рыба" (фаллический символ, а также символ спасения); литов. *kūnas* "тело", *(s)*kend-* "вырезать, придавать форму", ср. укр. *на-цадох* "происхождение", валл. *synt* "первый, ранний"; др.-инд. *ṣarīra* "тело", но др.-инд. *karīra* "камыш" ("мировое дерево").

Нога символизирует землю, нижний мир: ср. лат. *crūs* "нога", но др.-англ. *hruse* "земля"; греч. *σκέλος* "нога", но лид. *qela* "земля"; и.-е. **ped-* "нога", но тох. А *pats* "земля", итал. *gamba* "нога" < лат. *gamba* "копыто", но русск. *земля*. Кроме того, нога имеет фаллическое значение: ср. **ped-* "нога", но нем. диал. *Fud* "vulva"; англ. *leg* "нога", но греч. *λήκω* "coire"; др.-инд. *ṣarāna-* "нога", но осет. *kuryn* "рожать"; нога может символизировать дерево: ср. и.-е. **nog-* "дерево", но русск. *нога* (ср. лат. *nox* "ночь", *nocere* "вредить" — нижний глennyй мир); брит. *gar* "нога", но прусск. *garian* "дерево", др.-англ. *sceanca* "нога", но лтш. *kuòks* "дерево".

¹⁸ С другой стороны, лат. *dens* можно возвести к **odens*. Эта последняя форма, видимо, состоит из двух корней, представленных следующими словами: болг., словацк. *ūd* "penis", др.-инд. *udu* "звезда", греч. *ὄδῃ* "песнь", и.-е. **ond-* "камень" (> "чудо": ср. англ. *wonder*) + лат. *ensis* "меч".

Современная техника этимологического анализа неизменно требует сочетания строгого формального сопоставления лексем с их концептуальным исследованием в рамках той или иной культурной парадигмы. Только такой комплексный анализ позволяет в достаточной мере оценить слово как целостное образование. В этой связи исключительную важность приобретают совместимость или несовместимость определенных фонетических и семантических закономерностей в рамках отдельного слова или нескольких различных слов, возможности наложения запретов на фонетические процессы в слове со стороны его семантики и возможности наложения запретов на семасиологические преобразования со стороны его фонетики. Речь идет о "поведении" определенных фонетических реалий и их сочетаний в определенной семантической среде и о "поведении" определенных семантических континуумов в той или иной фонетической среде, о возможностях доминантности или рецессивности фонетических или семантических закономерностей при соприкосновении друг с другом в пределах слова или между разными словами, а также о "реакциях" между этими языковыми уровнями [16]. Рассмотрение различных "картин мира", типичных для носителей наиболее ранних человеческих цивилизаций [18—19], открывает неисчерпаемые возможности для обнаружения древнейших когнитивных процессов, что в свою очередь позволяет установить семасиологические универсалии — законы соотношения, порядка следования и эволюции значений в индоевропейских языках. Рассмотрение же семасиологических универсалий дает возможность выявить сложную сеть метафорических связей и переходов, неодинаково преломляющихся в различных языках индоевропейской семьи. Как показывает исследованный материал, именно метафоризация является основной "пружиной", определяющей качественное и количественное своеобразие семасиологических закономерностей и выступающей вместе с тем в виде их главной "жизненной силы".

В настоящей работе была предпринята попытка исследовать две наиболее важные для языческого мира мифологемы, сквозь призму которых явственно проступают "скрытые" механизмы семасиологических преобразований. Исследование показало, в частности, многократные пересечения рассмотренных мифологем, что является подтверждением правомерности множественной этимологии, ныне широко используемой в лингвистической практике (ср. работы В.Н. Топорова).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Тайлер Э. Первобытная культура. М., 1939.
2. Engelbrecht J. I begyndelsen var ordet, ikke grammatiken // Essays om Babel. Århus, 1986.
3. Фрейденберг О.М. Миф и литература древности. М., 1974.
4. Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. М., 1972.
5. Освяненко-Куликовский Д.Н. Опыт изучения вакхических культов индоевропейской древности в связи с ролью экстаза на ранних ступенях развития общественности. Ч. I. Одесса, 1883.
6. Scherer A. Gestirnnamen bei den indogermanischen Völker. Heidelberg, 1953.
7. Neff W. Germanic sacrifice. An analytical study using linguistic, archaeological and literary data. Austin, 1980.
8. Quanter R. Das Weib in den Religionen der Völker, mit Berücksichtigung der einzelnen Kulte und Sitten. В., 1925.
9. Проскурин С.Г. Древнеанглийская пространственная лексика концептуализированных областей: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1990.
10. Проскурин С.Г. О значениях "правый — левый" в свете древнеанглийской культурной традиции // ВЯ. 1990. № 5.
11. Right and left // Ed. by Needham R. Chicago; London, 1973.
12. Проскурин С.Г. Мифопоэтический мотив "мирового дерева" в древнеанглийском языке и англосаксонской культуре (концептуальный анализ) // Логический анализ языка: Культурные концепты. М., 1991.

13. Евсюков В.В. Мифы о Вселенной. М., 1988.
14. Henderson J.L., Oakes M. The wisdom of the serpent. The myths of death, rebirth and resurrection. N.Y., 1963.
15. Степанов Ю.С. Счет, имена чисел, алфавитные знаки чисел в индоевропейских языках // ВЯ. 1989. № 4, 5.
16. Маковский М.М. Лингвистическая генетика. М., 1992.
17. Фрезер Дж. Золотая ветвь. М., 1983.
18. Цивьян Т.В. Лингвистические основы балканской модели мира. М., 1990.
19. Гамкрелидзе Т.В., Иванов Вяч. Вс. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Ч. 2, Тбилиси, 1984.

© 1992 г. Гиндин Л.А.

**ПРОСТРАНСТВЕННО-ХРОНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ИНДОЕВРОПЕЙСКОЙ ПРОБЛЕМЫ И "КАРТА ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ
ПРАРОДИН ШЕСТИ НОСТРАТИЧЕСКИХ ЯЗЫКОВ"
В.М. ИЛЛИЧ-СВИТЫЧА**

Данная карта найдена в черновиках В.М. Иллич-Свитыча и опубликована в посмертном издании его "Опыта сравнения ностратических языков" [1, с. 45]. На ней индоевропейская прародина, как и прародины других ностратических языков, схематично обозначена в виде правильно затушеванной окружности, которая покрывает приблизительно территорию Карпат, Балканы, Элладу, Западную и Центральную-Западную Анатолию, т.е. области, находящиеся в Восточном Средиземноморье или тяготеющие к нему в культурно-историческом отношении. Это чрезвычайно оригинальное и, как мы увидим ниже, далеко обогнавшее свое время пространственное построение ставит, по меньшей мере, один глобальный вопрос, оставленный В.М. Иллич-Свитычем без ответа: каковы хронологические рамки предложенной им ареальной конфигурации индоевропейской прародины? Попытаемся восстановить ход мысли ученого.

1. Очевидно, что на карте помещены прародины праязыков—потомков ностратических языков и что эта картина на несколько тысячелетий отстоит от эпохи ностратического единства, датируемого А.Б. Долгопольским VIII тыс. до н.э. и располагаемого им в Передней и Южной Азии [2, с. 113]; ср. мнения Е.А. Хелимского: "Этот период отделен от нас не одним десятком тысячелетий, его ареалом был Южный Прикаспий" [3, с. 37] и В.А. Дыбо и В.А. Терентьева, считающих, что, по данным глоттохронологии, возраст ностратической макросистемы определяется около 15 тыс. лет, а с культурно-исторической точки зрения — более 11 тыс. лет, при этом "наиболее вероятной остается цифра 11—12 тыс. лет до н.э." [4, с. 14]. Что касается хронологии, то к выводу последних авторов присоединяется С.Е. Яхонтов, однако вопреки распространенному среди приверженцев ностратической гипотезы мнению о "центрально-азиатской" локализации ностратического единства он категорически отмечает, что "наиболее вероятной прародиной ностратических языков являются леса Южного Урала и соседних регионов (Поволжья и Западной Сибири)" [5, с. 16].

2. С другой стороны, построение Иллич-Свитыча явно относится ко времени до II тыс. до н.э., так как он не мог не учитывать общепринятую датировку появления греков в Элладе не ранее 1900 г. до н.э. (рубеж раннеэлладского и среднеэлладского периодов), а лувийцев — на противоположной стороне Эгейского моря в Западной Анатолии около 2500 г. до н.э. (рубеж Трои I/II).

3. На более грубую датировку индоевропейской прародины в очерченном регионе определенно указывает наличие на юге Балканского п-ова догреческого индоевропейского населения с высокой культурой, заселявшего, за исключением Эпира и других районов Северной Греции, территорию Эллады с Эгейскими островами на протяжении всего раннеэлладского периода (3100—1900 гг. до н.э.) [6]. Все сказанное не могло быть неизвестно В.М. Иллич-Свитычу.

Дополню изложенное воспоминанием об одном моем разговоре с ним, состоявшемся в Кабинете этимологического словаря славянских языков Института

русского языка приблизительно в 1965—1966 гг. При обсуждении проблемы индоевропейской прародины в связи с моей готовящейся монографией по догреческому субстрату [6] и его уже опубликованной знаменитой статьей по поводу индоевропейско-семитских языковых контактов [7] он, глядя на стенную физическую карту Балканского п-ова и Малой Азии, сказал: "А почему бы не поместить индоевропейскую прародину на Балканах и в примыкающих районах западной части Анатолии?" По контексту разговора можно определенно судить, что в тот момент В.И. Иллич-Свитычем владела мысль найти пространственное обоснование индоевропейско-семитским и индоевропейско-картвельским языковым связям (ср. пассаж в его рецензии на книгу Дж. Девото "Происхождение индоевропейцев", где говорится, что "материал, касающийся связей индоевропейского с неиндоевропейскими языками юго-западной Азии, может быть в настоящее время существенно расширен с учетом прежде всего материалов семитских и картвельских языков" [8, с. 387]).

Продолжая в последующие годы осмысливать проблемы хронологической и пространственной проекции индоевропейской прародины в абсолютном исчислении, я непреднамеренно и базируясь на совершенно иных основаниях пришел во многом к идентичным результатам. Поскольку для определения протоэтнического ареала индоевропейцев необходимы экстралингвистические, хорошо датированные точки отсчета, то мною были избраны следующие моменты, находящиеся на пересечении междисциплинарных данных. 1) Практическая автохтонность эвентуально индоевропейской гидронимии на территории исторической Фракии (шире — юго-востоке Балкан) в совокупности с наблюдаемым археологами культурно-историческим континуитетом. 2) Существование довольно значительных фрако-лувийских топонимических связей, относящихся к преданатолийскому, европейскому периоду хетто-лувийцев; *terminus ante quem* — приход лувийцев в Трою II около 2500 г. до н.э. Четкая привязка фракийского компонента топонимического соответствия к территории Балкан позволяет постулировать протоареал лувийцев по соседству, на северо-востоке от фракийцев (специально см. [9, 10]). При этом следует учесть, что часть тождеств могла возникнуть в процессе движения лувийцев на северо-запад Анатолии (Троада и пр.) через территорию, занятую фракийцами, например, Езеро [11, с. 148 и сл.]. 3) Наличие в составе населения гомеровской Трои лувийцев, пережитком которых являются ликийцы Зелей, прослеживаемые по тексту "Илиады" [12]. 4) Диалектная расчлененность арийцев на индоариев и иранцев по крайней мере на рубеже IV—III тыс. до н.э., судя по уже анахронистическим индоарийским (не индоиранским) вкраплениям в хурритских и хеттских текстах XV—XIV вв., в то время как начало проникновения индоариев в Месопотамию и в сопредельные области к западу может датироваться по некоторым данным XVIII—XVII вв. до н.э. (подробно см. [13]).

Теперь попробуем представить в конкретных хронологических и географических параметрах динамическую картину периодов относительной стабилизации индоевропейской территориальной протоэтнической общности, чередующихся с периодами ее миграционного членения. Следует учитывать, что в акт консолидации этой общности в результате дивергентно-конвергентных процессов могли быть вовлечены, помимо собственно индоевропейского этнолингвистического ядра, этносы и языки отдаленно родственные, а также так называемые индоевропеоидные, возникшие под влиянием ареальных контактов.

В процессе становления исторически засвидетельствованных и.е. языков правомерно выделить, в известном приближении, три основных эпохи.

Первая — протоиндоевропейская, эпоха стабильного существования уже диалектно расчлененной индоевропейской общности, характеризующаяся территориальным единством составляющих ее этносов и длящаяся приблизительно с конца V тыс. вплоть до начала пространственной диффузии протоиндоевропейских этнолингвистических компонентов на рубеже IV—III тыс. до н.э. (конец

позднего халколита — начало фазы 26 раннебронзового века, согласно Дж. Мелларту [14]). На протяжении этой эпохи индоевропейский этнос следует расположить в пределах Балкан и примыкающих с северо-востока Причерноморских степях. При этом степные пространства обитания протоиндоевропейцев-скотоводов могли простирались до предгорий Кавказа.

Предлагаемые географические и хронологические параметры протозтнической общности индоевропейцев почти полностью совпадают с построениями Дж. Мэллори, поместившего протоиндоевропейский ареал периода 4500—2500 тыс. в причерноморско-прикаспийских степях (in the Pontic-Caspian [15, с. 196 и сл.]). К этому выводу он пришел, анализируя огромный археологический материал, с территории Юга России и Юго-Восточных Балкан, на фоне традиционных лингвистических построений, с учетом гипотезы Гимбутас об индоевропейцах как носителях курганной культуры [15, с. 186—221] (ниже об этом подробнее). Относительно "прародины" индоевропейцев на Балканах с примыкающими территориями Северного Причерноморья я уже высказывался неоднократно [9, с. 25; 16, с. 47 и сл.]. В указанном смысле весьма категорично мнение В.Ф. Лемана: "Очагом индоевропейцев в конце IV тыс. несомненно была Южная Россия" (разрядка моя. — Г.Л.) [17, с. 18]. В новой пространной работе, задуманной в "качестве рецензии на книгу Гамкрелидзе и Иванова" [18 (II), с. 21], Леман, критически рассмотрев изложенную в этой книге гипотезу о ближневосточной прародине индоевропейцев (у Лемана — в Малой Азии [18 (I), с. 23]) и принимая целиком возражения этой гипотезе со стороны И.М. Дьяконова, считает, что наиболее целесообразно "предположение о прародине ... охватывающей территорию от Карпат до области, лежащей к северу от Каспийского моря" в период "с V до III тыс. до н.э.". Более того, по мысли Лемана, такое предположение "позволяет объяснить наличие заимствований из семитского...", а также "дальнейшие контакты с картвелоязычным населением (с учетом более осторожной их интерпретации Дьяконовым)" [18 (I), с. 28]. Несколько ранее Дьяконов специально развернул сумму аргументов на "круглом столе" в поддержку гипотезы о прародине индоевропейцев строго в пределах Балкан (изложение см. [19, с. 222]; ср. его же высказывания о балкано-дунайском [20, с. 13] и о балкано-карпатском регионе в V—IV тыс. до н.э. [21 (I), с. 24]). Созвучные идеи недавно сформулировал О.Н. Трубачев, обосновывая "дунайско-северобалканскую концепцию индоевропейского протозтнического ареала" [21 (II)].

Согласно междисциплинарным исследованиям последнего времени, этот ареал, по всей вероятности, мог включать и область Троады периода Трои I (верхняя граница $\approx$ 3200/3000 гг. до н.э.), населенной протофракоидными племенами ([22; 15, с. 239 — особенно карта], ср. [23, 24]; некоторые нюансы ниже). Археологические данные последнего десятилетия позволяют предположить уже для первой половины IV — начала III тыс. до н.э. проникновение отдельных групп (ранних) протоиндоевропейцев на территорию Анатолии. В пользу такого предположения определенно высказался Дж. Мелларт [11, с. 135 и сл.], признавая возможность прихода хеттов в Восточную Анатолию около 2500 г. до н.э. или ранее (?) при опоре на работу Г. Штейнера [25], ср. также [26, 27].

Юг Балканского п-ова в это время был занят индоевропейским населением, этнически близким протофракийским племенным группам континентальных Балкан ([16, 28, 29 и др.], ср. [30, с. 281]; относительно прихода индоевропейского догреческого населения в Эгейду, на юг Балканского п-ова ср. [31, с. 121 и сл.] с синтезом различных суждений; ср. [32, с. 28 и сл.; 6]).

Таким образом, для описываемой эпохи вырисовывается определенный балкано-западноанатолийско-эгейский макроареал, которому на указанных хронологических срезах соответствует так называемая "контактная непрерывность" археологических культур и, соответственно, "единство системы взаимосвязанных материальных и духовных достижений" [23, с. 12 и сл.]. При всем этом данный

регион почти целиком динамически входит в недавно постулированную археологами Циркумпонтийскую зону ([23], ср. [33]), или провинцию [24], включающую, согласно Н.Я. Мерперту, территории вокруг Черного моря: Юго-Восточные Балканы, с прилегающими областями Карпат, степные районы Северного Причерноморья и Прикаспия, Кавказ, Анатолию, без центральных и юго-восточных районов [23, с. 28 и сл.]. Наиболее маркированным признаком Циркумпонтийской "культурно-исторической провинции", по мнению Е.Н. Черных, было единство "родственных металлургических и металлообрабатывающих очагов" [24, с. 22].

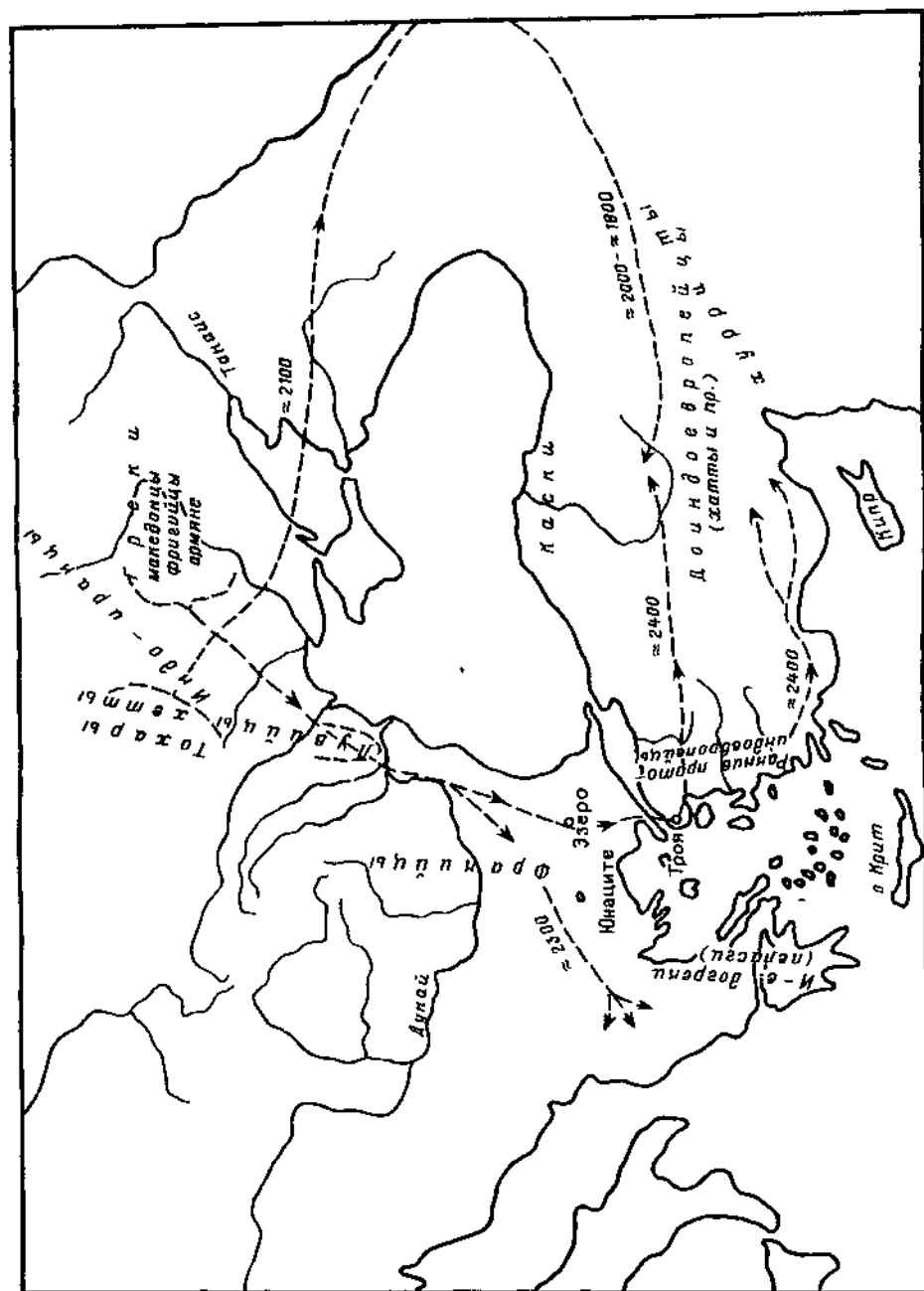
В свою очередь балкано-анатолийский ареал по обе стороны Мраморного моря являлся одновременно западной частью Циркумпонтийской макрозоны и восточной периферией Средиземноморья. Именно здесь, в этом регионе, где взаимно переплетались культурные изопрагмы, идущие с севера на юг и с запада на восток (соответственно наоборот), могла осуществиться культурно-историческая интеграция, приведшая в конечном счете к консолидации одного из очагов индоевропейской пракультуры и праязыка в результате хронологически разновременных дивергентно-конвергентных процессов (ср. [22]; о вероятности возникновения нескольких индоевропейских этнолингвистических протоареалов см. [24, с. 51]). Несомненно, эти процессы должны были затрагивать и диалекты языков разнородственных, например, догреческий индоевропейский и греческий, и совсем неродственных, например, хеттский и хаттский, и даже картвельский и семитский (о возможности контактов и.-е. языков на протоуровне с последними двумя см. [18 (I), с. 28]), оказавшихся в ареальных или субстратно-суперстратных отношениях, что и способствовало собственно языковому выравниванию и интеграции. (Ср. [23, с. 32] о процессе становления "конкретных групп индоевропейцев" со всем комплексом археологических и лингвистических показателей, связанных с контактной зоной "центрально-европейских, степных, балкано-дунайских, анатолийских культурных общностей".)

Распределение протоиндоевропейских этносов, имевших впоследствии прямое отношение к этому ареалу, см. на карте 1; на данной карте этнические обозначения европейской части условны и даны в исторической ретроспективе.

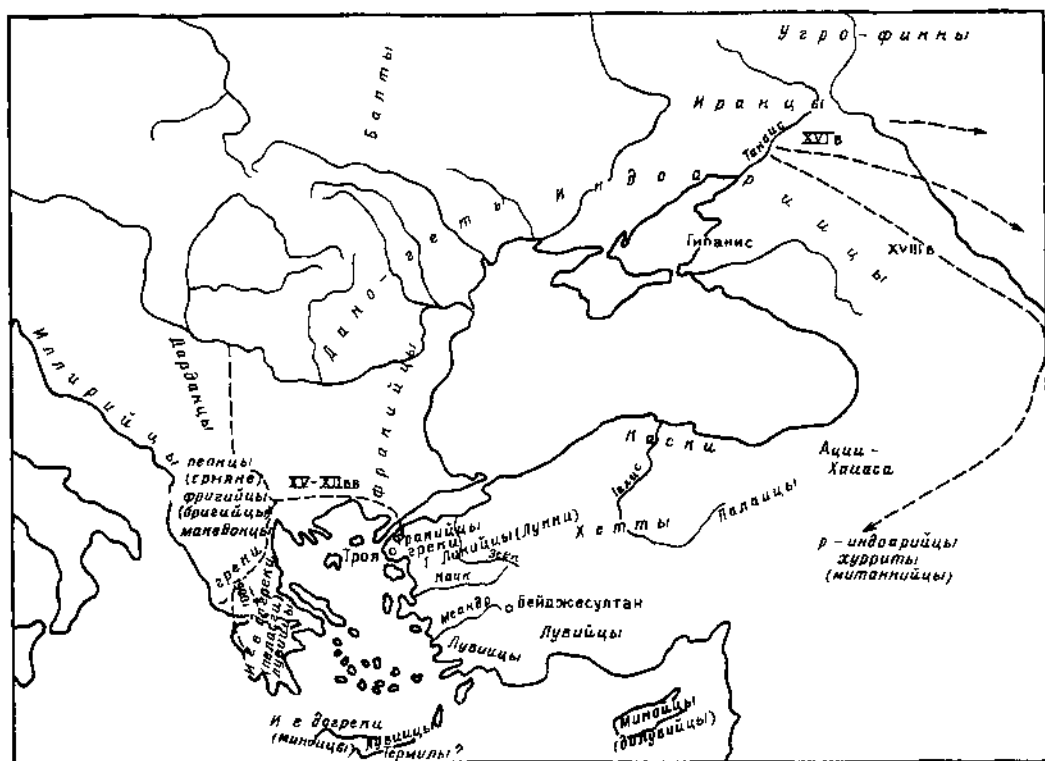
Вторая эпоха — прайндоевропейская, с начала III тыс. до рубежа III—II тыс. до н.э. (раннебронзовый век с начала фазы 2 до конца) — период распада индоевропейской этноязыковой общности и дальнейших последовательных миграций.

1. Первыми приходят в движение пралувийцы (собственно лувийцы, пракикийцы и пр.). Они распространяются по юго-восточной полосе Балкан, включая, вероятно, культуру Езеро [11, с. 149], на юг через проливы и Анатолию сначала в Троаду, разрушают Трою I (около 2500 г. до н.э.), населенную уже, видимо, прафракийцами, частично заселяют ее, а затем двигаются далее в юго-западные, южные и восточные области Анатолийского п-ова, неся повсеместно вплоть до Тарса и Киликии, включая долину Коньи, огромные разрушения, смену населения и культуру Трои II. Это еще более утверждает единство балкано-(западно)-анатолийского ареала, начавшего складываться, как уже говорилось, еще в протоиндоевропейскую эпоху. Проследовавшая через Трою основная масса лувийцев оставляет в Троаде племена пракикийцев-зелейцев (собств. "лукийцев"), киликийцев Киллы и Подилакийских Фив и лелегов Педаса в виде анахронистических для гомеровских поэм этнических вкраплений [12, с. 55 и сл.]. Какие-то группы лувийцев продвигаются по Кикладам и другим Эгейским островам в Центральную и Южную Грецию (ср. ликийцы-термилы Крита, догреческие карийцы греческой традиции в метрополии и т.д.), составив так называемый хетто-лувийский суперстрат (по отношению к догреческому индоевропейскому) и греческий адстрат [6, *passim* с литературой; 34].

2. Уход пралувийцев открывает дорогу одним или двумя веками позже для движения основной массы прагреков вместе с близко родственными на этом



Карта 1



Карта 2

уровне племенами прамакедонцев и прафригийцев и пеонцев (= протоармян) на юг Балканского п-ова — приблизительно территория Эпира и Древней Македонии, т.е. район современной северо-западной Греции и юг современной Югославии ([35, с. 19 и сл.; с 157 — корректурное дополнение; 36, с. 51 и сл.]; там же специально по поводу генетической близости древнемакедонского и фригийского языков в рамках протогреческого праязыка, вероятно, вплоть до особой индоевропейской ветви, о предполагаемом тождестве пеонцев, в том числе гомеровских, протоармянам см. [37; 38, с. 70 и сл.]). Направление движения этой "аугментной" греко-арийско-армянско-фригийской арсальной праиндоевропейской общности, видимо, географически фиксируется повторением гидронима "Аξίος — главная река области пеонов (район Дардано-Македонии и приток Истра в Нижней Мезии — совр. Добруджа), происходящего из и.-е. *q-ksej-no- (авест. *axšaena* "темный, черный", то же прилагательное в греческом названии Черного моря Εἰξείνος Πόντος — эвфемизм из старого "Αξείνος "черное"), причем главный приток Аксия носил название Ερίωυν (совр. *Црна река* "Черная река"), город при впадении Аксия в Истр — 'Αξι-όπα, болг. *Черна вода* (о пеонцах-протоармянах уже писал О.Н. Трубачев [21, с. 225—226]).

В свою очередь, на движение прагреков из Причерноморских степей, где названия трех самых больших рек: Τάναϊς — Дон, Δάναπρις — Днепр, Δάναστρις — Днестр образованы от и.-е. основы *don- (иран. [осет.] *don* "вода, река", ср. авест. *danu-* "река, поток", др.-инд. *danu* "сочащаяся жидкость", указывает, по мысли М. Сакеллариу [39, с. 172 и сл., с. 255 и сл.], распространение фактически по всей Греции, островам и Малой Азии элемента -δανος (в составе нескольких гидронимов) и гомеровский этноним Δάναοι с многочисленными

производными (к образованию этнонима ср. название скифского племени Δαυδάριοι, жившего на берегу Меотийского озера [40, с. 367]. Если это справедливо, то одна из упомянутых рек — совр. *Дон*, согласно Сакелларию, в своем среднем и нижнем течении может служить восточным рубежом распространения прагреков в данный период. Для нас здесь особенно важен гидроним Ἀλῖδαυος, засвидетельствованный в Фессалии и Трое, который хорошо толкуется в качестве древнего типа сложения как "река-вода" (к первому элементу ср. др.-прусс. *ape* "река", *aris* "источник" и проч.); Ἰάρδαυος также отмечен в Греции и Малой Азии (Лидия) [41, с. 7; 42 с. 30]. Какая-то часть прагреков стала одним из основных этнических компонентов строителей Трои VI (1800—1300 гг. до н.э.) [43, с. 174], пришедших, как мне представляется, в северо-западную Анатолию вслед за пралувийцами (около 2400 г.). Движение этой ветви прагреков произошло, видимо, сразу после ухода пралувийцев и до начала движения основного массива прагреческого этноса на Балканский п-ов. Согласно авторитетной гипотезе К. Блегена, обе части прагреков появляются на восточной и западной стороне Эгейского моря одновременно, неся технику "сероминийских" сосудов и использование ездовой лошади. Эти две ветви на протяжении всего последующего периода не прекращают связей между собой. Исходные земли, откуда двинулись греки, Бlegen явно склонен искать на Балканах (т.е. на юго-востоке Европы), полагая, что "дальнейшие исследования и раскопки на юге Балкан (in the lower Balkan) могут, однако, выявить новые свидетельства" [43, с. 145 и сл.]. Мелларт, в отличие от Блегена, до недавнего времени считал, что все греки вслед за лувийцами проследовали в северо-западную Анатолию и вытеснили лувийцев на Восток; последние, достигнув Бейджесултана (долина Меандра), уничтожают старую индоевропейскую цивилизацию и вводят новую культуру в Бейджесултане XII, внося "протосероминийскую" технику изготовления сосудов. Столкнувшись с встречным движением хеттов около 1900 г., распространявшихся из Прикаспийских степей через Кавказ, лувийцы начали откатываться в обратном направлении и вступили в новое соприкосновение с греками, населяющими Трою, которые переняли способ изготовления "сероминийской" посуды, зародившейся в Анатолии и в конце Трои V — начале Трои VI появившейся в Троаде. В Элладу греки уже пришли сушей и морем из северо-западной Анатолии ([32] и другие работы; критику см. [6, с. 20 и сл.]). В настоящее время Мелларт [11, с. 145] кардинально пересмотрел изложенную гипотезу. Отрицая датировку проникновения хеттов в Анатолию столь поздним временем (см. выше), он относит этот процесс к середине IV тыс. до н.э. Разрушения начала II тыс. до н.э. в Центральной Анатолии Мелларт связывает с движением некоей второй волны лувийцев с северо-запада Анатолии. Что же касается греков, то, по всей видимости, справедливо высказывание Дж. Каски: "В настоящий момент гипотеза К. Блегена о том, что народ той же самой культуры достиг Трои и греческого материка приблизительно одновременно, — более приемлема, чем любая другая" ([44, с. 437]; ср. [31, с. 122 и сл.]).

3. Перемещение прагреков и близких к ним генетически и ареально племен открывает путь хеттам (если придерживаться традиционной датировки их прихода в Анатолию), которые по Причерноморским степям и Кавказу, через Дербентский проход Прикаспия продвигаются в центральные районы Анатолии. После чего по всему Северному Причерноморью распространяются, вероятно, уже разделившиеся арийцы. Границу их с северо-востока обозначают общеарийские и порознь — индоарийские и иранские заимствования в угро-финских языках, располагавшихся в Волго-Окском междуречье и Прикамье, по крайней мере с IV—III тыс. до н.э. (суммарный перечень индоевропейских, в подавляющем числе индоиранских, заимствований в финно-угорских языках помещен в словаре Б. Коллиндера [45]; ср. исчерпывающее изложение А.И. Йоки [46]; более раннюю литературу по этому вопросу см. [1; 47, с. 154]; на диалектную классификацию арийских заимствований в угро-финских языках опирался В.И. Абаев в своей

инструктивной работе [48] по определению протоиндоиранского ареала в Юго-Восточной Европе).

Конкретное распределение праиндоевропейских этносов см. на карте 2.

Третья — историческая эпоха, с конца III — начала II тыс. по 1200 г до н.э. (с начала среднебронзового до конца позднебронзового века).

Лувийцы и хетты занимают все Анатолийское плато. Греки захватывают целиком Элладу с островами (Крит, Кипр, Киклады, Родос, Лемнос, Имброс и т.д.) и осуществляют процесс колонизации Западной Анатолии как в минойский, так и в микенский периоды (1450 г. — последняя четверть XIII в. до н.э.), отразившись в хеттских клинописных источниках под названием *Aḫḫijawā*. В русло этой колонизации укладывается и Троянская война [49, 50]. Фригийцы, мисийцы, вифинцы покидают свой праиндоевропейский ареал на юге Балкан и заселяют места исторического обитания в северо-западной части Малой Азии с последней трети II тыс. до эпохи "переселения народов" (XII в. до н.э.) включительно; после крушения Хеттского царства фригийцы расселяются по всей его территории (Великая Фригия); праармяне — в Хайасе (засвидетельствованы с начала XIV в. до н.э.). В западной Анатолии конституируются лувийцы [*Lu(w)ija*], хетты (*Hatti*), ликийцы (*Lukka*), карийцы (*Karkiša*), *Arzawa*, *Aššuwā* (греч. Ἀσία "Великая Лидия" — по Форреру), Троя (*Taruišša*), Илион (*Wiluša*). К сожалению, географическая реконструкция, произведенная по хеттским источникам с учетом данных греческой традиции, весьма приблизительна. Отдельные отряды индоариев, говоривших на каком-то раннеиндоарийском диалекте, засвидетельствованном в виде некоторого числа имен собственных, имен богов и двух десятков appellatивов в хурритских и хеттских текстах XV—XIV вв. до н.э., появляются в Междуречье в хурритском государстве Митанни; основная масса индоариев с середины II тыс. до н.э. или несколько раньше — в Пенджабе [13]. Все Северное Причерноморье безраздельно занято племенами иранской принадлежности с небольшими вкраплениями племенных реликтов индоариев, согласно П. Кречмеру ([51—53]; против с серьезными аргументами [54]) и О.Н. Трубачеву ([55, 56] и другие его работы).

Конкретное распределение исторических индоевропейских этносов см. на карте 3 (ср. карту 4).

*

Остается вопрос, каким образом согласовать изложенные выше идеи с гипотезой Т.В. Гамкрелидзе и Вяч.Вс. Иванова о "ближневосточной прародине индоевропейцев" [57]. На наш взгляд, суть дела заключена в подходе к проблеме хронологии, проработке деталей миграций отдельных индоевропейских племен и, в известной мере, в различии теоретических предпосылок. Авторы упомянутого труда в ряде своих работ неоднократно датировали существование "первичной" прародины индоевропейцев "в пределах Восточной Анатолии, Южного Кавказа и Северной Месопотамии" с V по IV тыс. до н.э. включительно [57, с. 895; 58, с. 11; 59, с. 23 и сл.]. Именно здесь, по их мысли, индоевропейцы могли одновременно контактировать с семитскими и картвельскими языками. Соответственно, начало распада "индоевропейского праязыка", проявившееся в выделении "анатолийской общности", отнесено ими "к периоду не позднее IV тыс. и возможно значительно ранее" [57, с. 861]. Затем, "не позднее III тыс. произошло вычленение греко-армяно-арийской диалектной общности" [57, с. 863] и далее — относительно других индоевропейских диалектов — по убывающей хронологической шкале (пути миграций, согласно гипотезе Гамкрелидзе — Иванова, см. [57, с. 956—957] — карта-схема "перемещений древних индоевропейских диалектов").

Имеющееся противоречие можно в известной мере преодолеть, если углубить датировку обособленного существования гомогенного состояния одного из основных компонентов и.е. праязыка на тысячу лет, т.е. до рубежа VII—VI тыс.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Иллич-Свитыч В.М. Опыт сравнения ностратических языков (семитокамнитский, картвельский, индоевропейский, уральский, дравидийский, алтайский). Введение. Сравнительный словарь (б — к). М., 1971.
2. Долгопольский А.Б. Какие языки родственны европейским? // Наука и человечество. М., 1972.
3. Хелимский Е.А. Брод через реку времени // Знание — сила. 1973. № 10.
4. Дыбо В.А., Терентьев В.А. Ностратическая макросемья и проблема ее временной локализации // Лингвистическая реконструкция и древнейшая история Востока: Тез. и докл. конф. Ч. 5: Проблемы изучения ностратической макросемьи языков. М., 1984.
5. Яхонтов С.Е. Прародина ностратических языков // Конференция. Славистика. Индоевропеистика. Ностратика. К 60-летию со дня рождения В.А. Дыбо: Тез. докл. М., 1991.
6. Гиндин Л.А. Язык древнейшего населения юга Балканского полуострова. М., 1967.
7. Иллич-Свитыч В.М. Древнейшие индоевропейско-семитские языковые контакты // Проблемы индоевропейского языкознания. М., 1964.
8. Иллич-Свитыч В.М. // Этимология. 1966. М., 1968. Реп. на кн.: Devoto G. Origini indeuropee.
9. Гиндин Л.А. Древнейшая ономастика Восточных Балкан (Фрако-хетто-лувийские и фрако-малоазийские изоглоссы). София, 1981.
10. Solla G.R. // Ktavyos. 1990. Bd 35. S. 113—124. Реп. на кн.: Гиндин Л.А. Древнейшая ономастика Восточных Балкан.
11. Mellaart J. Anatolia and the Indo-Europeans // JIES. 1981. 9. № 1—2.
12. Гиндин Л.А. Лувийцы в Трою (опыт лингвофилологического анализа) // ВЯ. 1990. № 1.
13. Гиндин Л.А. Некоторые ареальные характеристики хеттского. I // Этимология. 1970. М., 1972.
14. Mellaart J. Prehistory of Anatolia and its relations with the Balkans // Lethnogenèse des peuples balkaniques. Symposium international sur l'ethnogenèse des peuples balkaniques. Plovdiv, 23—28 avril 1969. Sofia, 1971.
15. Mallory J.P. In search of the Indo-Europeans. Language, archaeology and myth. L., 1989.
16. Гиндин Л.А. К проблеме генетической принадлежности "пеласского" догреческого слоя // ВЯ. 1971. № 1.
17. Леман В.П. Индоевропеистика сегодня // ВЯ. 1987. № 2.
18. Леман В.П. Новое в индоевропеистических исследованиях. I—II // ВЯ. 1991. № 4, 5.
19. Молчанов А.А. Симпозиум "Античная балканистика-5" // ВДИ. 1985. № 1.
20. Дьяконов И.М. О прародине носителей индоевропейских диалектов. I—II. // ВДИ. 1982. № 3, 4.
21. Трубачев О.Н. Этногенез славян и индоевропейская проблема // Terra antiqua balcanica. VI. Материалы V Международного конгресса по фракологии. Москва, 18—22 октября 1988 г. София, 1991.
22. Gindin L.A. Les Thraces en Anatolie. A propos d'un origines foyers de la langue et de la culture indo-européennes dans la Méditerranée de l'est et les données paléobalkaniques et anatoliennes // I Symposium illyro-thrace. Tribus paléobalkaniques entre la Mer Adriatique et la Mer Noire de l'énéolithique jusqu'à l'époque hellénistique. Niš — Blagoevgrad, 30 mai — 4 juin, 1989. Sarajevo; Beograd, 1991.
23. Мерперт Н.Я. Об этнокультурной ситуации IV—III тысячелетий до н.э. в Циркумпонтийской зоне // Древний Восток. Этнокультурные связи. М., 1988.
24. Черных Е.Н. Циркумпонтийская провинция и древнейшие индоевропейцы // Древний Восток. Этнокультурные связи. М., 1988.
25. Steiner G. The role of the Hittites in Ancient Anatolia // JIES. 1981. V. 9. № 1—2.
26. Winn Shan M.M. Burial evidence and the Kurgan culture in Eastern Anatolia c. 3000 B.C.: An interpretation // JIES. 1981. V. 9. № 1—2.
27. Jakar J. The Indo-Europeans and their impact on Anatolian culture // JIES. 1981. V. 9. N 1—2.
28. Sakellariou M.B. Peuples préhelléniques d'origine indo-européenne. Athènes, 1977.
29. Sakellariou M.B. Les Thraces par rapport aux Pélasges et à certains ethnè grecs // Actes du deuxième Symposium International de Thracologie. Roma, 1980.
30. Георгиев В.И. Исследования по сравнительно-историческому языкознанию. М., 1958.
31. Титов В.С. К изучению миграций бронзового века // Археология Старого и Нового Света. М., 1988.
32. Mellaart J. The end of the Early Bronze Age in Anatolia // American Journal of Archeology. 1958. V. 62. № 1.
33. Мерперт Н.Я. Этнокультурные изменения на Балканах на рубеже энеолита и раннего бронзового века // Античная балканистика. Симпозиум: Тез. докл. М., 1980.
34. Гиндин Л.А. Некоторые вопросы древнего балканского субстрата и адстрата // Вопросы этногенеза и этнической истории славян и восточных романцев. М., 1976.
35. Гиндин Л.А. К вопросу о статусе языка древних македонцев // Античная балканистика. М., 1987.
36. Гиндин Л.А., Цымбурский В.Л. Отражение индоевропейских лабиовелярных в древнемакедонском // ВЯ. 1991. № 2.

37. Гиндин Л.А. Из комментария к тексту "Илиады" (XXI, 139—213): *παῖνες* (=праармяне) — союзники троянцев // Балканские чтения. I: Симпозиум по структуре текста: Тезисы и материалы. М., 1990.
38. Gindin L.A. Keteioi (=Hittites) and Paiones (=Proto-Armenians) — allies of Troy // *Orpheus. Journal of Indo-European, Palaeo-Balkan and Thracian studies*. Milan, 1990.
39. Sakellariou M.B. Les proto-grecs. Athènes, 1980.
40. Абаев В.И. Историко-этимологический словарь осетинского языка. Т. I. М.; JL., 1958.
41. Georgiev V.I. Die altgriechischen Flussnamen. Sofia, 1958.
42. Tischler J. Kleinasiatische Hydronymie. Wiesbaden, 1977.
43. Blegen C.W. Troy and the Trojans. N.Y., 1963.
44. Caskey J.K. Crises in the Minoan-Mycenaean world // *Proc. of the American Philosophical Society*. 1969. V. 113. № 6. P. 437.
45. Collinder B. Fenno-Ugric Vocabulary. An etymological dictionary of the Uralic languages. Stockholm, 1955.
46. Joki A.J. Uralier und Indogermanen. Helsinki, 1973.
47. Гиндин Л.А. Некоторые ареальные характеристики хеттского. II (К балкано-хетто-лувийским изоглоссам в преданатолийский период) // *Этимология*. 1972. М., 1974.
48. Абаев В.И. К вопросу о прародине и древнейших миграциях индоиранских народов // *Древний Восток и античный мир*. М., 1972.
49. Гиндин Л.А. Ahhijawā и гомеровская эпическая традиция // *Linguistique balkanique*. 1990. XXXIII. 3—4.
50. Гиндин Л.А. Троянская война и Аххиява хеттских клинописных текстов // *ВДИ*. 1991. № 3.
51. Kretschmer P. Varuna und die Urgeschichte der Inder // *Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes*. 1933. XXXIII. 1—2.
52. Kretschmer P. Zum Ursprung des Gottes Indra // *Anzeiger der Akademie der Wissenschaften in Wien. Phil.-hist. Klasse*. 1927. № VII.
53. Kretschmer P. Weiteres zur Urgeschichte der Inder // *KZ*. 1928. 55.
54. Eilers W., Mayrhofer M. Namenkundliche Zeignisse der indischen Wanderung? Eine Nachprüfung // *Die Sprache*. 1960. VI. 2.
55. Трубачев О.Н. О синдах и их языке // *ВЯ*. 1976. № 4.
56. Трубачев О.Н. Лингвистическая периферия древнейшего славянства. Индоарийцы в Северном Причерноморье // *Славянское языкознание. VIII Международный съезд славистов: Докл. сов. делегации*. М., 1978.
57. Гамкрелидзе Т.В., Иванов Вяч.Вс. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и протокультуры. I—II. Тбилиси, 1984.
58. Гамкрелидзе Т.В., Иванов Вяч.Вс. Миграции племен — носителей индоевропейских диалектов — с первоначальной территории расселения на Ближнем Востоке в исторические места их обитания в Евразии // *ВДИ*. 1981. № 2.
59. Гамкрелидзе Т.В., Иванов Вяч.Вс. Древняя Передняя Азия и индоевропейская проблема. Временные и ареальные характеристики общиндоевропейского языка по лингвистическим и культурно-историческим данным // *ВДИ*. 1980. № 3.
60. Renfrew C. Archaeology and language. The puzzle of Indo-European origins. L., 1987.
61. Бирнбаум Х. Славянская прародина: новые гипотезы (с заметками по поводу происхождения индоевропейцев) // *ВЯ*. 1988. № 6.
62. Ольдерогге Д.А. Язык как исторический источник // *Эпиграфия. Избранные статьи*. М., 1983.
63. Трубецкой Н.С. Мысли об индоевропейской проблеме // *ВЯ*. 1958. № 1.
64. Forrer E. Neue Probleme zur Ursprung der indogermanischen Sprachen // *Mannus*. 1934. 26.
65. Uhlenbeck C.C. The Indogermanic mother language and mother tribes complex // *American anthropologist*. 1937. 39. № 3.
66. Горнунг Б.В. К вопросу об образовании индоевропейской языковой общности (Протоиндоевропейские компоненты или иноязычные субстраты). М., 1964.
67. Pisani V. Studi sulla preistoria delle lingue indoeuropee // *Memoria dell' Reale Accademia Nazionale dei Lincei*. 1933. Ser. VI. V. IV. Fasc. VI.
68. Pisani V. Linguistica generale e indoeuropea. VII: Paleontologia linguistica. Torino, 1946. P. 141—179.
69. Пизани В. Общее и индоевропейское языкознание // *Общее и индоевропейское языкознание*. М., 1956.
70. Пизани В. К индоевропейской проблеме // *ВЯ*. 1966. № 4.
71. Kretschmer P. Die vorgriechischen Sprach- und Volksschichten. II // *Glotta*. 1943. 30.
72. Kretschmer P. Die protoindogermanische Schicht // *Glotta*. 1925. 14. S. 32.
73. Sturtevant E.H. The Indo-Hittite laryngeals. Baltimore, 1942.
74. Sturtevant E.H. The pronoun *so, *sa, *tod and the Indo-Hittite hypothesis // *Language*. 1939. V. 15.

© 1992 г. УЛЬРИХ М.

ОБ ИМИТАЦИИ РЕЧИ
Bread-and-butter, bread-and-butter

Я не верю в предметы, я верю
только в их отношения.

Ж. Брак. Афоризмы

0.1. В знаменитой книге Л. Кэрролла "Алиса в зазеркалье" есть следующее место (гл. 5 "Wool and water"): «The White Queen only looked at her in a helpless, frightened sort of way, and kept repeating something in a whisper to herself that sounded like *"Bread-and-butter, bread-and-butter"*, and Alice felt that if there was to be any conversation at all, she must manage it herself¹».

В имеющихся переводах это место выглядит следующим образом: (нем.) Die Weiße Königin aber sah sie bloß hilflos und verängstigt an und gab dabei ein ständiges Gemurmel von sich, das so ähnlich klang wie *"Buttersemmel, Buttersemmel"*, so daß Alice sich sagen mußte, wenn überhaupt so etwas wie eine Unterhaltung zustande kommen sollte, müsse sie wohl selbst den Anfang machen"; (франц.) "La Reine Blanche ne fit rien que la regarder d'un air désespéré et apeuré, tout en répétant à voix basse quelque chose qui pouvait être: *"Tartine de beurre, tartine de beurre"*, et Alice comprit que s'il devait y avoir une conversation entre la Reine et elle, il lui faudrait en faire seule les frais"; (итал.) "La Regina Bianca si limitò a darle un'occhiata fra l'indifeso e lo spaventato, mentre continuava a ripetere fra sé in un bisbiglio qualcosa che suonava così: *"pane-e-burro, pane-e-burro"*, e Alice capì che se conversazione di qualunque genere ci doveva essere, era lei che la doveva favorire"; (исп.) "La Reina blanca parecía no poder responderle más que con una extraña expresión, como si se sintiera asustada y desamparada y repitiendo en voz baja algo que sonaba así como *"pan y mantequilla, pan y mantequilla..."*, de forma que Alicia decidió que si no empezaba ella a decir algo no lograría nunca entablar conversación".

Общим для всех этих переводов является то, что все они передают интересующие нас слова *Bread-and-butter*, опираясь на то, что они обозначают в исходном языке, т.е. "хлеб и масло". Разумеется, франц. *tartine de beurre*, исп. *pan y mantequilla*, итал. *pane-e-burro* и т.д. являются верными соответствиями (в том, что касается внеязыковой референции); нет сомнения в том, что существуют такие контексты, в которых англ. *bread and butter* может и должно быть переведено именно подобным образом (например, в меню); наше же сомнение

¹ В русском переводе:

"Белая Королева только взглянула на нее испуганно и растерянно и тихонько что-то пробормотала. Похоже было, что она твердит:

— Бутерброд! Бутерброд!

Впрочем, разобрать слова было невозможно. Одно было ясно: если ей хочется побеседовать с Королевой, начинать придется самой" (пер. Н.М. Демуровой).

касается того, соответствуют ли эти переводы особой, специфической текстовой функции, которой наделены эти слова в оригинале.

0.2. Какова же эта текстовая функция? Мы полагаем, что в оригинале речь идет о функции "имитация бормотания", английские же слова *bread-and-butter*, *bread-and-butter* представляют собой лишь инструмент, языковое средство выполнения этой функции. Исходя из этого предположения, задача переводчика должна заключаться не в том, чтобы определить, как могут быть переведены слова *bread-and-butter* как чисто английское выражение на испанский, французский или другие языки, а в том, чтобы опознать, какую функцию выполняют эти слова в тексте. Если и в самом деле речь идет об имитации бормотания, то переводчик должен задаться вопросом, имеется ли в языке, на который осуществляется перевод, традиция имитации неразборчивой речи, бормотания, и если да, то следует — при условии, если контекст допускает это, — воспользоваться этой "формулой" как функциональным эквивалентом; если же нет, то задача переводчика заключается в том, чтобы "воссоздать" эту функцию средствами языка перевода.

1.0. Попробуем более детально обосновать наше предположение, что английские слова *bread-and-butter* в тексте Л. Кэрролла представляют собой имитацию невнятной, возможно, даже бессвязной речи.

1.1.0. Как известно, существуют различные — в соответствии с различными целями — виды имитации речи. Наиболее известный случай — имитация какого-либо конкретного языка. У немецких детей, например, есть короткие стихотворения и песенки, которые "звучат" вполне по-немецки, но ничего не значат и не обладают каким-либо "разумным смыслом". Кроме того, есть имитация определенных текстов и видов текстов (например, имитация пословиц, имитация речевой манеры какого-либо автора и т.п.).

Но можно имитировать и речь вообще, речь, относительно которой есть основания полагать, — как и для всякой речи, — что она что-то обозначает и наделена некоторым смыслом, но остается непонятной для слушающего. В цитированном отрывке из Л. Кэрролла Алиса слышит, как Белая Королева бормочет что-то, похожее на *bread-and-butter*, однако она не уверена, что расслышала правильно. Ей кажется, что она слышит что-то вроде *bread-and-butter*, т.е. она пытается приписать услышанному некоторое содержание, и притом такое содержание, которое соответствует знаниям и ожиданиям ребенка в ее возрасте, т.е. то, что может найти место в мире ребенка. Однако смысл этих слов остается для нее, как и для читателя, скрытым. Белая Королева что-то пробормотала, и Алиса предполагает, что она что-то сказала по-английски, однако однозначно идентифицировать высказывание не может.

Здесь скорее всего мы имеем дело с имитацией речевой деятельности вообще, а не с высказыванием на каком-либо конкретном языке. Иными словами, необходимо строго различать средства, инструмент имитации, который вполне может быть элементом конкретного языка, обладающим в этом языке определенным значением (как англ. *bread-and-butter*), и функцию в тексте — "невнятное бормотание".

1.1.1. Естественно, не всякую речь, не обладающую — по крайней мере, для нас — значением и смыслом, можно квалифицировать как бормотание. Что же позволяет утверждать, что в данном случае мы имеем дело с имитацией бормотания?

1.1.2. Помочь может сравнение с имитацией речи в других языках. Существуют ли в других языковых коллективах традиции имитации речи вообще?

В немецкоязычной среде известны — можно сказать даже общеизвестны — две формулы, используемые в театре для имитации бормотания, т.е. неразборчивой

речи. Такими средствами являются слова *Rhabarber*² и *Barbara*; группы актеров на сцене повторяют их (*Rhabarber, Rhabarber, Rhabarber...*)³, чтобы создать у слушателей впечатление разговора.

Итальянцам также известно слово *Rabarbaro* в сценической практике, хотя оно, похоже, распространено не так широко, как в немецких театрах⁴. Оно употребляется в итальянском и по сей день также для обозначения бесполезной, пустой болтовни. Например, летом 1987 г. в Италии прошла премьера оперы под названием "*Rabarbaro, rabarbaro*", что обозначало пустые разговоры (итал. *chiachiere*)⁵.

Англичане также используют формулу *Rhubarb, rhubarb...*, как в театральной практике, так и в повседневной речи, когда требуется обозначить бессмысленное говорение, болтовню. В отличие от немецких и итальянских словарей английские словари фиксируют оба употребления слова⁶.

Наконец, в румынских театрах используют формулу *Barbă rară, barbă rară ...*, букв. "светлая борода"⁷.

² Относительно возникновения этой формулы рассказывают следующую историю. Какой-то режиссер во время репетиции потребовал, чтобы актеры говорили на сцене нечто, воспринимаемое как неразборчивая речь; актеры же поинтересовались, что же они должны "бормотать". Одновременно режиссер попросил у служащего театра ревеня (*Rhabarber*), т.е. слабительное, актеры же поняли эти слова как указание относительно того, что следует произносить. Этот анекдот симптоматичен, поскольку показывает, что использование слова *Rhabarber* в этой функции не имело очевидного объяснения. Была сделана попытка придать этому употреблению содержательную мотивацию; при этом не знали, что дело вовсе не в значении слова, а в его звуковых свойствах (см. ниже). Заметим, что эти же слова верующие и церковные служки бормочут, когда, перебирая четки, они забывают тексты молитв.

³ Употребление этой формулы в немецких театрах было подтверждено в нескольких группах Мюнхена и Штутгарта. Исключение составили сотрудники литчасти наиболее престижного штутгартского театра, которые утверждали, что им не приходилось встречаться с подобной практикой в театре, во всяком случае в их труппе "актеры получают серьезные тексты для того, чтобы изображать бормотание". Впрочем, *Barbara* и *Rhabarber* годятся на сцене скорее для того, чтобы имитировать энергичную речь. В зависимости от целей имитации используются также другие слова и выражения, а также целые тексты. Для изображения беседы заговорщиков подходят скорее слова с шипящими звуками, чем энергичное *Rhabarber* (сообщение режиссера проф. Д.Эрига из Мюнхена).

⁴ Им пользуются прежде всего в театрах, где играют дети (сообщение сотрудницы театра Гарибальди в Турине, январь 1988 г.). Чаще всего актерам предлагают говорить о чем-нибудь, о своих личных делах, разумеется, достаточно тихо.

⁵ Сообщение проф. А. Маринетти (университет Бари, декабрь 1987 г.).

⁶ См., например, словарь Коллинза ([1], s.v. *rhubarb*): "the noise made by actors to simulate conversation, esp. by repeating the word *rhubarb* at random". См. также [2]: "Film actors pretending to be a noisy crowd may say *rhubarb, rhubarb, rhubarb*". Слово употребляется также, "when the meaning of the words is not important". Во франко-английском и англо-французском словаре [3] при слове *rhubarb* находим пояснение: (theat.) "*brouhaha* (mot employé pour constituer un murmure de fond)".

⁷ Похоже, что у французов не существует подобной традиции имитации речи вообще. Согласно справке, полученной мной в январе 1988 г. в нескольких парижских театрах (Théâtre Renaud-Barrault, Odéon-Comédie-Française, Montparnasse, Marigny, Comédie des Champs-Élysées) там не пользуются подобными формулами и не знают об их существовании. Актеры получают тексты, составленные в соответствии с функцией и целью той невидимой речи, которую надо изображать.

Испанских традиций такого рода нам также не удалось обнаружить. Режиссер А. Антон-Пачего (известная в Испании прежде всего своими постановками Шекспира) сказала в декабре 1987 г. в Леоне, что она в этих случаях дает актерам "осмысленные" тексты, вроде: "один, два, три, четыре...". Другие импровизируют или произносят "м-м-м" с закрытым ртом. Для изображения "заговора" используют слово со свистящими, например, *Serpientes, serpientes...* "змея". Об этом свидетельствуют справки, полученные в нескольких театрах Мадрида (Teatro Lirico Nacional La Zarzuela, Teatro Nacional Maria Gurrero, Compañía Nacional de Teatro Clásico) в январе 1988 г. (Подобное существует и в румынских театрах, где для "заговора" используют формулу *dase-dapte, dase-dapte...* "шесть-семь"). В словаре театральной терминологии [4] нет указаний на слова с подобной функцией. Исп. *camelo, camelo...*, *furcio, furcio...* (ср. англ. *fluff*) используются тогда, когда актер забыл текст и просто "говорит" что-либо, сигнализируя одновременно своему партнеру, что попал в затруднительное положение и что партнер должен говорить дальше. Р. Портильо, с которым мы также беседовали в декабре 1987 г. в Леоне, не мог ничего добавить к уже известному, сам он ничего не знал о формуле *rhubarb* в английском театре.

1.1.3. Что объединяет все эти формулы (нем. *Rhabarber, Barbara*, англ. *rhubarb*, итал. *rabarbaro*, рум. *barba rara*)? Сразу бросается в глаза, что эти выражения обладают похожим, в значительной степени тождественным звуковым "обликом", для которого в большинстве случаев характерно повторение последовательности *b-r* (билабиальный смычный — вибрант: *bar resp. bar-bar*).

1.2.0. Каким образом связать англ. *bread-and-butter, bread-and-butter* ... с такой практикой имитации речи?

В наше время употребление этих слов в функции "имитации речи" (или "пустой болтовни") не известно⁸. Во фразеологических словарях нет сведений, которые могли бы указывать на такое употребление⁹.

Здесь не может быть речи о скороговорке типа исп. *tres tristes tigres*, поскольку контекст не допускает подобной функции (Белая Королева слишком ошеломлена, чтобы упражняться в скороговорках). Литературоведам известно это место из книги Кэрролла, однако в соответствующих публикациях нет ни малейшей ясности относительно текстовой функции ("смысла") выражения *bread-and-butter*. Специалисты склоняются к тому, чтобы рассматривать его как неразрешимую загадку, и задаются вопросом, что бы мог Л. Кэрролл подразумевать при этом¹⁰.

1.2.1. По нашему мнению, решить загадку можно, если исходить из предположения, что функцией обсуждаемого выражения в тексте является "имитация (невнятного) бормотания"; при этом следует иметь в виду, что это выражение, с одной стороны, обладает определенной звуковой структурой (звуковая последовательность *b-r* и ее повторение, т.е. в принципе не иначе, как в *rhubarb, rhubarb...*), а с другой стороны, состоит из английских слов, которые сами по себе означают "хлеб и масло". Другими словами, вопрос необходимо разделить на два: 1) почему указанная звуковая структура обладает очевидным сходством с традиционными формулами типа *Rhabarber, Barbara* и 2) почему оно состоит именно из английских слов, означающих "хлеб и масло"? Второй вопрос сам по себе решить относительно просто: эти слова и их значения соответствуют представлениям английского ребенка, т.е. тому, что английский ребенок может услышать в неразборчивом бормотании. Но это никак не помогает ответу на первый вопрос и поэтому ничего не проясняет относительно функции выражения в тексте. Ведь эта функция определяется не наличием английских слов с определенным значением (даже Алиса не уверена в том, что Белая Королева действительно говорит о хлебе и масле!), а тем, что эти английские слова наделены определенной звуковой структурой. Это значит: в данном случае (на уровне текста) не звуковая структура служит "выражением" определенного языкового содержания, а, напротив, эти английские слова благодаря своим звуковым качествам (и в принципе независимо от их конкретного значения) служат элементами, из которых строится определенная звуковая структура, которая становится тем самым "выражением" определенной текстовой функции ("имитация невнятного бормотания").

1.2.2. Что же побудило Л. Кэрролла выбрать именно эту звуковую структуру? Возможны два ответа на этот вопрос. Либо Л. Кэрролл совершенно случайно использовал слова *bread-and-butter*, имея в виду не звуковые свойства слов, а лишь представления ребенка (что, однако, маловероятно, потому что в этом

⁸ Согласно уверенному свидетельству работающих в Тюбингенском университете магистра К. Гепперг-Жоли, д-ра Э. Латти и д-ра К. Буна.

⁹ Слово сочетания типа *bread-and-butter letter* "письмо с благодарностью за гостеприимство", *bread-and-butter miss* "юная девушка, девочка", *bread-and-butter problems/issues/education* "существенные, важные, основные, насущные, повседневные проблемы, дела и т.п.", в которых *bread-and-butter* употребляется в атрибутивной позиции (!), явно никак не соотносятся с этой текстовой функцией (см. [5, 2, 6]).

¹⁰ В известной книге М. Гарднера [7] также нет решения этой загадки. В книге Р.Д. Сазерленда [8], примечательной во многих отношениях, ничего не говорится об этом месте.

случае функция "имитация невнятной речи" оказалась бы выполненной ненамеренно), либо он выбрал эти слова намеренно. В этом случае можно опять-таки предположить две возможности: либо Л. Кэрролл воспользовался существовавшей в Англии в XIX в. традицией имитации, либо он сам подобрал эти слова для имитации бормотания, опираясь, с одной стороны, на свойственную нескольким языкам (*Übereinsprachliche*) традицию имитации такого рода и, с другой стороны — на представления ребенка, в чьем мире "бутерброд" занимает немаловажное место. По нашему мнению, верно скорее всего второе, тем более что употребление слов *bread-and-butter* в этой функции не зафиксировано (ничего подобного нам обнаружить не удалось)¹¹.

Следовательно, необходимо рассмотреть эту свойственную нескольким языковым общностям традицию. Для этого нужно прежде всего попытаться отыскать истоки формулы *Rhabarber*.

2.1.0. Нам удалось установить, что в трех языковых общностях Западной Европы (немецкой, английской и итальянской) в театре используют слово *Rhabarber* (англ. *rhubarb*, итал. *rabarbaro*) в качестве формулы, имитирующей невнятное бормотание. Возникли ли эти формулы в каждой общности независимо или же следует предположить, что одна из этих языковых общностей была центром, из которого формула распространилась и на другие общности? Если имело место второе — к чему мы склоняемся, — то какая из указанных общностей была центром? Наше первоначальное предположение, что формула с такой функцией возникла сначала в Англии (в пьесах Шекспира) и распространилась на юг Европы через Германию до Италии, опровергается тем фактом, что у Шекспира это слово встречается только в значении "слабительное", но не как имитационная формула¹². Поэтому более вероятно предположение, что формула распространялась из южной Европы на север, возможно, с *commedia dell'arte*¹³.

Слово *Barbara*, которое иногда используется в немецком театре с той же целью, представляет собой, по-видимому, "народноэтимологическую" адаптацию слова *Rhabarber*, румын. *barbă rară* скорее всего связано (также через народную этимологию) либо с *rabarbaro*, *Rhabarber*, либо с *Barbara*.

2.1.1. Судя по всему, речь идет о единой традиции. Можно ли проследить ее истоки, например, до античной эпохи (речь не идет о слове *Rhabarber* как таковом, представляющем собой позднелатинское образование)? В том, что касается театральной практики, определенно нет: античный театр не знает бормочущих толп, и хор, представлявший (не принимающую прямого участия в действии) "толпу", должен был изъясняться ясно и понятно; то же касалось и отдельных актеров.

2.1.2. Однако древнегреческий язык дает нам немало материала относительно имитации невнятной или непонятной речи: в первую очередь это хорошо известное *bárbaros* (лат. *barbarus*), в основе которого лежит удвоенный звукоподражательный комплекс *bar-bar*; затем: *babázein*, *babýzein* "говорить невнятно", *bambatnō* "заикаться" и др. Все эти формы принадлежат к обширному и.-е. семейству

¹¹ Какими словами пользовались в XIX в. на английской сцене для имитации неразборчивой речи, установить с определенностью не удалось: словари не датируют появление *rhubarb*, *rhubarb* в этой функции. Есть, однако, основания полагать, что формула существовала уже в прошлом веке. Знал ли о ней Л. Кэрролл?

¹² Ср. [9], s.v. *Rhubarb*: "the plant Rheum, used as a purgative" ("Macbeth", V. 3, 55).

¹³ Впрочем, это всего лишь предположение, для которого мы не располагаем подтверждениями в области исторической лингвистики и основываемся исключительно на общих культурно-исторических соображениях. Во всяком случае тот факт, что распространение слова как обозначения растения шло с юга на север, подтверждается тем, что слово было заимствовано немецким языком из итальянского в XVI в., а в английском (в форме *s* в первом слове) — было засвидетельствовано лишь в XVII в. Ср. [10], s.v. *rabarbaro*: "Il nostro rabarbaro passò in ted. come Rhabarber nel XVI sec. e in ingl. come rhubarb nel 1641".

ономатопозитических слов, в основе которых лежит *ba-ba* (*bar-bar*, *bal-bal* с многочисленными лиссимилиациями), обозначающее нечеткую, невнятную речь¹⁴. Слово *bárbaros*, как известно, также первоначально относилось к языку (изначальное значение было приблизительно следующим: "бормочущий, заикающийся, болтающий что-то непонятное"); затем на основе метафоризации оно стало обозначать чужеземца, "говорящего непонятно (на непонятном языке, не по-гречески)". Наконец, это слово стало выступать в значении существительного "чужеземец, не-грек", а в адъективном значении — "необразованный, грубый, некультурный". Почти тождественную греч. *bárbaros* форму можно найти в древнеиндийском (скр. *bar-barah* "бормочущий"); во многих других древних и новых и.-с. языках существует множество похожих звукоподражательных слов с той же семантикой: лат. *balbus* "заикающийся, картавый", *balbutire* "бормотать", франц. *barboter*, *babiller*; исп. *bable* [16, s.v. *bable*], *barbolear*, *barbullar*; англ. *babble*; нем. *babbeln*, *pappeln* и т.д.¹⁵.

Правда, все эти формы представляют собой уже "имена", они обозначают невнятную, нечленораздельную, непонятную речь. Но все они предполагают в качестве исходного момента подражание такой речи, и притом во всех случаях с помощью аналогичных средств, а именно звуковых последовательностей *bVr*, *bVI*, *br*, *bl* (иногда, как в немецком, и *pl*), что с редупликацией (порой сопровождаемой вторичной лиссимилиацией).

К этой охватывающей ряд языков традиции (или охватывающему ряд языков способу обозначения определенной речи) следует отнести, по нашему мнению, и *bread-and-butter* Л. Кэрролла, хотя речь в этом случае идет по всей вероятности (см. далее) об индивидуальном "языковом творчестве": он просто использовал уже существующий во многих языках (в том числе и в английском) имитационный прием, либо "открыл" этот прием заново.

3.1. Имитацию речи с помощью формул типа *Rhabarber*, *rhubarb* и т.п. следует строго ограничивать от других явлений, которые связаны либо граничат с ними. В первую очередь речь идет об имеющихся в отдельных языках именах со значением "бормотания", т.е. о словах, которые значат в отдельном языке "бормотание, непонятная речь и т.п." (и потому могут обозначать в речевом акте бормотание, невнятную речь и т.п.). Имитационные формулы типа *Rhabarber*, *rhubarb* как таковые не являются именами, они не обладают значением "речь вообще" или "непонятная речь", они представляют собой отображение речи. Более того: они вообще не обладают каким-либо языковым значением — лексическим, категориальным или синтаксическим (*Rhabarber* в формуле *Rhabarber*, *Rhabarber* не является ни существительным, ни, скажем, подлежащим некоего предложения): они обладают лишь текстовой функцией, традиционной для определенных языковых коллективов. Правда, материально они — в тех случаях, которые мы рассматриваем¹⁶, — совпадают с определенными лексемами, обладающими соответствующим значением: *Rhabarber* обозначает вид растения, *Barbara* — личное имя, румын. *barbă rădă* значит "светлая борода", румын. *șase-șapte* "шесть-семь" (см. примеч. 7), исп. *serpientes* значит "змеи". Однако эти значения снимаются при выполнении текстовой функции "имитация речи": единственно значимой остается способность этих форм, благодаря их звуковым свойствам, функционировать в качестве средств имитации,

¹⁴ См. [11, с. 90 сл.]; [12, s.v. *bárbaros*, 13, s.v. *babai*; 14, s.v. *bárbaros*; 15].

¹⁵ См. прежде всего [11], где приводятся многочисленные формы из славянских, скандинавских, романских и др. языков. К ним можно было бы добавить: румын. *a balborasi* "запинаться, заикаться, бормотать; говорить непонятно, на чужом языке", *a ze bibii* "бормотать", русск. *бормотать*, франц. *brouhaha* "bruit confus qui s'élève dans une foule", нем. *blubbern* "заикаться, бормотать".

¹⁶ Мы интересуемся в данном случае языком как реальностью и теми функциями, которые он как таковой может выполнять. Поэтому мы отвлекаемся в данном случае от имитации речи вообще звуками — например, *ттитт* — или, хотя фонематически артикулированными, но не традиционными, а окказиональными, произвольными по речевому материалу способами.

вызывая у слушателя впечатление речи, не членимой семантически и не соотносимой с каким-либо конкретным языком. При этом фрагмент (материального) языка используется как вещь, в несобственно "языковой" функции, т.е. не для обозначения чего-либо, а для копирования некоторой реальности, которая опять-таки является языком.

Совершенно иначе обстоит дело с именами, обозначающими формы речи. Они обладают соответствующим языковым значением (значением в определенном языке), но не имеют заданной текстовой функции, если не считать общезыковой функции обозначения. Прежде всего у них нет функции прямой имитации, так что их звуковые свойства в этом отношении принципиально безразличны: благодаря своему значению они обозначают в речи определенные формы говорения, но не представляют их в виде изображений, имитаций, даже если по своему происхождению являются ониматопеями. В этом последнем случае звукоподражание входит в их "этимологию", т.е. оно является мотивацией их возникновения в качестве знаков с определенным значением и определенным звуковым обликом, но не актуальной (и единственной) мотивацией их употребления в речи как это бывает с имитационными формулами. Разумеется, "этимологическая" мотивация может в определенных случаях актуализироваться в речи, так что эти формы функционируют одновременно как обозначение (благодаря своей семантике) и как имитация (благодаря своим звуковым свойствам), однако имитационная функция выступает по отношению к сигнификативной лишь как дополнительная, т.е. в принципе ситуация та же, что и у форм, этимологически не связанных с ониматопеями: постоянная и первичная мотивация их употребления задается значением.

Конечно, имитационные формулы могут стать именами (как в случае форм, перечисленных в 2.1.2.); однако тем самым радикальным образом меняется их языковой статус: они становятся словами (= лексическими единицами) определенного языка, т.е. эти "звуки" превращаются в данном языке в означающие, которым соответствуют определенные означаемые. То же наблюдается и в тех случаях, когда те же "звуки" продолжают параллельно функционировать в качестве имитационных формул: с функциональной точки зрения речь идет о двух совершенно разных явлениях. Мы, например, уже указывали (1.1.2), что англ. *rhubarb*, итал. *rabarbaro* могут использоваться как обозначение бессмысленной болтовни. Эти слова ни в коем случае не могут быть отождествлены с имитационными формулами *rhubarb*, *rabarbaro* английской и итальянской сценической речи: имитационные формулы не являются сигнификативными единицами. Это выражения, не обладающие значением (т.е. конкретно-языковой семантикой) и наделенные только одной определенной текстовой функцией [= "изображение (непонятной) речи"]; сигнификанты же представляют собой знаковые единицы лишь одного языка — соответственно английского или итальянского, т.е. сочетание выражения и значения, означающего и означаемого. Можно также сказать, что в английской речи (= языковом употреблении) с функциональной точки зрения существуют три различные формы *rhubarb*, объединяемые лишь этимологией: два английских слова и одна имитационная формула английской сценической речи. *Rhubarb*₁ — название растения, *rhubarb*₂ — формула имитации речи и *rhubarb*₃ — обозначение пустой болтовни; при этом этимологически *rhubarb*₂ восходит к *rhubarb*₁, а *rhubarb*₃ — к *rhubarb*₂; *rhubarb*₂ представляет собой *rhubarb*₁ как чистый звуковой комплекс, без соответствующего значения, а *rhubarb*₃ — это *rhubarb*₂ как обозначение класса явлений, к которым *rhubarb*₂ как таковое принадлежит (см. ниже). То же относится и к итал. *rabarbaro*.

Соответственно и эквиваленты в других языковых традициях с необходимостью будут различными. Так, английскому *rhubarb*₁ в немецкой языковой практике соответствует *Rhabarber* (но не *Barbar!*), английскому же *rhubarb*₂ — *Rhabarber* или *Barbara*, а английскому *rhubarb*₃ не *Rhabarber*, а выражения *belangloses Reden*, *sinnloses Reden*, *leeres Geschwätz*, *leere Worte*, *Blabla* и т.д.

3.2. Конвенциональные формулы, изображающие или имитирующие речь, сами по себе вовсе не лишают изображаемую речь значения или смысла. Напротив, изображаемая речь должна восприниматься как пусть и непонятная (не поддающаяся членению), но в остальном "нормальная" речь, наделенная в данном языке значением и смыслом. Более того, в тех случаях, когда смысл обеспечивается не значением отдельных слов, а другими средствами, например, интонацией или звуковыми свойствами используемых языковых форм (как, например, в случае исп. *serpientes* — *serpientes* или румын. *case-carpe* для изображения заговора), причем не исключена и речь, которая внешне как будто выражает определенный смысл. Эти формулы и не могут создавать впечатление речи без смысла и значения, так как они не обозначают эту речь, а потому и не могут ее каким-либо образом характеризовать с точки зрения значения; они лишь изображают, замещают ее. У них самих нет значения, а следовательно, нет и наделенного значением смысла; значит, они лишены значения и "бессмысленны", но из этого не следует, что они имитируют "бессодержательную речь". Так, *rhubarb-rhubarb* например, само по себе — "пустое слово", но не замещает "пустого слова" (в этом смысле можно сказать, что в указанном примере *rhubarb*₁ обозначает то, чем является *rhubarb*₂ как таковое, но не его функцию). Поэтому следует чрезвычайно строго отличать эти формулы от выражений со значением "выражение ("слово"), лишенное смысла" герср. "бессмысленная речь", которые в этом своем значении могут быть использованы в свою очередь для имитации или замещения речи, но на этот раз с определенной оценкой, характеризуя ее не просто как речь вообще, но как бессодержательную речь. Различие касается и материально тождественных форм (как наш пример *rhubarb*), когда они, становясь сигнификативными единицами, используются для оценочной имитации речи.

Впрочем, насколько нам известно, выражения, значащие в узком и непосредственном смысле "бессмысленное слово", очень редки¹⁷. Самый известный пример такого рода, греч. *blityri*, использовавшееся в этом качестве в латинских текстах средневековых схоластов, носит полунискусственный характер. Явно ономастопотическое по своему происхождению греч. *blityri*, изначально означавшее "беспорядочное бречанье на струне арфы", затем, в обобщенном значении "бессмысленный звук", вошло в средневековую латынь в форме *blityri*, *blicteri* и др. и приобрело в схоластической логике и теории языка специальное значение "*vox nihil significans*", и в этом значении, явно через школьное преподавание, получило широкое распространение¹⁸. Наряду с *blityri* в том же значении в схоластике использовали *ba* и *buba*.

Гораздо больше распространены звукоподражательные выражения, со значением "бессмысленная речь", "ничего не значащие разговоры", "пустая болтовня", "пустые слова" и др., характеризующие использование языка¹⁹. Среди интересующих нас выражений, т.е. среди таких, которые, как отмеченные *rhubarb*, и *rabarbaro*, могут в том же значении использоваться и для имитации бессодержательной речи, в последнее время (особенно после второй мировой войны) получило распространение во многих языках (немецком, английском,

¹⁷ Для слов как составляющих элементов языка молчаливо предполагается — в том числе и наивными носителями языка — условие, что они что-то должны означать. Иначе они и не будут "словами", элементами языка, даже если они могут выступать в речи в качестве "слов" (ср. "пустые слова"!).

¹⁸ Словоформа как таковая была заимствована рядом языков и попала даже в диалекты (ср. итал. *blittri*, *blictri*, *blitteri*, франц. *bélitre*, исп. *belitre*), но в значении "нечто несущественное, неважное (вещь или лицо)" и в других значениях, производных от этого; ср. [16, s.v. *belitre*]. Можно также задаться вопросом, не повлияло ли *blityri* средневековой латыни на англ. *blither* (*blither*, *blather*) "бесмыслица", относящееся как раз к сфере бессмысленного в языке.

¹⁹ И в средневековой латыни *blityri*, *ba*, *buba* также использовались не только применительно к "словам" как лексическим единицам языка, но и к речи как употреблению языка.

французском, испанском, итальянском, румынском) прежде всего *Blabla* (*blabla*, *bla-bla*), означающее, с одной стороны, пустую болтовню (ср. *Diese Rede war nur Blabla*; *Er redet bloß Blabla*) и служащее, с другой стороны, для сопровождающейся определенной (негативной) оценкой имитации речи²⁰.

3.3. Таким образом, оноματοпозитические имена, обозначающие виды и характеристики речи, представляют собой совершенно иные явления, нежели формулы имитации и замещения речи. Они хотя и связаны с этими формулами через материальный признак звукоподражания, однако их языковой статус совершенно иной. Это не просто звуковые комплексы, "язык как вещь", это просто "язык"; это не разновидность "несобственного" использования языка (как это имеет место в случае с имитационными формулами), а элементы языка. Их место как и таких слов, как *язык*, *речь*, *слово*, *вопрос*, *сказать*, *говорить* и др. — в том разделе лексики, который может быть назван "метаязыком данного языка", т.е. они относятся к тем лексическим средствам, которыми язык располагает для классификации и именования реальности, именуемой "языком".

4.0. С имитационными формулами гораздо теснее связаны иные явления. Речь идет о различных видах использования языка, а именно его материальной стороны, "языка как вещи" в узком смысле, т.е. о другой и более существенной черте имитационных формул — устранении, снятии значения (или его отсутствии). Их языковой статус аналогичен статусу имитационных формул; отличается лишь способ употребления, соответствующая функция. В дальнейшем мы выделим основные типы этих почти не изученных (во всяком случае изучавшихся не в этом аспекте) явлений и кратко охарактеризуем их в отношении возможностей их перевода.

4.1. Ближе всего к имитационным формулам стоят звуковые комплексы типа *tra-la-la* (с вариантами), служащие заместителями слов (в том числе потенциальных слов) при пении. Впрочем, достаточно существенное отличие от имитационных формул заключается в том, что в этих звуковых комплексах не происходит снятия языкового значения, поскольку оно отсутствует изначально, в первую очередь потому, что эти комплексы могут замещать не только слова, но и музыкальные звуки (с помощью *tra-la-la* можно изображать и инструментальную музыку).

4.2. Следующий тип, значительно удаленный от имитационных формул, связан с использованием плана выражения звуковых единиц в мнемотехнических формулах и процессах. В этом случае языковые средства функционируют как своего рода "текст", материальная структура которого соответствует структуре подлежащих запоминанию "фактов" (которые, в свою очередь, могут относиться к области языка), либо гомологически отражает эту другую структуру: речь идет о типичном "несобственном" употреблении языка²¹.

Хорошо известно, например, употребление в средневековой логике соответствующих формул для изображения силлогистических фигур. Схоластическая (и, позднее, традиционная, или "классическая") логика использовала для изображения 19 модусов утвердительных и отрицательных силлогизмов соответственно их логической структуре 19 скомпонованных в виде стиха следующих друг за другом словоформ (без всякой синтаксической связи). Среди словоформ были реальные, а также специально для этой цели придуманные и потому сами по себе лишенные смысла; в любом случае наличие или отсутствие языкового значения было irrelevantно, значимы были лишь гласные *a*, *e*, *i*, *o* (обозначавшие соответствующие посылки и следствия) и их последовательность.

²⁰ Д-р Зулуага (Тюбингенский ун-т) сообщил, что видел некоторое время назад по колумбийскому телевидению передачу, в которой комик в течение 3—4 минут изображал речь политика, повторяя с разными интонациями только *bla-bla*.

²¹ Следует, впрочем, заметить, что не всякое употребление языка в мнемотехнических целях носит "несобственный" характер.

Изобразительные структуры были, например, такими (в первой "стихотворной строке"): А-А-А, Е-А-Е, А-І-І, Е-І-О, а содержащие эти структуры "тексты" имели следующий вид: BARBARA — CELARENT — DARIИ — FERION²².

Сходно, но не аналогично употребление языковых форм для замещения цифр²³, например, в письменной формуле *Clausewitz*, состоящей из десяти различных букв, что позволяло использовать эту последовательность для шифрования чисел (1 — 2 — 3 — 4 — 5 — 6 — 7 — 8 — 9 — 0), в частности, цен на книги в книготорговле (например: $WSZ = 750$)²⁴.

4.3.0. Значительно сложнее третий тип использования "языка как вещи" (языка, лишенного значения), связанный с выполнением различных метакоммуникативных функций.

4.3.1. К этому типу в первую очередь принадлежат различные формулы, используемые для проверки техники и каналов связи в разных коммуникативных системах. Телефонные "междометия" типа нем. *hallo*, франц. *allô*, рум. *alô*, исп. *holá*, *oigo*, *oiga*, *bueno*, итал. *pronto* выполняют одновременно и функцию обращения (по большей части также и вне телефонной коммуникации); а исп. *oigo*, *oiga* (частично также исп. *bueno*, итал. *pronto*) сохраняют свое значение и в случае использования в качестве "междометий". Чисто метакоммуникативную функцию проверки канала связи выполняет специально для этой цели сконструированное английское предложение *The quick brown fox jumps over the lazy dog*. Это предложение, содержащее все буквы английского алфавита, используется для проверки пишущих машинок и прежде всего для проверки клавиатуры и канала связи телетайпов международных информационных агентств (Рейтер, ДПА). Для сообщений на немецком языке используют построенную по аналогичным критериям немецкую фразу: *Fällen Sie (quasi zur Übung) jede Woche mit stumpfen Äxten fünf größere Ölbäume im verwilderten Labyrinth am Park*²⁵.

Естественно, что значение в обоих предложениях не играет никакой роли: в этой функции происходит снятие значения или же оно в лучшем случае служит лишь поддержкой при запоминании предложений (впрочем, в случае столь сложного немецкого предложения это сомнительно).

²² Эти формулы стали также использоваться для обозначения соответствующих силлогистических модусов; говорили, например (и говорят еще и теперь), о "фигуре Barbara" или силлогизме "типа Barbara" и т.д. (выражения, в которых Barbara функционировало не столько как имя, сколько как описательное указание). В связи с этим возникает вопрос, насколько эта мнемотехническая практика, требовавшая повторения и заучивания формул, могла способствовать закреплению слова *Barbara* (наряду с *Rhabarber*) в качестве формулы имитации речи в (немецком) театре: ведь слово *Barbara* стояло в начале первого стиха списка силлогистических фигур, оно и по сей день — самое известное из этих формул. Заметим, что схоластические выражения имели порой столь широкое распространение, что нам это трудно представить, во всяком случае такой важный культурный термин, как *барокко* восходит к одной из логических формул (BAROC), ср. также распространенность *blutyri*. О силлогистических формулах см. [17, с. 245 и сл.].

²³ Разумеется, при этом речь не идет о системах цифровой графики, в которых числа обозначаются буквами, поскольку в этом случае буквы являются непосредственными знаками числа: "замещение" происходит не только через несобственное употребление языка. Впрочем, обозначение чисел буквами может быть мотивировано в историческом плане. Возможно и их соотношение с языком через вторичную мотивацию: например, римские цифры С и М часто понимались (и понимаются) как начальные буквы латинских слов *centum* и *mille*, хотя на самом деле их происхождение не связано с этими словами (изначально знаки не были даже этими буквами).

²⁴ Другим "ключевым словом" такого рода было слово *librandosi* у итальянских книготорговцев. Поскольку в этом слове *i* встречается дважды, для того чтобы отличить второе *i* (обозначавшее нуль), его снабжали знаком долготы: *ī* (сообщение проф. Э. Косериу, Тюбинген). Совершенно иначе обстоит дело с рум. *охо* (в разговорной речи молодежи, в речи, приближающейся в аргю) "готово! закончено". В этом случае неязыковой элемент стал языковым: графический значок *охо* (варианты: *ххх*, *ооо*, *-х-* и др.) в конце машинописного текста — собственно, созданный с помощью пишущей машинки рисунок, в котором *о* и *х* вовсе не выступают как графемы (заместители звуков) — был прочитан как слово *охо* [okso], и поэтому звуковому комплексу было приписано значение "готово! закончено", которое в дальнейшем было использовано для характеристики состояния различных действий и заданий (Aufgaben).

²⁵ Справка получена в агентстве ДПА, в телетайпной в Гамбурге, 24 янв. 1988 г.

4.3.2. Другую группу образуют формулы, используемые для точной побуквенной передачи имен собственных, а также малознакомых слов, в особенности при диктовке и при сообщении по телефону²⁶. В Германии для этого используют личные имена, а в некоторых случаях другие специально подобранные слова (*Anton, Ärger, Berta, Cäsar, Charlotte, Dora, Emil*)²⁷; в Италии пользуются почти исключительно названиями городов (*Ancona, Bologna, Catania, Domodossola* и т.д.), в Испании используют различные географические названия. Во всех этих случаях полностью отвлекаются от значения, в значительной мере также и от общей звуковой или графической структуры: они необходимы лишь как контекст, облегчающий восприятие начальной фонемы в сочетании с начальной графемой (буквой или сочетанием букв)²⁸.

4.3.3. Наконец, к тому же типу относятся лишённые сами по себе значения формулы, служащие указанием для партнера по коммуникации. Ср. *fluff* в английской и *camelo* в испанской сценической речи (см. примеч. 7). Вообще лишённая значения чисто графическая формула *etaion* (также *Etaion, ETAION*), которой до недавнего прошлого пользовались в итальянских типографиях, в особенности в типографиях газетных издательств, в качестве указания для корректора²⁹: обнаружив при наборе ошибку, наборщик заполнял остаток строки этой формулой, чтобы обратить внимание корректора на дефектную строку и дать ему таким образом своего рода указание, которое можно перевести так: "строка отсутствует" или "строку убрать"³⁰.

4.4. Четвёртый тип, значительно отличающийся от рассмотренных ранее, впервые был представлен "формальным силлогизмом" Р. Карнапа [19, 2], который затем неоднократно повторялся в учебниках современной формальной логики: "Piroten karulieren elatisch — A ist ein Piroten — A karuliert elatisch". Этой фразой Карнап хотел показать, что логический вывод осуществляется на основе формальной "логики синтаксиса" и не зависит от (лексического!) "значения" входящих в силлогизм терминов. На самом деле в такой фразе сохраняются категориальное и синтаксическое значения, представленные обычными

²⁶ Потребность максимальной ясности и недвусмысленности для достижения адекватного восприятия слушающим оказывает, впрочем, влияние и на язык как таковой: некоторые языковые формы подвергаются, как известно, по крайней мере в определенных контекстах, модификации и даже замене во избежание опасности смешения с другими формами. Ср. нем. *zwei* в.м. *Juli* в.м. *Juli* (употребляется уже не только в телефонных разговорах!); порт. *meia*, букв. "половина" (т.е. *meia dúzia* "полдюжины") в.м. *seis* "шесть" (из-за возможности смешения с *tres* и другими словами на *-es, -eis, -sei, -seis*), в Бразилии это слово уже вошло в разговорный язык; рум. *dozeci* в.м. *doudzeci* "двадцать" (используется в телефонном разговоре, чтобы не спутать с *poudzeci* "90").

²⁷ Речь идет о положении только на внутренних телефонных линиях; при международной связи служебные инструкции предписывают использование другого списка, состоящего из хорошо известных географических названий и других имен собственных (*Amsterdam, Baltimore, Casablanca, Danemark, Edison*).

²⁸ Этот способ может, однако приводить к ошибкам, в результате которых происходят непреднамеренно анекдотические истории, если метаязыковые средства обеспечения коммуникации по ошибке включаются в основной текст и интерпретируются как часть этого текста. Это произошло, например, в следующем испанском газетном объявлении: "Tuberos y soldados homologados de Argon, América, Rusia, Gerna, Oviedo y Navarra. Oficiales de primera se necesitan para trabajar dentro de la provincia en Tamoin, América, Murcia, Oviedo, Inglaterra, Navarra" [18, 14] Argon и Tamoin — названия двух фирм, а следующие за ними географические названия — передача этих названий по буквам: объявление было явно передано в редакцию по телефону. В некоторых четко оговоренных случаях метаязыковые элементы все же должны присутствовать в самом тексте. Так, почтовое ведомство ФРГ издало распоряжение, согласно которому римские цифры должны передаваться не прописными буквами, а цифрами с добавлением (возможно сокращение) указания "romisch" "римский", например, XIV = roemisch vierzehn или roemisch 14, roem 14.

²⁹ В наши дни этой формулой пользуются лишь в малых типографиях, не обеспеченных соответствующим компьютерным оборудованием, делающим их излишними.

³⁰ Правда, в некоторых случаях корректоры все же пропускали этот сигнал, и строка выходила из печати в таком виде, особенно там, где были иностранные имена или имена собственные. Случалось это, по-видимому, не так уж редко, если один из журналистов написал об этом статью под заголовком "Мистер Этайон" (сообщение проф. А. Просподими, Падуя).

для немецкого языка средствами (*Piroten* — явно имя существительное, подлежащее, *karulieren* — глагол, сказуемое, *elatisch* — наречие, обстоятельство). Отсутствует лишь лексическое значение, и поэтому эти придуманные словоформы обозначают не существующую, наличную, а лишь виртуальную "внеязыковую реальность".

5.1. Итак, взяв за отправной пункт *bread-and-butter* у Л. Кэрролла, мы выделили следующие виды особого употребления языка:

а) выражения звукоподражательного характера, замещающие (непонятную, неясную) речь (типа нем. *Rhabarber*—*Rhabarber*);

б) звукоподражательные выражения, обозначающие в определенных языках непонятную, бессмысленную речь, пустую болтовню (типа *blityri*, нем. *Bläuii*, англ. *babble*);

в) звуковые комплексы, замещающие при пении слова (*tra-la-la*);

г) выражения, служащие мнемотехническими формулами (значение при этом как бы выключается, ср. *BARBARA, CELARENT...*);

д) выражения, которые, при исключении (потенциального) значения, служат метакоммуникативными средствами типа 1) *The quick brown fox...*; 2) *Anton, Arger, Berta...*; 3) исп. *camelo*, англ. *fluff*);

е) выражения, обладающие категориальным и грамматическим, но не лексическим значением (типа *Piroten karulieren elatisch*).

5.2. Каково значение этих типов употребления языка для теории и практики перевода? Как следует их переводить?

Из шести перечисленных основных типов "переведены" в узком смысле слова, т.е. переданы содержательно, могут быть лишь выражения, относящиеся к пункту б): речь в данном случае может идти о замене эквивалентными по значению словами языка, на который осуществляется перевод. Более того: их следует переводить таким образом, поскольку их первичная и нормальная функция состоит в "обозначении средствами языковой семантики", т.е. совпадает с "собственной" семиотической функцией языка¹¹. Так, например, в случае с англ. *babble* "unmeaning words" следует сначала определить, что это слово обозначает в данном тексте, а затем отыскать в языке, на который осуществляется перевод, выражение, которое по своей семантике может в том же контексте означать то же самое; т.е. способ действия в принципе тот же самый, что и при переводе таких слов, как *tree* или *house*. Если это выражение к тому же еще и носит звукоподражательный характер, тем лучше: это позволит передать звукоподражательную (в данном случае вторичную) функцию, если "этимологическая" мотивация актуализируется в тексте. Если же подобная актуализация отсутствует и звукоподражательный момент не влияет на смысл текста, вполне уместно воспользоваться дескриптивно-аналитическим переводом вроде нем. *leere Worte* "пустые слова", рум. *vorbe goale* тж. Для выражений, относящихся к пункту д), возможен подобный подход, однако лишь в отношении виртуального сигнификата, заданного категориальной и синтаксической семантикой (см. ниже).

Для всех остальных случаев перевод с опорой на значение полностью исключается. Ведь частично эти выражения в различных языках вообще лишены значения, а если это значение и существует, то в соответствующей функции происходит его снятие. Следовательно, эти выражения не могут выполнять в текстах символическую функцию, означать что-либо¹². Тем не менее они тоже

¹¹ Речь идет, разумеется, об обычном употреблении, о "норме": ведь в конкретных текстах возможны функциональные сдвиги, в результате которых значимое слово превращается в чисто звуковой комплекс, и наоборот.

¹² Можно было бы, конечно, сказать, что в мнемотехнических формулах типа *BARBARA, CELARENT* и т.п. собственно значащими элементами являются гласные *A, E, I, O* (замещающие "общеутвердительный", "общеотрицательный", "частично утвердительный", "частично отрицательный"). Но это не так для формул типа *A-A-A, E-A-E*, не обозначающих, а описывающих или отображающих силлогистические фигуры; и уж совсем не так для формул типа *BARBARA, CELARENT*, содержащих эти вокалические формулы и служащих для них мнемотехнической опорой.

должны быть переведены. Ведь "переводятся" не элементы конкретного языка, а тексты, т.е. именно случаи употребления языка; а каждый тип употребления языка, имеющийся в тексте оригинала, должен найти в переводе свой эквивалент³³. Поскольку перевод — употребление языка с точно заданной функцией, и в этом случае прежде всего действует общий принцип переводческой деятельности: использовать в переводе те языковые средства, которые в данном языковом коллективе и в соответствующей сфере общения обладают той же функцией. Если же в том или ином языковом коллективе нет эквивалента для соответствующей текстовой функции, переводчик должен проявить находчивость и творческие способности, подбирая средства, подходящие для данного случая (иногда заимствуя что-либо из языка оригинала или из переводимого текста)³⁴. Применительно к обсуждаемым выражениям это значит следующее³⁵.

1) Выражения, имитирующие (непонятную) речь, в принципе переводятся аналогичными выражениями, независимо от их конкретно-языкового значения, разумеется, если они в данном языковом коллективе существуют. Так, нем. *Rhabarber-Rhabarber* или *Barbara-Barbara* в румынской сценической речи соответствует *barbă-rară, barbă rară*. Если же подобных выражений в данной сфере общения нет, то следует найти им подходящую замену. То же касается изначально лишенных смысла звуковых комплексов, замещающих слова при пении (кстати, они совпадают в большом количестве языков); их заменяют аналогичными по функции звуковыми комплексами или же просто заимствованиями (часто не без звуковой адаптации).

2) Мнемотехнические формулы типа *BARBARA* в переводе не нуждаются, если усваивается то, что обозначается гласными, — они ведь функционируют лишь как матернальные схемы. Не случайно эти формулы, по крайней мере для тех обществ, которые входят в круг "европейской" культуры, не переводятся и даже не адаптируются, а просто употребляются наподобие имен собственных. Вообще же эти мнемотехнические формулы могут нуждаться в адаптации (например, в языках, не различающих *e* и *i*, или *r* и *l*, в которых нет звука *b*, которые не допускают встречающихся в этих формулах звуковых последовательностей и т.д.). Мнемотехническая функция лучше выполняется средствами родного языка. В других случаях мнемотехнические формулы, используемые в аналогичных целях, в разных языковых коллективах неодинаковы. В этом смысле итал. *librandosi* (см. примеч. 24) представляет собой адаптацию (и тем самым в соответствующей функции "перевод") немецкой формулы *Clausewitz*.

3) Выражения, служащие инструментами коммуникации, "переводятся", как и выражения первой группы, исключительно по смыслу (но без звукоподражательного момента) либо существующими в языковом коллективе для этой цели выражениями, либо специально созданными для этого выражениями. Указанное в пункте 4.3.1. немецкое предложение является в этом смысле "переводом"

³³ Кстати, это верно и для перевода в узком смысле, при котором — вопреки широко распространенному мнению — передаются не значения слов как таковые, а их функция в тексте, т.е. обозначение некоторой реальности с помощью этих значений.

³⁴ В особенности в тех случаях, когда текст оригинала уже не связан с какими-либо традициями, существующими в том языковом коллективе, где он возник.

³⁵ Мы попытались эксплицитно сформулировать те нормы переводческой деятельности, которые уже имплицитно действуют при переводе соответствующих выражений. При этом каждый тип употребления мы рассматривали отдельно, так сказать, "в чистом виде". В реальной речевой практике эти функциональные типы могут выступать в смешанном виде (или в смешении с другими функциями), так что одно и то же выражение выполняет две, три или более функций, а это значит, что для одного и того же выражения действуют одновременно несколько, возможно, противоречащих друг другу переводческих норм. Искусство переводчика заключается не в определении норм или нахождении готовых эквивалентов (это обеспечивает теоретическое и практическое переводоведение), а в том, чтобы создать эквиваленты, согласовать противоречащие друг другу нормы либо найти ту идеальную норму, ради которой можно абстрагироваться от других, в принципе тоже важных.

английского предложения *The quick brown fox...* в соответствии с его целевым назначением ("Предложение, содержащее все буквы используемого для данного языка алфавита"), хотя по своему содержанию оно совершенно не совпадает с английским предложением³⁶. Точно так же переводчики, работающие с немецким и итальянским языками, должны знать, что в Германии для передачи слова по буквам используют чаще всего личные имена, но согласно стандарту ФРГ *N* полагается обозначать словом *Nordpol* (а не *Norbert* или *Nikolaus*), а *K* — *Kaufmann* (но не *Karl* или *Konrad*); в Италии для тех же целей пользуются почти исключительно названиями итальянских городов (причем, согласно стандарту и традиции, — определенных, например, *Domodossola*, *Empoli*, *Imola*, а не *Duino*, *Enna*, *Imperia*).

4) Выражения типа *Piroten karulieren elatisch* переводятся, — в том, что касается их референтных отношений, заданных категориальной и синтаксической семантикой, — "нормально", т.е. через систему конкретно-языковых значений. Что же касается лишенных значения лексических единиц, то они подвергаются лишь морфологической и фонематической адаптации. Пример Карнапа так и переводится: англ. *Pirots karulize elatically*³⁷, итал. *I pirotti carulizzano elaticamente*, исп. *Los pirotres carulizan eláticamente*. Условием того, что смысл примера (его можно приблизительно передать следующим образом: "Логический вывод обусловлен лишь категориальным и синтаксическим значением и не зависит от лексического значения") в целом сохраняется, является то, что адаптированные лексические единицы не связываются в данном языке с определенным лексическим значением. Впрочем, для итал. *elaticamente* и исп. *eláticamente* это может быть поставлено под сомнение³⁸.

6.1. А теперь вернемся к переводу слов *bread-and-butter* у Л. Кэрролла. Сложности при этом возникают от того, что мы имеем в данном случае дело со смешанным типом, когда одно выражение выполняет по крайней мере две функции одновременно: с одной стороны, речь явно идет об имитации бормотания, невнятной речи (что, впрочем, почти прямо выражено в тексте словами "kept repeating something in a whisper to herself"), с другой стороны, это бормотание передано не прямо, а через попытку интерпретации ("that sounded like..."), предпринятую в рамках языковой компетенции и знаний о мире, свойственных сообразительному [английскому] ребенку³⁹.

6.2.1. Первая функция, в ее абстрактном виде, могла бы быть передана в переводе с помощью формулы для имитации невнятной речи, такой, как нем. *Rhabarber*, итал. *rabarbaro* и т.п. Не говоря уже о том, что во многих языковых общностях просто нет подобных формул, такой перевод обладал бы двумя недостатками: во-первых, эти выражения связаны с той сферой употребления языка, которая не имеет отношения к контексту книги Л. Кэрролла (спеническая речь, причем имитируется обычно речь толпы или по крайней мере группы людей, а не одного человека); во-вторых, выражение типа *Rhabarber* даже там, где оно (как в немецкоязычной традиции) не ограничивается только этой сферой общения, не соответствует языковой компетенции ребенка и потому

³⁶ Более эффективный и метакommunikативном смысле пример предложил В. Кауфман (Тюбингенский ун-т): *Vaß verwünscht jäh Xylophon, Querflöte und die ganze Musik*.

³⁷ Так у Карнапа в английском варианте его книги [19, с. 2], у других авторов вм. *karulize* употребляется также *carulate* [20, с. 101].

³⁸ В обоих этих языках эти формы (по крайней мере в сфере высокого, несколько архаизированного поэтического языка) возможны как слова, обладающие вполне понятным значением: это — регулярные наречия от прилагательных **elatico*, **elático*, которые, в свою очередь, представляют собой вполне возможные производные от действительно существующего *elato*.

³⁹ Слово "английский" не случайно заключено в скобки, потому что в переводе ребенок вовсе не должен оставаться английским. В противном случае *bread-and-butter* можно было бы просто перевести как "bread-and-butter"!

не соотносится со второй функцией слов *bread-and-butter*⁴⁰. Таковы, помимо всего прочего, причины, по которым Л. Кэрролл использует не традиционную формулу *rhubarb-rhubarb*, а специально придуманную для этого случая имитационную формулу. По этой причине и при переводе следует действовать аналогичным образом (см. примеч. 34), причем так, чтобы найденное выражение соответствовало обеим функциям.

6.2.2. В процитированных нами переводах, как мы видели, этого не произошло: переводчики перевели слова *bread-and-butter*, исходя из их предметного значения (так, как интерпретировала услышанное Алиса!), и тем самым как бы "автоматически" отразили вторую функцию выражения, в то время как первую (и, собственно говоря, первичную) они отразили лишь непроизвольно (благодаря случайным качествам языковых форм) и частично. Так, немецкие слова перевода *Buttersemmel, Buttersemmel* лишь благодаря повтору *Butter* (и то случайно!) могут быть имитацией бормотания. *Butterbrot-Butterbrot* или даже *Brot-and-Butter*, по нашему мнению, точнее соответствовали бы английскому оригиналу; еще более нелепым, и потому более точно соответствующим контексту было бы, возможно, *Brombeeren-Brombeeren*. Французский перевод также соответствует имитационной функции лишь случайно и лишь частично (благодаря повторению *beurre*); несомненно лучше было бы *brioche au beurre, brioche au beurre*. Возможно, лучше (благодаря долготе *r* в *burro*), но также случайно подходит для подражания бормотанию итальянский перевод *pane-e-burro, pane-e-burro*; гораздо точнее в этом случае было бы, по нашему мнению, *broccoli con burro, broccoli con burro* (здесь достаточно ясно, что звукоподражание носит намеренный характер); *brioche con burro, brioche con burro* также вполне подошло в этом случае, поскольку слово *brioche* (с французским произношением) достаточно широко распространено и в Италии. Совершенно неприемлем испанский перевод *pan у mantequilla, pan у mantequilla*, который полностью исключает звукоподражательный момент. Однако найти в испанском языке такое выражение, которое обозначало бы что-либо съедобное и в то же время подходило бы для имитации бормотания, нелегко. Можно было бы предложить что-нибудь вроде *brevas-y-brunos, brevas-y-brunos*, или *butifarra, butifarra*, конечно; в случае, если эти названия плодов и этот регионализм (обозначающий бутерброд с ветчиной или с ветчиной и сыром) могут быть известны испанскому ребенку в возрасте Алисы. Для румынского же языка мы бы предложили *burduf-de-brinză, burduf-de-brinză* "корка сыра" или *brinză-de-Brăila, brinză-de-Brăila* "сыр браила".

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Collins dictionary of the English language. L., 1979.
2. Collins COBUILD English language dictionary. London; Glasgow, 1987.
3. Collins-Robert: French-English, English-French dictionary. L.; P., 1985.
4. Portillo R., Casado J. Diccionario inglés-español, español-inglés de terminología teatral. Madrid, 1986.
5. Dictionary of American regional English. V. I. P. 368.
6. New international dictionary of the English language. Springfield (Mass.), 1953.
7. Gardner M. The annotated Alice. L., 1960. P. 245.
8. Sutherland R.D. Language and Lewis Carroll. The Hague; Paris, 1970.
9. Schmidt A. Shakespeare-Lexikon. Bd II. B., 1902.
10. Battisti C., Alessio G. Dizionario etimologico italiano. Firenze, 1954.
11. Pokorny J. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bd I. Bern; München, 1959. S. 90ff.
12. Frisk H. Griechisches etymologisches Wörterbuch. Bd 1—3. Heidelberg, 1954—1972.

⁴⁰ Нем. *Barbara* могло бы, правда, соответствовать и этой второй функции; однако, как имя собственное, оно должно бы было быть оправдано контекстом и не могло бы в этом случае (как имя известной личности) замещать "невыятное бормотание". Лишь рум. *barbă rara, barba rară* вполне отвечает второй функции, но не обозначает нечто съедобное.

13. *Boisacq E.* Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Paris; Heidelberg, 1923.
14. *Chantraine P.* Dictionnaire étymologique de la langue grecque. T. 1—4. P., 1968—1980.
15. *Skoda F.* Le redoublement expressif: Un universal linguistique. P. 1982.
16. *Corominas J.* Diccionario crítico-etimológico de la lengua castellana — V. 1—4. Madrid, 1954—1957.
17. *Bochenski I.M.* Formale Logik. 2. Aufl. Freiburg; München, 1962. S. 245 ff.
18. *Ruiz de Velasco E.* Antología de gazapos. Barcelona, 1986.
19. *Carnap R.* Logische Syntax der Sprache. 2. Aufl. Wien; New York, 1968.
20. *Carnap R.* The logical syntax of language. L., 1937.
21. *Sandulescu C.G.* The language of the devil (Texture and archetype in "Finnegans wake")
Buckinghamshire; Chester Springs, 1987.

Перевел с немецкого *Ромашко С.А.*

© 1992 г. ВЕРЕЩАГИН Е.М.,
РАТМАЙР Р., РОЙТЕР Т.

РЕЧЕВЫЕ ТАКТИКИ "ПРИЗЫВА К ОТКРОВЕННОСТИ". ЕЩЕ ОДНА ПОПЫТКА ПРОНИКНУТЬ В ИДИОМАТИКУ РЕЧЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ И РУССКО-НЕМЕЦКИЙ КОНТРАСТИВНЫЙ ПОДХОД

1. Показательные примеры и постановка проблемы.

Разговор среди друзей. Только что закончилось студенческое собрание в одном из австрийских университетов, студентки-подруги ведут "трудный" разговор. Одна из них (А) только что "нарушила" верность: она не поддержала подругу (Б) в важном для нее деле.

А: Ist irgendwas los? B: Nichts Besonderes. A: Du, jetzt kennen wir uns schon so lange, sag doch, was los ist! B: Na gut, dann sag ich's eben. Ich hätte mir da eigentlich von Dir mehr Unterstützung erwartet.

А: — Ты, я вижу, чем-то недовольна? Б: — Да нет, ничего. А: — Ну все же, скажи, в чем дело. Мы столько лет дружим. Б: — Ну ладно, так и быть. Я так рассчитывала на твою поддержку.

Разговор матери с ребенком. Мальчик 10—11 лет (Б) без разрешения съел кусок пирога, оставленный его брату. Мать (А) в воспитательных целях хочет добиться от сына признания поступка. Мальчик некоторое время сопротивляется, тем не менее в конце концов он признается.

А: Jetzt gib doch zu, daß Du den Kuchen aufgegessen hast! B: Nein, das war nicht ich. A: Wer soll's denn sonst gewesen sein? B: Ich nicht. A: Na, ist nichts dabei, kannst's ja ruhig sagen. B: Na ja, Mama, ich war's eh.

А: — Да ведь ты же съел этот кусок! Б: — Нет, не я. А: — А кто же? Б: — Да уж не я. А: — Чего ты боишься? Тебе ничего не будет. Б: — Ну ладно уж — я.

Третья ситуация заимствована из художественной литературы — это разговор мужа (Арбенина) и жены (Нины) из драмы М.Ю. Лермонтова "Маскарад". Вспомним, что героиня драмы Нина теряет на балу одно из своих украшений. В начале четвертого выхода второй сцены первого действия у нее с руки спадает браслет. Ее муж, Арбенин, полагает, что Нина не просто потеряла безделушку, а подарила ее князю Звездичу в знак любви. Снедаемый жгучей ревностью, Арбенин пытается выведать у жены причину отсутствия браслета. Он непреклонно уверен, что речь идет именно о сокровенной тайне Нины, а не о случайной потере, но читателю (или зрителю) известно: справедливо не первое, а второе.

Ниже мы выписали (из первого и третьего действий драмы) соответствующие диалоги¹.

Арбенин: (Целует ее руки и вдруг на одной не видит браслета, останавливается и бледнеет).

... где твой другой браслет?

Нина: Потерян.

Арбенин: А! Потерян.

Нина: Что же?

¹ Цитируем по изданию [1].

Беды великой в этом нет.

Он двадцати пяти рублей, конечно, не дороже.

Арбенин (про себя) Потерян... Отчего я этим так смущен,

Какое странное мне шепчет подозрение?...

Арбенин: (пронзительно на нее смотрит сложив руки) Браслет потерян?

Нина: (обида) Нет, я не лгу!...

Арбенин: С кем были вы?

Нина: Спросите у людей; ...

Арбенин: Прощайте, я знаю все. (Ей) Прочь от меня, гiena!

И думал я, глупец, что, тронута, с тоской,

С раскаяньем во всем передо мной

Она откроется ... упавши на колена?

Да, я б смягчился, если б увидал

Одну слезу ... одну ...

Нина: Но слушай ... я невинна ... пусть

Меня накажет Бог, — послушай...

Арбенин: Наизусть

Я знаю все, что скажешь ты. ...

Нина: (в слезах упадет на колени и поднимает руки к небу)

Творец небесный, пощади!

Не слышит он, но Ты все слышишь — Ты все знаешь,

и Ты меня, Всесильный, оправдаешь!

Арбенин: Остановись — хоть перед Ним не лги!

Нина: Нет, я не лгу — ...

Итак, Арбенин ждет, что Нина "откроется", т.е. приоткроет ему правду.

Действительно, глагол *открывать*, будучи полисемичным, среди своих значений имеет и такое: "объявлять тайну или неведомое, оглашать, обнародовать (неизвестное)". Соответственно производное прилагательное *откровенный*, семантизируемое путем перечисления синонимов, — это "открытый, искренний, чистосердечный, прямодушный, правдивый, прямой, обнаженный, задушевный, нараспашку" или (в апофатическом ряду) "непокрытый, неприкровенный, нескрываемый, неложный".

Далее, существительное *откровенность* имеет два значения, которые, на наш взгляд, важно четко отделять одно от другого: 1) качество (*Больше всего я ценю в тебе откровенность*) и 2) действие-сообщение о сокровенном (*Ты пожалел о своей откровенности*)².

Легко заметить, что Арбенин — из нашего литературного примера — не признает за своей женой откровенности как качества, но все же добивается от нее откровенности как действия. То же самое мы видим в общении с сыном и, наконец, двух подруг-студенток.

В дальнейшем в статье изучается "откровенность" лишь как действие.

2. Анализ понятия "откровенность".

Если за обозначением цельных по смыслу информационных единиц, включаемых в коммуникативные акты, закрепить термин тема разговора, то семантика слова *откровенность* заставляет усматривать в тематическом пространстве каждого человека (т.е. в совокупности возможных для него тем разговора) две сферы.

Ряд тем обсуждается свободно со всеми потенциальными собеседниками — такова сфера тематической свободы. Например, бытовая потеря (в "Маскараде" — браслета) вполне может быть предметом любого свободного разговора.

Некоторые же темы обсуждаются отнюдь не с любым и каждым, а лишь с особыми (чем-то отличными от всех прочих) собеседниками. Так, неверная

² Избирательно второе значение закреплено, между прочим, в производном глаголе *откровенничать* ("быть излишне откровенным с кем-н., высказываться слишком откровенно").

жена — а Арбенин подозревает Нину именно в неверности — не скажет о своем увлечении мужу (и тем более малознакомому человеку), но она, вполне вероятно, поделится с близкой подругой. Такова хранимая от чужого проникновения, тайная предметная область — пусть она и называется сферой тематической тайны³.

Коммуниканта, который в данном коммуникативном акте выступает как носитель тематической тайны, назовем (за неимением более подходящего) непривычным термином-неологизмом секретник (от лат. *secretus* "тайный, скрытый, сокровенный"). Реального или потенциального коммуниканта, которому избирательно сообщается тайна, станем называть общезыковым словом конфиден (от лат. *confido* "твердо надеяться, полагаться на кого-либо", ср. *confidentia* "доверие"). Последним заодно подчеркиваем, что необходимым условием для появления откровенности в разговоре является то, что секретник с какого-то момента начинает считать своего собеседника достойным доверия.

Таким образом, эксплицирование содержания откровенности привело к выявлению сферы тематической тайны и к разделению коммуникантов на секретника и конфиден. Соответственно откровенностью-действием называется такой коммуникативный акт, в ходе которого секретник сообщает конфидену свою тайну. При этом следует иметь в виду, что сообщение тайны обычно подразумевает преодоление какого-либо внутреннего психологического барьера со стороны секретника.

Случается, однако, что секретник ведет себя активно, сам сообщает конфидену о сокровенном. Конфидент же поначалу держит себя пассивно. Так, героиня "Матрениного двора" А.И. Солженицина под влиянием внешнего импульса решается рассказать о тайне своей молодости: "Матрена вдруг из темного своего угла сказала: — Я, Игнатич, когда-то за него чуть замуж не вышла. Я и о Матрене-то самой забыл, что она здесь, не слышал ее, — но так взволнованно она это сказала из темноты, будто и сейчас еще тот старик помогался ее. Видно, весь вечер Матрена только об этом и думала" [2].

И далее следует (вполне добровольный) откровенный рассказ старой русской женщины.

Такой вид коммуникации предлагаем назвать навязываемой откровенностью. Откровенность, когда активен секретник, будучи частным случаем так называемого *Mitteilungsbedürfnis* (русское близкое соответствие — *болтливость* — не передает полностью существа немецкого понятия), наблюдается, конечно, в национальных культурах стран распространения немецкого языка, но все же она представляет собой, пожалуй, одну из черт русской национальной культуры. Например, в Германии или Австрии трудно себе представить, чтобы попутчики, случайно оказавшиеся в одном купе, начали откровенничать, даже если им предстоит долгая поездка. В России это случается довольно часто.

Как бы в качестве обратного зеркального отражения наблюдаются случаи, когда роли коммуникантов полярно меняются: активно ведет себя конфиден (точнее сказать: тот, кто навязывает себя в конфиденцы), а секретник или остается вежливым в разговоре, или же (довольно часто) отражает намерения конфидента. Именно такой коммуникативный акт мы видим в наших немецких примерах и в диалоге Арбенина и Нины. Здесь перед нами так называемая вынуждаемая откровенность. Она-то и станет предметом нашего дальнейшего анализа.

Таким образом, мы постоянно суживаем свой исследовательский предмет путем сегментации такого обширного явления человеческого общения, каким

³ В сфере тематической тайны, вообще говоря, имеются и такие темы, которые в принципе никогда и ни с кем не затрагиваются, — они всплывают лишь в уникальных, экстраординарных ситуациях (ср. исповедь умирающего или допрос под пыткой), так что мы вправе выделить подсферу тематического табу, но эта подсфера сейчас называется только для полноты картины (в дальнейшем она не рассматривается).

является откровенность. Эту процедуру придется продолжить на еще один, последний, шаг.

Отсечем все поведение-реакцию секретника на призыв к откровенности и сосредоточимся исключительно на речевых действиях активного конфиденнта. Отвлекаемся, наконец, от психологической проблематики: заинтересован конфиденнт в откровенной беседе или лишь из вежливости имитирует заинтересованность; доверяет секретнику или подозревает его в нечестности; важна ли раскрываемая тайна для конфиденнта или им движет простое любопытство и т.д. В стороне оставлена и социология: какова социальная принадлежность конфиденнта и секретника; каковы внешние обстоятельства общения и т.д. Иными словами, непосредственно здесь, в небольшой статье, нами изучается одно лишь речевое поведение конфиденнта в коммуникативных актах вынуждаемой откровенности. Нам хотелось бы составить себе представление об инвентаре поведенческих тактик, ведущих к откровенности. Соответственно мы решаем одну-единственную задачу — (упорядоченного) перечисления указанных тактик.

3. Сверхзадача "призыв к откровенности" и реализующие ее тактики.

Переходим к изложению того, что такое тактики призыва к откровенности.

Хотя следующие далее терминоподобные выражения и не определены, допустим, мы знаем, что такое "общий мотив действия", "высшая интенция", "глобальная цель" или же (это выражение мы выбираем) сверхзадача, которую преследует один из коммуникантов⁴. Тогда рассмотрим, в качестве иллюстрации к нашей теме, несколько реплик с реализованной в них сверхзадачей "призыв к откровенности". Реплики качественно однородны, хотя они могут быть различного происхождения, а именно: они либо прямо взяты из действительности (т.е. записаны во время некогда имевшего место вполне определенного, документированного разговора), либо заимствованы из художественной литературы, этой "второй действительности", либо, наконец, извлечены из памяти авторов статьи⁵.

Начнем с краткого разбора нашего литературного примера из пьесы "Маскарад". В нем усматриваем три коммуникативных действия конфиденнта (Арбенина) в ситуации вынуждаемой откровенности.

Во-первых, Арбенин трижды повторяет "тематический" глагол *потерян*: "А! потерян", "Потерян..."; "Браслет потерян?" Такие настойчивые повторы сообщают секретнику, что конфиденнт либо удивляется сообщаемому, либо не принимает версии секретника, считает рассказ неискренним, неправдивым, ложным. Нина, конечно, улавливает смысл повтора. "Нет, я не лгу!" — восклицает она, и Лермонтов дает ремарку (*обида*). Она отчетливо поняла, что ей хотели сказать: "Теперь говори правду". Тактика реитерации ключевых слов секретника в ситуации вынуждаемой откровенности не личная особенность Арбенина, а типичное коммуникативное поведение, реализующее сверхзадачу "призыв к откровенности".

Во-вторых, конфиденнт имитирует знание тайны секретника. Не вынудив признания, Арбенин делает вид, что он и без слов знает причину исчезновения браслета. "Наизусть я знаю все, что скажешь ты". Имплицируется: "Какой смысл записывать? Говори правду!"

В-третьих, наконец, Арбенин использует апелляцию к высшему нравственному императиву: "Остановись — хоть перед Ним [Богом] не лги!".

Итак, требуя от жены откровенности, Арбенин, прибегает к трем коммуникативным действиям, а именно к "тактикам": 1) реитерации тематического слова, 2) имитации знания тайны, 3) апелляции к нравственному императиву.

⁴ У Ван Дейка сверхзадаче соответствует термин "макроакт" [3].

⁵ Как носители своих родных языков, прошедшие социализацию в соответствующих национальных культурах и не порывавшие с ними, авторы на данном этапе сочли возможным во многих случаях исходить из личного опыта, проверив его с помощью ограниченного числа информантов.

Теперь перейдем к некоторым репликам, собранным авторами этой статьи.

Первая группа реплик: Свои же люди! Мы же (старые) друзья! Разве мы не подруги? Сколько лет мы знаем друг друга? Не знаю, кто тебе ближе! Wir sind doch Freunde! Schließlich sind wir doch verwandt/befreundet! Wir kennen uns doch schon ewig!

Вторая группа реплик: В ком-ком, а во мне можешь быть уверен! Уж я-то молчать умею! Дальше меня не пойдет! Никому не скажу! Я — могила! Auf mich kannst Du Dich verlassen! Ich sag kein Wort weiter! Ich sag zu niemandem ein Wort! Ich schweige wie ein Grab!

Третья группа реплик: Говори, не стесняйся! Тебе ничего не будет! Чего ты боишься? Du brauchst Dich nicht zu genieren! Niemand wird über Dich herfallen! Wovor hast Du denn Angst?

В зависимости от уровня абстракции, на котором описывается смысл, реплики предстают в разном качестве. Если ради аналогии обратиться к терминам логической систематизации, то между репликами можно усмотреть видовые различия, родовые сходства и различия и, наконец, категориальное тождество.

Действительно, если, во-первых, встать на лексико-синтаксический уровень рассмотрения, то все реплики совершенно различны. Так, реплики *Свои же люди!* и *Сколько лет мы знаем друг друга?* не обнаруживают между собой ничего общего. Точно так же лексически и синтаксически несопоставимы *Дальше меня не пойдет!* и *Я — могила!*

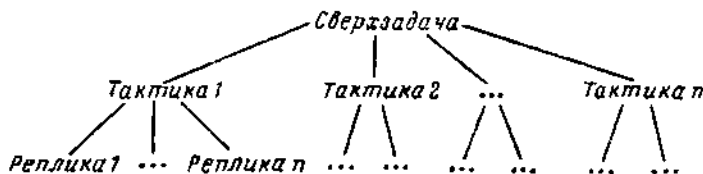
Во-вторых, если сделать шаг в абстрагировании вверх и заняться поисками во фразах каждой группы интеграционных смысловых признаков, то высказывания *Свои же люди!* и *Сколько лет мы знаем друг друга?* можно перифразировать как *Мы же близкие люди*. Соответственно *Дальше меня не пойдет!* и *Я — могила!* одинаково объединяется в родовой перифразе *Обещаю конфиденциальность*. В последней группе реплик можно также усмотреть общий смысл средней ступени абстракции (т.е. родовой смысл) — *Не бойся!*

В-третьих, еще один шаг вверх по лестнице абстрагирования уравнивает по смыслу реплики всех трех групп. *Мы же друзья!*, *Обещаю конфиденциальность* и *Не бойся!* можно переписать как *Будь откровенен*. Здесь устранены не только видовые, но и родовые дифференциальные признаки, но оставлены интеграционные. Следовательно, мы поднялись на категориальный уровень отвлечения.

Смысловые феномены на низшем (первом) и высшем (третьем) уровнях абстракции мы, можно считать, знаем и умеем называть — соответственно реплики и сверхзадачи.

Что же касается феномена на среднем уровне отвлечения, то он, насколько нам известно, в науках, изучающих язык и речь, вообще не выделялся в качестве самостоятельного предмета исследования. Поэтому нет для него и устойчивого термина-бирки. Мы же для него хотели бы предложить термин речевая тактика⁶. Общей мотивацией для выбора этого термина является то, что "тактики" входят в какую-то общую "стратегию", т.е. сверхзадачу.

Схематически данное отношение можно представить так:



⁶ Впервые обратил внимание на речевые тактики один из соавторов данной статьи (Е.М. Верещагин, совместно с В.Г. Костомаровым, в 1988 г., см [4]), который затем к ним обращался не единожды [5, 6]. В упомянутых публикациях феномен, о котором говорим, был описан сугубо эмпирически. Второй соавтор этой статьи, Р. Ратмайр, на примере ситуаций, когда один из собеседников выражает отказ, а другой настаивает на своем, также изучала речевые тактики реализации сверхзадач в русском языке, применяя другую терминологию — Gesprächsstrategien [7].

Сверхзадачи могут быть универсальны, а тактики производны от национальной культуры. Реплики, разделяясь на воспроизводимые по памяти клише и на творимые в момент коммуникативного акта новые высказывания, исчислимы как клише и неисчислимы как творческие высказывания. Для номинации сверхзадачи мы считаем нужным подыскать достаточно абстрактную номинативную единицу, а для номинации тактики нам приходится либо "изобретать" искусственную бирку (типа "демонстрация близости"), либо принимать за общее название одну из реплик-клише (например, *Мы же близкие люди*). На данном этапе исследования мы предпочитаем избирать предикативную фразу, которая имитирует непреходящую предикативную природу входящих в данную тактику реплик.

4. Прагматическая характеристика "призыва к откровенности".

4.1. Место сверхзадачи, тактик и реплик в диалоговой структуре.

Призыв к откровенности (далее ПО) всегда возникает в результате какого-либо предшествующего общения. Это — показатель напряжения у одного из коммуникантов, отражающий психологическое переживание информационного неравенства: потенциальный конфидент подозревает, что у собеседника есть тайна, и прилагает усилия, чтобы узнать ее.

"Пусковым" моментом ПО могут быть некоторые признаки в поведении секретника, а именно: он явно лжет, или его подозревают во лжи (ср. разговор матери с ребенком и Арбенина с Ниной); он обходит сферу тематической тайны (ср. разговор двух студентов); он эксплицитно или имплицитно выражает недоверие по отношению к конфиденту или проявляет недовольство конфидентом.

Типичными реакциями на ПО, — имеется в виду роль секретника — можно считать: откровенное сообщение (или имитацию откровенности); выдачу все еще неполной информации; уклонение от темы; отказ от дальнейшего разговора; просто молчание. В последних четырех случаях конфидент может продолжать ПО.

Чем дольше реализуется сверхзадача, тем вероятнее, что конфидент употребит несколько различных тактик. Более того, выбор одной тактики из инвентаря не исключает употребления другой непосредственно рядом. Встречается также рядоположенное употребление различных реплик из одной и той же тактики (смысловая, но не буквальная реинтерация).

4.2. Взаимное иерархическое положение секретника и конфиденнта.

В случае иерархического равенства коммуникантов роли секретника и конфиденнта могут свободно переходить от одного к другому.

В случае иерархического неравенства чаще всего старший по иерархии выступает в роли конфиденнта, а младший — в роли секретника. Бывают, однако, и случаи, когда младший по иерархии пытается выведать тайну (планы, замыслы, оценки и т.п.) у старшего.

Отметим, что фразы типа *Ну скажи(те) же; Скажи(те) мне, пожалуйста, в чем дело! Sag (sagen Sie) mir doch bitte, was los ist!* употребляются довольно широко и свободно, т.е. имеются достаточно универсальные, незаисимые от иерархии средства реализации ПО.

Кроме того, иерархическая связанность в русской культуре, как кажется, больше, чем в современной немецкой.

4.3. Наиболее типичные коммуникативные ситуации реализации ПО.

Имеются коммуникативные ситуации, исключительно профессиональные, в которых ПО закреплён формально, а именно: общение педагога и ученика; общение интервьюера и интервьюируемого; общение врача и пациента; общение следователя и подследственного (или милиционера и нарушителя порядка); общение священника и исповедующегося.

Имеются также коммуникативные ситуации, как правило, неформального, интимно-личного общения, в которых откровенность по традиции занимает большое место, а именно: общение родителей и ребенка, общение супругов или близких друзей.

Таким образом, ПО встречается и в официальной и в личной сферах общения.

Реплики, реализующие ПО, естественно, различны в зависимости от коммуникативной ситуации, но материал в дальнейшем дается — за редким исключением — без ссылок на конкретную ситуацию.

4.4 Конечные цели ПО.

За сверхзадачей ПО обычно стоит некоторая конечная цель. Например, конфиденгент может добиваться откровенности, либо чтобы помочь секретнику, либо чтобы предать секретника, либо чтобы сблизиться с секретником и т.д. Наличие конечной цели не имеет языковой манифестации и поэтому должно быть исключено из лингвистического рассмотрения.

5. Языковой материал.

Перечисляемые непосредственно ниже тактики призыва к откровенности (ТПО) даются в виде инвентаря, и, стало быть, каждой может быть приписан инвентарный номер. В качестве более крупных группировок предлагаем следующие: "элементарные ТПО", "редуцирующие и конкретизирующие ТПО", "мягкие (или успокаивающие) ТПО" и "жесткие (или угрожающие) ТПО".

Уже из этих группировок следует, что только маленькая часть приводимых ниже реплик выражает ПО прямо и исключительно, т.е. путем так называемых прямых речевых актов (см. в первую очередь 5.1. и 5.2. ниже). Большинство же реплик выражает ПО имплицитно, т.е. в форме так называемых косвенных речевых актов, и могут быть употреблены и в совершенно других коммуникативных целях.

Имея в виду рассмотрение на контрастивных основаниях, мы публикуем русские и немецкие реплики параллельно. Эти реплики не представляют собой, конечно, прямых переводов друг с друга. Перед нами исключительно лишь аналогии — как смысловые, так и, что еще важнее, интенционные. Остается сказать, что хотя коммуникативные тактики далеко не всегда манифестируют себя в клишированных высказываниях, все же сейчас мы приводим по преимуществу именно клише (без различий по степени воспроизводимости и свободы варьирования компонентов). Наименования тактик предлагаются эмпирически; важно, чтобы имя-бирка хорошо передавало основной смысл всей группы реплик.

5.1. Элементарные ТПО.

Начнем с перечисления наиболее элементарных тактик. Отметим следующий парадокс: в качестве элементарных тактик выступают, с одной стороны, очень специфические для данной сверхзадачи прямые побуждения, а с другой стороны, не специфическая тактика реитерации тематического слова (см. выше).

ТПО-1. "Говори же!" Эта тактика реализуется путем прямого побуждения к высказыванию: *Скажи же, (в чем дело/что случилось)! Расскажи, (интересно же)! Ну, ты все-таки скажи! Валяй же! Jetzt sag doch, (was los ist)! So erzähl schon, (mich interessiert's doch)! Jetzt leg endlich los! Na geh / na komm, (sag schon)! Geh weiter!*⁷. Sei net fad!⁸ ТПО-2. "Будь откровенным/-ой!" Эта тактика реализуется путем прямого побуждения быть откровенным. *Скажи прямо! Не знаю, можем ли мы с вами откровенно поговорить о ... (сексе, политике)? Jetzt sag einmal offen / ehrlich, (was Du meinst / Du möchtest / da los ist / Du über ... denkst)! Können wir einmal offen über ... sprechen?*

5.2. Редуцирующие и конкретизирующие ТПО.

ТПО-3. "Скажи хоть ...". Редуцирование призыва характерно для продвинутого этапа разговора, когда конфиденгент понимает, что всеобъемлющего раскрытия тайны не получается, и он предпринимает нечто вроде минимизации своих

⁷ Хотя здесь в первую очередь имеется в виду эксплицитное употребление глаголов речи, характерной чертой немецкого языка является использование глаголов *gehen, kommen* в форме повелительного наклонения в качестве частиц.

⁸ Легко заметить, что эта фраза выражает данную тактику только имплицитно. Имплицитность вообще является характерной чертой немецкого языка относительно рассматриваемых здесь тактик (см. также в Заключении).

притязаний⁹. Расскажи хотя бы о ... / Хоть примерно скажи, (когда это случилось). Дай хоть намек! Скажи только одно, (ударил или не ударил). Ты, по крайней мере (имена не называл)? Неужели совсем ничего не ... (видел)? Поговорим только об одном: ...! Никто не собирается выворачивать тебя наизнанку! Reden wir doch wenigstens über ... Na, ungefähr kannst Du es vielleicht sagen! Na, deut's halt an! Sag wenigstens eines, ... Hast Du wirklich ganz und gar nichts ... (gesehen)? Reden wir halt nur von einem: ...! Ich will ja eh nicht alles wissen.

ТПО-4. "Не скрывай самое главное!" Призыв не скрывать самое главное, т.е. конкретизация, содержит хотя бы маленький упрек, что кое-что утаивается, или является реакцией на уловки. И это все? Больше ничего не было? Ты мне не все говоришь! Самого главного-то ты и не говоришь! Да ты о главном говори! Говори все до конца! Выкладывай все на чистоту! Да ты прячешь концы в воду! Ты просто выгораживаешь себя! Что ты замечаешь следы? Скажи же, наконец, определенно. Вы должны отвечать полно и точно. Вы обязаны сказать не просто правду, а полную правду. Ничего не утаивай! Не уходи в сторону! Не вилай! Не увиливай! Не отвлекайся! Не выкручивайся! Und das soll alles sein? Da muß doch noch etwas sein? Irgendwas verheimlichst Du doch (noch)! Das Wichtigste verschweigst Du mir! Eigentlich geht es doch um etwas ganz anderes. Worum geht's denn wirklich. Was steckt denn dahinter? Also, was meinst Du jetzt genau? Red nicht (um den heißen Brei) herum! Laß nicht alles aus der Nase ziehen! Na, spuck's endlich aus! Einmal möchte ich erleben, daß Du (wirklich) sagst, was Du (eigentlich) meinst. Sie müssen alles sagen, was Sie wissen. Verheimliche mir nichts! Bleib beim Thema! Schweif nicht ab! Drück nicht herum! Red Dich nicht heraus! Mach keine Ausflüchte!

Частным случаем этой тактики может считаться управление мыслями секретника, особенно если он не может (или не хочет) сосредоточиться и перескакивает с предмета на предмет: Давай все сначала! Давай все по порядку! Ничего не пропускай! Итак, что было сначала? Что потом? Чем кончилось? Подожди, давай еще раз о том же! И все же я еще раз задам тот же вопрос! Все-таки ты не ответил мне! Что это за ответ? Извини мою настойчивость, но я вынужден вернуться к старому. Пока вы не ответите на первый вопрос, дальше мы не продвинемся. Erzähl das noch einmal von Anfang an! Erzähl eines nach dem anderen! Was war zuerst? Was dann? Und was zum Schluß? Jetzt noch einmal dasselbe! Ich muß die Frage noch einmal stellen! Das war keine Antwort auf meine Frage! War das vielleicht eine Antwort? Entschuldige, daß ich so lästig bin, aber ich muß noch einmal auf etwas Früheres zurückkommen!

Вообще рассматриваемая здесь тактика может считаться частным случаем реализации сверхзадачи "Выспрашивание" (а оно имеет место и не обязательно в ситуации откровенности), т.е. постановки конфидендом множества уточняющих вопросов.

ТПО-5. "Не так ли?" Тактика-подсказка и высказывание конфидендом догадок и предположений в ожидании реакции секретника — нередкий способ ведения откровенного дискурса. Подобно тактике рентерации тематических слов, ее также трудно проиллюстрировать типичными общими клишированными репликами, поскольку лексическое наполнение всегда тематическое. А ты, случайно, (не любишь ее, ...)? (Тебя не взяли из-за пятого пункта...), так? Да ведь ты же ... (съел этот кусок)? А кто же...? Ах, вы не знаете? А кто знает? Und Du hast nicht vielleicht (einfach verschlafen, ..)? (Du liebst sie doch, ...), oder? Jetzt gib doch zu, daß ... Wer soll denn sonst ...?

5.3. Мягкие (или успокаивающие) ТПО.

ТПО-6. "Мы же близкие люди". Эта тактика реализуется ссылкой на старое

⁹ Тактика частично сводится к тому, что конфидендт выясняет, где границы между собственно тайной (которую, пусть не всем, но все же приоткрывают) и табуированными темами, затрагивать которые совершенно бесперспективно.

знакомство, общий жизненный опыт, сходство в некотором отношении¹⁰. Свои же люди! Мы же (старые) друзья! Мы столько лет дружим! Разве мы не подруги? Сколько лет мы знаем друг друга? Не знаю, кто тебе ближе! Свой своему поневоле друг. С кем тебе еще поделиться? Я тебя вполне пойму! Я и сам из таковских! Я сам не святой! Кто же без греха? Что я, из другого теста, что ли? И я был молод, пошаливал! Как будто я сам ... (но бабам не ходил)! И чтобы русские люди не поняли друг друга, (быть такого не можем)! *Wir sing doch Freunde! Schließlich sind wir doch verwandt / befreundet! Wir kennen uns doch schon so lange / ewig / eine Ewigkeit! Mit wem willst, Du denn sonst reden? Wen interessiert denn das sonst? Ich versteh Dich voll und ganz. Mir ist das auch schon passiert. Ich war auch einmal jung! Ich bin doch auch nur ein Mensch! Ich bin doch auch kein Heiliger! Wer ist schon ohne Fehler?*

ТПО-7. "Я тоже откровенен с тобой". Эта тактика заключается в том, что конфиденциент начинает разговор с личного примера. Имплицируется: *Теперь и ты скажи! Я же тебе все рассказываю! Ну вот, я тебе все о себе рассказал, а ты? У меня же от тебя нет тайн! Ich erzähl' Dir doch auch immer alles. Ich bin doch auch offen gewesen, und Du? Ich hab' doch auch keine Geheimnisse vor Dir.*

ТПО-8 "Обещаю конфиденциальность". Этой тактикой конфиденциент уверяет секретника в том, что тайна останется тайной. В некоторых бытовых ситуациях это обещание является конституирующим фактором, например, сохранение тайн врачом, священником. Таким образом, в рамках этой тактики также много от "должностной конфиденциальности". *В ком-ком, а во мне ты можешь быть уверен! На меня можешь положиться! Уж я-то молчать умею! Дальше меня не пойдет! Будь спокоен, никому не скажу! Я — могила! Да и кому мне рассказывать-то? Клянусь (всем святым/детьми, здоровьем, ...), буду нем как рыба! Мы не оглашаем списки сотрудничающих с нами. Меня предупредили об ответственности за разглашение оперативной тайны. Auf mich kannst Du Dich verlassen! Also mir kannst Du vertrauen! Zu mir kannst Du ganz offen sein! Ich halte dich! Ich sag zu niemandem ein Wort! Ich sag kein Wort weiter! Wie kannst Du denn glauben, daß ich etwas weitersage? Ich schweige wie ein Grab! Wem sollte ich denn etwas erzählen? Ich bin doch kein Redhaust!*

Здесь можно было бы выделить подтактику "перформативное закрепление конфиденциальности": *Даю честное слово! (Имплицируется: ... что не проболтаюсь). Гад буду! (в среде блатных). Ehrenwort, der Schlag soll mich treffen / der Teufel soll mich holen, wenn ich etwas weitersage!*

ТПО-9. "Не бойся!" Эта тактика служит успокоиванию партнера и снимает страх перед дурными последствиями. *Говори, не стесняйся! Тебе ничего не будет! Чего ты боишься / жмешься? Ладно уж! Чего там! Я тебя не осужу! Du brauchst Dich nicht zu genieren! Niemand wird über Dich herfallen! Wovor hast Du denn Angst? Ist ja nichts dabei, sag doch ruhig, was los ist.*

ТПО-10. "Тебе/Вам лучше будет!" Путем этой тактики конфиденциент указывает на преимущества откровенности для секретника¹¹. *Признайся откровенно — сразу легче станет. Расскажи, облегчи душу. Не держи в себе! Как раз я-то и смогу тебе помочь. Выговорись! Поделишься, и увидишь, как полегчает. Ничего, ничего, поплачь, поплачь! Как только назовешь зачинщика, сразу пойдешь к ребя-*

¹⁰ Частным случаем данной тактики является злонамеренная мимикрия под секретника, поддакивание и провокаторство (например, работник спецслужбы выдает себя за диссидента и т.д.).

¹¹ Русское народное представление о том, что открытие тайны (особенно неблагоприятного поступка) облегчает душу, восходит, несомненно, к христианскому таинству исповеди и покаяния. В гипертрофированной форме, как известно из фольклора и художественной литературы XIX в., покаяние приносится "матери сырой земле" и всему народу. Призывы ко всенародному покаянию — характерная примета времени перестройки. Между прочим, покаяние и исповедь — коммуникативные акты, не предполагающие, в отличие от вынуждаемой откровенности, возможности искажения правды или утаек. Ср. также исповедь как литературный жанр.

там!¹² Суд примет во внимание ваше чистосердечное признание/явку с повинной. Откровенно назвав всех вовлекших вас в пагубное заблуждение, вы тем самым смягчите вашу участь" [8]. *Da wird Dir gleich leichter werden! Kannst Dir ruhig das Herz ausschütten! Das wird Dir bestimmt gut tun! Ich kann Dir ja wenigstens / immerhin helfen. Für Sie ist es besser, alles zu sagen, was Sie wissen.*

ТПО-11: "Давай выпьем/закурим!" Русская национальная традиция душевных бесед "под рюмочку" получила наименование "пьяной откровенности". Ср. пословицу: *Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке*. В интеллигентской среде приняты откровенные разговоры "на кухне", "с поллитрой". Немецкие реплики этого типа гораздо реже, чем русские, означают именно ПО. *Давно пора посидеть с рюмочкой! Пропусти еще рюмочку! Давай-ка закурим, потолкуем! Тут есть забегаловка неплохая, посидеть можно! Gehen wir auf einen Kaffee / auf ein Achterl / auf einen Schnaps / ein Bier! Willst Du vielleicht (zuerst) ein Schnapserl? Komm, rauchen wir eine zusammen!*

ТПО-12: "Пододвинься ко мне!" Данная тактика в первую очередь предполагает соматические действия (потенциальный конфидендт прикасается, поглаживая, к плечу секретника, берет его за руки, привлекает к себе и т.д.). Подруги откровенничают, обняв друг друга. Мать кладет голову ребенка себе на плечо. Мужчины сдвигают стулья, сближают головы, смотрят в глаза друг другу. Таким образом, физический контакт важен. Объясняется это тем, что, будучи неоткровенными, коммуниканты нередко ведут себя противоположным образом: например, неискренний секретник избегает соматического контакта (отсаживается от конфидендта, отворачивается от него, смотрит в сторону, прячет глаза и т.д.), в то время как конфидендт, напротив, напряженно следит за мимикой и жестикуляцией собеседника. Данная тактика маркирует "переломный" физический момент, призывающий к преодолению психологического барьера: *Сядем рядом, поговорим ладком! Дай-ка твою руку! Посмотри мне в глаза! Не отводи глаз-то! Дай-ка я тебя обниму! Ты приляг, а я посижу возле! Komm, setz Dich her zu mir! Verschnauf einmal! Komm, gib mir die Hand! Jetzt schau mich einmal an!*

5.4. Жесткие (или угрожающие) ТПО.

ТПО-13. "Хватит молчать и запираться". Эту тактику конфидендт использует, когда первоначальные попытки склонить секретника к откровенности не удалось. Чаще всего — это реакция на молчание¹³. *Ну, так и будешь молчать? Или ты онемел? Будешь говорить или нет? Тебе что, нечего сказать? И долго еще будем играть в молчанку? Сколько еще ждать? Не тяни! Последний раз прошу: давай поговорим! Нет, ты все-таки скажи! Was soll das Schweigen? Sagst Du jetzt was oder nicht? Sollen wir uns noch lange anschweigen? Wirst Du noch lange herumdrücken? Hast Du nichts zu sagen? Du solltest endlich einmal etwas sagen. Also, wieso sagst Du denn nichts? Jetzt fang endlich an zu reden! Also, wird's bald?*

ТПО-14. "А я и так все знаю". На серединном этапе разговора конфидендт может прибегать к некоторой хитрости, делая вид, что и без откровения секретника он все знает (см. диалог Арбенина с Ниной)¹⁴. *Мне и без того все ясно. Glaubst Du, ich weiß nicht ohnedies/eh schon alles.*

ТПО-15. "Только не обманывай!" Данная тактика примыкает к предыдущей, с той разницей, что эксплицитно указывает на обман. *Не вздумай обманывать!*

¹² В современной практике немецкого воспитания не принято ставить ребенка в положение, когда он должен выдать своих сверстников.

¹³ Прибегающий к этой тактике конфидендт довольно часто доказывает, что секретник не может не знать того, от чего он отрекается, что в его ответах возникают противоречия (*Как это может быть: стоишь рядом и ничего не заметил? Ты же не слепой? Или у тебя наизусть память отшибло?*).

¹⁴ Эта тактика может также употребляться в качестве "покупки", т.е. заведомо ложного заявления конфидендта, направленного как раз на вынуждение откровенности. Особенно часто прибегают к имитации знания тайны недобросовестные педагоги, кадровики, следователи и т.д.: *Следствием точно установлено, что ... От тебя самого хочу услышать, а я и так знаю.*

Меня не проведешь! Не лукавь! Не хитри! Не темни! Нет, ты меня не запутаешь! Да не строй ты из себя невинность! Имей в виду: вранье я увижу сразу! Давай с самого начала договоримся: не врать друг другу! Что ты мне мозги пудришь / лапшу на уши вешаешь / голову морочишь / зубы заговариваешь? Glaub ja nicht, daß Du mich anlügen kannst. Aber Schmach brauchst Du keinen machen. Tu nicht so unschuldig! Spiel aa nicht den Unschuldigen/die Unschuldige! Glaubst Du, ich durchschau' das nicht! Mir machst Du doch nichts vor!

ТПО-16. "Хуже будет!" Путем этой тактики конфиденд указывает на отрицательные для секретника последствия неоткровенности. Часто эта тактика приобретает форму угрозы¹⁵. *Смотри, потом будет поздно! Жду еще минуту, потом пеняй на себя! Ну, раз ты так, то и от меня ничего не узнаешь! А я-то хотел тебе помочь! Чем больше ты упорствуешь, тем для тебя же хуже! Не хочешь добром, применим другие меры / поговорим по-другому! Это вам еще повезло, что на меня напали. Попадете к другому, еще не так запоете!* (слова следователя). *Du wirst schon sehen! So wird's auch nicht besser. Du kriegst noch ein Magengeschwür. Gib Acht, sonst ist es zu spät! Wenn Du nicht reden willst, dann laß es halt. Dann eben nicht!*¹⁶ *Sie können froh sein, daß Sie an mich geraten sind. Wenn Sie da an einen anderen kommen!*

ТПО-17. "Где же твоя нравственность?" С помощью данной тактики конфиденд ссылается на нравственные нормы. Сюда же входит тактика апелляции к высшему нравственному императиву (к божеству, к идеологическим ценностям), о чем, в связи с подобным поведением Арбенина, уже говорилось. Подобное речевое поведение характерно для русской культуры, в то время как в немецкой культуре оно встречается чаще всего в общении с детьми (Zeigefingerpädagogik). *Где же твоя совесть? С чужими не откровенничай, но со своими ... С друзьями надо быть откровенным. Если ты мне не доверяешь, то лучше и не говорить вовсе! Разве это честно? А еще считаешь себя порядочным человеком! С друзьями так не поступают. И кого ты обманываешь, самого близкого тебе человека! Soll das vielleicht ehrlich sein? Und Du willst ein ehrlicher Mensch sein? Das tut man unter Freunden nicht. Den Eltern muß man alles erzählen. Zu den Eltern muß man doch offen sein.*

ТПО-18. "Я должен это знать!" Ссылка на должностной интерес иногда вставляется в обращение начальника, врача, работника отдела кадров, следователя, адвоката, священнослужителя к лицам, обращение с которыми предписано должностью¹⁷. *Какой может быть стыд перед врачом? Mir als Arzt müssen Sie das schon sagen!*

6. Заключение: некоторые результаты контрастивного подхода.

Изложенные выше наблюдения позволяют прийти к следующим общим выводам:

1. Реализующие тактики реплики в двух языках, как правило, не совпадают, если сопоставлять их слово за словом. Они часто клишированные, с точки зрения

¹⁵ Налицо случай пересечения двух разных сверхзадач, а именно сверхзадачи призыва к откровенности и сверхзадачи угрозы. Имеет место спецификация угрозы как таковой для особой цели — вызвать секретника на откровенность. Все многочисленные тактики, входящие в угрожающее поведение и описанные одним из авторов статьи (Е.М. Верещагиным; см. [6]), могут быть перенесены сюда, а спецификация достигается тематическим лексическим наполнением. Проблема взаимодействия тактик из разнородных коммуникативных действий в едином коммуникативном акте, перекрестного включения в него этих тактик и их модифицирования является обычным явлением, описываемым в современной прагматике. Взаимосвязь сверхзадач "угрозы" и ПАО дает возможность их более абстрактного рассмотрения под биркой "Говори, или будут последствия". См. тот случай, когда они обе возводятся в одну реплику: *Не назовешь, у кого взял книгу и кто тебе помогал, подпишу и будешь сидеть. Назовешь — сейчас же пойдешь домой.*

¹⁶ Данная фраза содержит указание на то, что конфиденд обижен и не видит смысла в дальнейшей поддержке секретника.

¹⁷ Должностной интерес способен принимать форму документа (анкеты, автобиографии), и в таком случае вопросы анкеты или матрица автобиографии исполняют роль ко: фидента.

владения языком их необходимо знать заранее. Сами тактики, однако, очень часто повторяются в языках близкой культурной сферы.

2. Типичной чертой культуры общения говорящих на немецком языке является достаточно большое уважение личного (сокровенного) достоинства собеседника. Отсюда частое употребление имплицитных формулировок (яркий пример: *Sei net fad!*) и почти полное отсутствие выражений "воспитательного" характера, т.е. формулировок "под указательный палец" (*Zeigefingerpädagogik*). Кроме того, в немецких репликах заметно сплошное присутствие разного рода частиц, как бы смягчающих ПО, ср. *Was meinst Du denn / eigentlich / überhaupt? Glaubst Du wirklich, daß ich etwas weitersage? Na geh / na komm, sag schon! Na sag's schon / halt / ruhig.*

В русской культуре, напротив, частиц меньше, но больше приняты прямые призывы к откровенности; наблюдается также широкое употребление сугубо фразеологических выражений типа *Свой своему поневоле друг. В ком-ком, а во мне ты можешь быть уверен/а. И долго еще будем играть в молчанку?*

Наконец, ТПО "Давай выпьем/закурим!", широко представленная в недавней и современной русской культуре, в немецкой культуре представлена значительно слабее.

Концепция речевых тактик еще не сложилась до конца. Окончательная теория не построена. Тем не менее уже сейчас, как кажется, можно проводить сбор тактического материала и практиковать языковые и национально-культурные сопоставления¹⁸.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Лермонтов М.Ю. Собр. соч.: В 4-х т. Т. 3: Драм. М., 1958. С. 36—41, 99—100.
2. Солженицын А. Рассказы. М., 1990. С. 129—130.
3. van Dijk T.A. Textwissenschaft. Eine interdisziplinäre Einführung. München, 1980.
4. Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Приметы времени и места в идиоматике речемыслительной деятельности / Язык: система и функционирование. М., 1988.
5. Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура. Лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного. 4-е изд., перераб. и доп. М., 1990. С. 218—223.
6. Верещагин Е.М. Тактико-ситуативный подход к речевому поведению (поведенческая ситуация "Угроза") // Russistik. Русистика. 1990. 1.
7. Rathmayr R. Ein net ist nich lange kein net: Ablehnen und Insistieren im Russischen // Slavische Linguistik. 1988: Referate des XIV. Konstanzer Slavistischen Arbeitstreffens. Mainz 27. — 30.9.1988 / Hrsg. Girke W. München, 1989.
8. Форш О. Одеты камнем // Форш О. Избр. произведения: В 2-х т. Т. 1. Л., 1972. С. 294.

¹⁸ Авторы благодарны за полезные замечания и конструктивную критику И. Богуславскому, Н. Желонкиной, Г. Каплию, И. Осиповой, Г. Фрейдхофу.

© 1992 г. Йокояма О.

ТЕОРИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ И ПРОБЛЕМАТИКА ПОРЯДКА СЛОВ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

0. Введение.

Попытки систематического научного описания порядка слов в русском языке стали предприниматься после вхождения в языковедческий обиход таких функциональных понятий, как тема и рема, предложенных впервые еще в двадцатых годах В. Матезиусом¹. Как неоднократно указывалось исследователями, эти понятия, как и смежные с ними понятия "данного", "известного", "знакового" или "нового", "неизвестного", "незнакового", страдали в известной степени расплывчатостью. Отсутствие четкого определения этих категорий, по сути своей прагматических, кажется теперь естественным, если принять во внимание относительную новизну прагматического раздела теоретического языкознания, не осмысленного систематически ни во время введения этих понятий, ни в последующие десятилетия.

При встрече с прежде не изученными фактами языка, требующими радикального пересмотра установившихся определений и создания глобальной теории высказывания, в рамках которой старые "рабочие" понятия темы и ремы обрели бы научную обоснованность, предпринималась (взамен таких новаторских усилий) "починка" старых мехов, как, например, дробление темы на первичную и вторичную, введение понятия рамочной структуры и другие тому подобные уточнения существующих понятий, приемлемые для обсуждаемого материала, но не опирающиеся на общую теорию высказывания и, следовательно, нередко приводящие к внутренним противоречиям в системе описания русского языка. Между тем порядок слов в славянских языках, и в частности в русском, представляет собой обильнейший материал для изучения дискурсивных процессов, т.е. той части прагматики, которая исследует соотношение таких прагматических категорий, как представление участников речевого акта о том, что знает собеседник вообще и на чем сосредоточено его внимание в момент языкового общения. Грамматический строй русского предложения, преимущественно благодаря наличию падежа, является самодовлеющей системой в отношении пропозициональной семантики; он способен полностью выразить те отношения внеязыковой действительности, которые говорящий стремится описать, т.е. денотативное содержание высказывания. В результате этого могучее семиотическое средство — линейная последовательность элементов высказывания — освобождается для выполнения других функций, а именно функций неденотативного, непропозиционального порядка.

¹ Матезиус [1] продолжил в этом отношении идеи Вейля [2]. Теория Матезиуса, в свою очередь была развита в чешской традиции Данешем, Докулилом, Фирбасом, Сгаллом и др. (см. [3—7]); решающее значение в создании научного описания порядка слов в русском языке имела монография Адамца [8]. В русском языкознании вариативность словорасположения отметил уже Ломоносов, хотя о связности порядка слов и о роли контекста заговорил впервые Шахматов [9]. Среди больших трудов, посвященных порядку слов следует отметить работы Распопова [10], Саротининой [11], Золотовой [12], Ковтуновой [13—14]. К сожалению, перечисление всех работ, анализирующих порядок слов в русском языке,шедших за последнюю четверть века, в данной статье предпринять невозможно.

Чрезвычайная эффективность линейной последовательности в семиотических системах вообще (перемена последовательности фоном, например, порождает новый знак: *он и но, там и мат* и т.д.) является гарантией того, что функции, которые берет на себя порядок слов, ни в одном языке не могут быть второстепенными. Анализ этих функций в русском языке должен неизбежно натолкнуть исследователя-теоретика на путь становления гипотезы о роли неденотативной, непропозициональной информации в высказывании, о роде и видах этой информации, о том, как она бывает закодирована, и о всей той части коммуникативной системы, которая описывает не состояние мира, сообщаемое адресантом адресату, а некие другие факты, связанные с самим речевым актом и его участниками. Изучение так называемого свободного порядка слов, следовательно, должно привести языковедов к открытию и описанию универсальной коммуникативной системы языка, лишь составной частью которой является грамматика пропозициональной семантики.

1. Теория коммуникативной компетенции.

Именно таким образом была создана предлагаемая вниманию читателя общая теория коммуникативной компетенции (transactional discourse model — TDM). Анализ коммуникации как процесса передачи знания от одного собеседника другому в соответствии с правилами кооперации выявляет ряд общих закономерностей дискурса и объясняет многие языковые факты, которые до недавнего времени было принято считать областью синтаксиса или стилистики². В модели, созданной на основании этой теории, собеседники А и В представлены двумя пересекающимися множествами знаний А и В. В состав множеств А и В входят подмножества С_а и С_в, состоящие из той части их знаний, которая активизирована в момент, непосредственно предшествующий высказыванию³. В тот момент, когда А начинает говорить, С_а является подмножеством С_в, так как у приготовившегося говорить активизированных знаний больше, чем у приготовившегося слушать, по крайней мере на ту пропозицию, которую говорящий намеревается сообщить слушающему. В момент, последующий высказыванию, эта разница бывает сведена к нулю, поскольку теперь названная пропозиция стала частью не только С_а, но и С_в; другими словами, множества С_а и С_в совпали.

Предлагается различать семь видов знания: знание кода (подразумевается так называемая языковая компетенция, т.е. знание грамматики и лексикона), референтное знание (позволяющее "наклеить этикетку" на референта, вычленив его из множества подобных ему), пропозициональное знание (позволяющее назвать определенное действие, например, *пишет, ест*), предикационное знание (позволяющее задать вопрос "Что случилось?", когда человек знает, что что-то случилось, но не знает, что именно), спецификационное знание (позволяющее назвать участников и обстоятельства действия, например, ответить на вопрос

² Среди работ, анализирующих некоторые некооперационные речевые акты (как ложь, манипуляцию), дискурсивные частицы *же* и *ведь* и явления лексической семантики в рамках TDM [15—19]; некоторые принципы модели используются в анализе литературного текста в работе Зайцевой [20]; как пример литературного анализа, использующего описание русской лирики в рамках данной теории, см. [21].

³ Картина множеств знаний А и В и их подмножеств С_а и С_в (а также их соотношений), которую представляет себе адресант, может не совпадать с картиной, представляемой себе адресатом, поскольку каждый из собеседников (не обладая даром ясновидения) представляет себе эту картину по-своему (т.е. субъективно). Вместе с тем и та, и другая картина может не соответствовать истинной, объективной картине, принципиально недоступной собеседникам. Говорящему остается только предполагать, какова эта картина в действительности, и строить свое высказывание на основе своих субъективных предположений. В обязанности кооперационно настроенного адресата входит внесение поправок в коммуникационные просчеты, "просвечивающие" из высказывания адресанта. Так в процессе коммуникации собеседники постоянно преодолевают свою субъективную ограниченность. В излагаемом в данной статье упрощенном описании модели соотношения множеств А, В, С_а и С_в будут характеризоваться так, как их представляет себе говорящий.

"Что это там упало?"), экзистенциональное знание (позволяющее спросить: "Кто это?", когда говорящий знает, что субъект, названный местоимением, существует, но может и не обладать референтным знанием его) и знание дискурсивной ситуации (предположение говорящего о том, что содержится во множествах знаний A , B , C_a и C_b , а также об отношениях между этими множествами, т.е. о том, что содержится в их пересечениях). Знание кода и знание дискурсивной ситуации, являясь видами знания, необходимыми для осуществления самого информационного процесса, называются метайнформационным знанием, отличающимся от остальных пяти видов знания, которые являются информационным знанием. Названные виды знания отчасти предполагают друг друга (так, пропозициональное знание предполагает предикационное знание и экзистенциональное знание участников действия⁴).

2. Динамика первых высказываний.

2.1. Минимальный контекст первого высказывания. Для анализа коммуникативного процесса эвристически существенно разграничение первого высказывания и всех других, "непервых" высказываний. Первое высказывание можно считать наиболее возможным приближением к контекстуально или конситуативно⁵ необусловленным высказываниям (т.е. к высказываниям в нулевом контексте). Единственные объективно вероятные два вида знания, занимающие внимание обоих собеседников (т.е. находящиеся в пересечении C_a и C_b) перед прототипическим первым высказыванием — это: (а) дейктический ряд $\{DEIXIS\} = \{ego, tu, hic, nunc\}$, т.е. референтное знание предполагаемых участников коммуникативного акта и их ориентация по месту и времени высказывания, и (б) предикационное знание, т.е. знание того, что нечто совершилось (или совершается или совершится), что и будет выражено предикатом нарождающегося высказывания. Этим объективно вероятным содержанием пересечения C_a и C_b в начале первого высказывания определяется ряд референтных выражений, издавна считающихся в литературе "данными", а именно: *я (меня, мне, у меня и т.п.), мы, ты, вы, здесь, тут, теперь, сейчас, сегодня*. Положение элементов, соответствующих $\{ego, tu, hic, nunc\}$, в начале русского высказывания при немаркированной интонации⁶ следует из местонахождения этого дейктического ряда в пересечении подмножеств C_a и C_b .

2.2. Импозиция. Минимальный объективный контекст первого высказывания (т.е. дейктический ряд $\{ego, tu, hic, nunc\}$ и синонимы его членов) не даст, однако, еще основания начинать высказывание, скажем, со слов вроде *завтра, в прошлом (или в 1922) году, в этом парке, в Париже, к Петровым или Пашеньку (Пашеньку, Пашеньке и т.п.)*, так как нет никаких оснований объективно считать, что при минимальном контексте первого высказывания в пересечении подмножеств C_a и C_b находится референтное значение этих единиц (т.е. что в момент абсолютного начала диалога можно объективно предположить, что и говорящий и слушающий думают именно о завтрашнем дне, о 1922 году, о Париже или о Пашеньке), хотя сам говорящий может, несомненно, о них думать. Тот факт, что высказывания типа *Завтра будет дождь, В Париже я пойду в Лувр, К Петровым приехала бабушка* или *На Пашеньку опять накричал этот*

⁴ Полное описание TDM на английском языке можно найти в книге автора [22]. На русском языке теория описывается в сжатом виде в рецензиях Голубевой-Монаткиной [23] и Янко [24]; на французском и немецком языках см. рецензии Миньо [25] и Ружички [26].

Далее термин "контекст" будет использоваться в широком смысле, включая и вербализованный текст в конституцию.

⁶ В последующем описании интонация приводимых высказываний будет немаркированная, т.е. такая, в которой на последней синтагме реализуется ИК-1; подробно о соотношении интонации и порядка слов в рамках предлагаемой теории см. [22, с. 176—204].

вахтер с Литейной вполне приемлемы в качестве первых, контекстуально необусловленных высказываний, вызвано силами совершенно иного характера⁷.

Объяснение подобным примерам в рамках TDM следует из понятия импозиции, т.е. "навязывания". При соответствующих дискурсивных условиях говорящий позволяет себе отступить от единственного объективно оправданного предположения, что внимание обоих собеседников в данный момент сосредоточено исключительно на {ego, tu, hic, nunc} и на предикационном знании. Он позволяет себе взять исходным положением своего высказывания такую дискурсивную ситуацию, в которой то знание, на котором сосредоточено его собственное внимание в данный момент, как бы "без оглядки на адресата" помещается в пересечение S_a и S_b . Так говорящий навязывает адресату заинтересованность в том, что интересует его самого в данный момент.

Причины, заставляющие говорящего сосредоточивать свое внимание на некоторых объектах, могут быть как более субъективными, так и более объективными. Чем объективней мотивация навязывания, тем менее ее проявление зависит от социальной или психологической дистанции между собеседниками. Если навязываемая единица знания связана с содержащимися в {ego, tu, hic, nunc} элементами посредством языкового кода (сюда относятся, например, ассоциативные ряды типа *сегодня, вчера, завтра*), импозиция этой единицы вполне допустима в качестве первого высказывания даже в разговоре с незнакомым. Отсюда высокая степень приемлемости таких первых высказываний, как *Завтра будет дождь*. Чем индивидуальнее ассоциация между элементами в {ego, tu, hic, nunc} и интересующей адресанта в данный момент единицей референтного знания, чем менее она предсказуема (например, связь между говорящей и ее сыном Пашенькой — индивидуальный факт, не предсказуемый ни одним языком и известный только ограниченному числу близких знакомых), тем ближе должны быть отношения между собеседниками, чтобы оправдать импозицию этой единицы, а следовательно, и положение соответствующего слова в начале высказывания. Наиболее благоприятным условием для подобной сугубо субъективной импозиции является такая ситуация, когда референт навязываемой единицы представляет собой одновременно функцию обоих собеседников, т.е. $F(ego, tu)$. На практике это означает, что высказывания вроде *На Пашеньку опять накричал этот вахтер* наиболее приемлемы по адресу человека, столь же близкого Пашеньке, сколь и говорящий. В связи с этим существенно то, что сам выбор референтного выражения *Пашенька* (а не Павел, Павел Иванов, Иванов и т.п.) уже свидетельствует о близости к Пашеньке не только адресанта, но и адресата, а также и о близости между собеседниками (см. [27])⁸.

Континуум условий реализации импозиции, объясняющих приемлемость первых высказываний от *Завтра будет дождь*, до *На Пашеньку накричал вахтер*, определяется, таким образом, сложным взаимодействием разнообразных языковых и прагматических связей, переплетающихся с фактами как личных, так и социальных отношений между участниками речевого акта и участниками речевого акта и участниками сообщаемого события. Суть предлагаемого объяснения состоит в том, чтобы выявить те принципиально разнородные явления, которые скрываются под привычным, но далеко не ясным термином "тема". Речь идет не просто об уточнении терминологии, а о том, что ссылкой на недифференцированное

⁷ Подобные примеры приводятся Янко [24, с. 31—32], которая считает, что для объяснения их необходимо обратиться к традиционному понятию темы. Мы не отрицаем, что их можно объяснить, назвав словосочетания, помещенные в начало высказывания, темой или тем, о чем далее идет речь. Такое решение проблемы, однако, грозит замкнутым кругом, которого можно избежать только при помощи независимого определения темы.

⁸ Сосредоточенность внимания говорящего на Пашеньке может также пониматься как эмпатия говорящего к Пашеньке; об эмпатии см. [28]. Отметим, что то же говорил уже Якобсон [29], объясняя вариативность в порядке слов в предложениях *Эстония соседит с Латвией* и *Латвия соседит с Эстонией* "ведущей ролью" первого актанта в этих предложениях.

понятие темы затемняется наличие и сложнейшее взаимодействие целого ряда прагматических факторов, действующих и на других уровнях языка, а это, в свою очередь, лишает молодую и еще только создающуюся теорию прагматики богатейшего материала, предоставляемого русским и другими славянскими языками.

Итак, импозиция не полярна, а скорее представляет шкалу, отражающую все сложности и тонкости человеческих отношений и настроений. Ее можно считать одним из важнейших прагматических моментов речевого поведения человека, принципиально оправдываемых субъективным характером наших отношений к содержанию высказывания, нашей способности эмпатизировать. Импозиция прагматична и тем, что проявление ее зависит от отношений между собеседниками: адресант скорее всего воздержится от импозиции в разговоре с посторонним человеком, с человеком, стоящим в социальном отношении выше его, с человеком, к которому он хотя бы временно чувствует отчуждение⁹. Импозиция четко проявляется в выборе референтных выражений в речевом поведении носителей разных языков, а также влияет и на другие языковые процессы, свойственные многим языкам, как-то: эллипсис, прономинализацию, логическое выделение и др.¹⁰

2.3. Грамматические факторы. Возможны случаи, когда порядок слов нельзя объяснить ни объективным местонахождением соответствующего референтного знания в определенном пересечении, ни импозицией. В первом высказывании может, например, выступать сразу и *его* и *и*, оба находящиеся в пересечении *С*₁ и *С*₂ (как в предложении *Я вас любил*), или же оба референта могут быть в одинаковой мере неизвестны ни адресанту, ни адресату и не входить ни в то, ни в другое множество знаний (как в предложении *Кто-то кого-то переехал*). Говорящий может также, конечно, находиться в таких отношениях с адресатом, которые исключают импозицию, несмотря на испытываемую им эмпатию к одному из участников сообщаемого события. Что же в таких случаях определяет порядок актантов в подобных высказываниях? В таких, и только в таких случаях русский язык прибегает к грамматическим категориям¹¹.

⁹ Речь идет о взрослом, культурном адресанте. Следует указать, однако, что могут быть разногласия среди взрослых культурных носителей одного и того же языка по поводу умения проявления импозиции в каждом отдельном случае, зависящие от их видения мира, настроения и темперамента. Разные коммуникативные жанры (беллетристика, фольклор, непринужденная речь, научная речь, юридический текст и т.д.) также допускают импозицию в разной степени. Отметим, что одна из характерных черт просождения, описанная Китайгородской [30], а именно употребление местоимений без antecedента, мотивируется импозицией, отражающей отсутствие у говорящего ощущения дистанции, свойственного культурному человеку. Подобное отсутствие ощущения дистанции наблюдается и у подростков ("эгоизм молодости"), и у людей культурных, но в смутном душевном состоянии или просто чрезмерно сосредоточенных на себе и своих переживаниях.

¹⁰ Эллипсис бывает как грамматического, так и прагматического характера. В предложении *Николай сказал, что придет завтра* опущение субъекта в придаточном предложении обуславливается грамматическими законами, которые действуют независимо от отношений между собеседниками (приемлемо будет и *Товарищ Петров сказал, что вернется завтра*, и *Коляка сказал, что вернется завтра*). Опущение подлежащего в признании в любви, с другой стороны, обуславливается отношениями между адресантом и адресатом и характером коммуникации: в порыве чувства и при близости отношений можно сказать *Люблю тебя*, но в официальном признании, сопутствующем формальному предложению, или в признании женщине, с которой издавна установились вежливые отношения на "вы" и на руку которой давно потерявший надежду говорящий, возможно, и не претендует, подобное опущение едва ли состоится: *Я люблю Вас (Наталью Николаевну)*, *Я люблю Вас всю жизнь*. О прагматическом характере логического выделения можно судить хотя бы по тому, что оно является супraseгментным эквивалентом порядка слов в русском языке, а также по тому, что оно нередко используется для выражения предположений говорящего о наличии или отсутствии разных видов знания у адресата в языках, где порядок слов играет преимущественно грамматическую роль; о прагматическом характере прономинализации см. в примеч. 9.

¹¹ Несмотря на подавляющее преобладание работ на Западе, в которых порядок слов во всех языках трактуется как распределение именно грамматически определяемых компонентов (например, SVO, SOV и т.п.); см., например [31].

Свидетель события, пробившийся из центра событий к тому месту, где стоят поодаль непосвященные прохожие, может сообщить им: *Кто-то кого-то переехал*, именно в том порядке: субъект, объект. Референтное знание как перескочившего, так и того, кого перескочили, не входит в состав знаний адресанта. Следовательно, оно не может и быть частью пересечения S_a и S_b . Начальное положение подлежащего в этом высказывании, как и в предложении *Я вас любил*, объясняется грамматической разницей между агенсом и пациентом. Отметим, что место предиката в предложении *Я вас любил* следует из общего правила, согласно которому в первых высказываниях предикат следует за единицами референтного знания, находящимися в пересечении S_a и S_b ¹². С этой точки зрения словорасположение имен и предиката в предложении *Кто-то кого-то переехал* представляет собой мотивированное исключение из этого правила и объясняется, в свою очередь, коммуникативным динамизмом¹³: в данном высказывании коммуникативный динамизм явно выше в информационно насыщенном глаголе, чем в неопределенных местоимениях, указывающих на его актантов.

Итак, только за неимением возможности руководствоваться различием в местонахождении единиц или прибегать к импозиции обращается говорящий в своем первом высказывании к абстракции грамматических отношений. Это принципиально существенно, так как этим выявляется прагматическая сущность порядка слов в русском языке. Анализ порядка слов в первых высказываниях подтверждает это положение.

3. Динамика первых высказываний.

Первые высказывания отличаются от первых тем, что в момент, предшествующий первому высказыванию, можно рассчитывать на местонахождение в пересечении S_a и S_b не только предикационного знания и {DEIXIS}-а, но и всего того, что было перемещено туда в результате предшествующего высказывания¹⁴. Этим, естественно, увеличивается набор знаний, имеющих достаточно объективное право (благодаря своему местонахождению в пересечении S_a и S_b) занять начальную позицию в следующем, первом высказывании. В остальном динамика первых высказываний в принципе параллельна динамике первых: первые высказывания допускают импозицию, мотивируемую сложным взаимодействием языковых и прагматических ассоциаций и зависящую также от факторов как личных, так и социальных отношений между участниками речевого акта и участниками сообщаемого события. Единицы знаний, помещенные говорящим в пересечение S_a и S_b посредством импозиции, ставят на первое место в высказывании¹⁵. Словорасположение единиц, находящихся в одном и том же пересечении, управляется грамматическими отношениями.

¹² В предложениях типа *Посадил дед репку* мы усматриваем реализацию другой системы, в которой предикат предшествует единицам референтного знания, находящимся в пересечении S_a и S_b . Если следующая за предикатом единица референтного знания находится в пересечении S_a и S_b , она бывает лишена синтагменного статуса, т.е. становится слабоакцентированной (или становится полуэнклитикой); такой порядок слов наблюдается в первых высказываниях типа *Была я вчера в кино*. Если следующая за предикатом единица знания не находится в пересечении S_a и S_b , она потенциально сохраняет свою синтагменную самостоятельность, как в предложении *Посадил дед репку*, выступающем в роли первого высказывания. Обе системы сосуществуют в современном русском языке, будучи дифференцируемы, возможно, по линии различия народной и литературной речи (подробнее см. [22, с. 284—288]); в речи носителя литературного языка эти системы представляют собой вид диглоссии (см. [32, с. 21]).

¹³ Фирбас определяет коммуникативный динамизм как способность данного элемента способствовать развитию дискурса, как то, что "толкает" его вперед (см. [33] и другие работы того же автора).

¹⁴ Или предшествующих высказываний; автор затрудняется на данной стадии сформулировать законы, управляющие "оборотом" знаний, находящихся в пересечении S и S на протяжении распространенного дискурса.

¹⁵ За исключением вопросительных местоимений, которых здесь не будем касаться (см. [22, с. 229—243]).

Обратимся к примеру. В момент, последующий первому высказыванию *А Я вчера встретила Сашу*, в пересечении S_1 и S_2 находится и референтное знание {Саша}, и пропозициональное знание X встретил Y , и спецификационное знание $X = я, Y = Саша$, не говоря уже о знаниях, предполагаемых названными единицами знания. Соответственно, если A (или B) предполагает, что эти единицы знания находятся в пересечении S_1 и S_2 и избирает одну из них для упоминания в начале следующего высказывания, то такой выбор является объективно оправданным. В качестве следующего используется высказывание *Его приглашают в Оксфордский университет*, которое опирается, таким образом, только на объективность: местоимение указывает на Сашу, референтное знание которого действительно находится в пересечении S_1 и S_2 .

Иное дело, когда говорящий продолжает словами *Его жену приглашают в Оксфордский университет*. В этом случае адресант исходит из предположения, что прагматический ассоциативный ряд референтного знания Саши и его жены вызван предыдущим высказыванием в сознании обоих собеседников; он навязывает адресату ряд {Саша, жена Саши}. На это адресат мог бы реагировать и удивленно: *Какая жена? А разве Саша женат??*, выявляя этим субъективный характер импозиции.

Импозитировать можно не только референтное знание. Рассмотрим пример импозиции целой пропозиции: *...иностранец вдруг поднялся и направился к писателям. Те поглядели на него удивленно* (М. Булгаков. Мастер и Маргарита). Казалось бы, второе предложение тут вполне синонимично варианту с другим порядком слов: *Те удивленно поглядели на него*. Булгаков тем не менее предпочел поставить обстоятельство образа действия именно в конец фразы. Предполагаем объяснить его выбор импозицией, что доказываемся следующим образом.

Начнем с того, что немаркированным в русском языке нужно считать положение обстоятельства образа действия перед глаголом: *Те громко рассмеялись, Те медленно надели перчатки* кажутся нам естественными предложениями. Заметим, однако, что в то время как в булгаковском контексте удивленно могло бы стоять и перед глаголом, внося этим лишь едва ощутимую разницу, о которой речь пойдет ниже, в двух других приведенных выше фразах, в том же контексте (т.е. в сцене встречи на Патриарших прудах, после фразы... *иностранец вдруг поднялся и направился к писателям*), наречия *громко* и *медленно* оказались бы неприемлемы в вариантах с обстоятельством образа действия на конце предложения: *...иностранец вдруг поднялся и направился к писателям. *Те рассмеялись громко / *Те надели перчатки медленно*. Те же два предложения были бы, с другой стороны, приемлемы, если бы наречие находилось в них перед глаголом. Значит, *Те удивленно поглядели на него* и *Те поглядели на него удивленно* одинаково приемлемы в данном контексте (хотя и не полностью однозначны¹⁶), в то время как *Те медленно надели перчатки* и *Те надели перчатки медленно* отличаются тем, что только варианты с причастием перед глаголом оказываются приемлемыми.

Эта разница между "глядением" и "надеванием перчаток" или "смехом" раскрывает нам поведение импозиции в непервых высказываниях. Объективно говоря, в момент, последующий высказыванию *...иностранец вдруг поднялся и направился к писателям*, в пересечении S_1 и S_2 имеется референтное знание местоимения {те}; специфированной пропозиции *Те поглядели на него* в этом пересечении объективно не содержится. Если бы автор придерживался только объективности, он написал бы *Те удивленно поглядели на него*, показывая тем, что он считает только референтное знание {те} владеющим и его и читательским вниманием в момент начала следующего предложения. Автор тем не менее позволяет себе навязать читателю пропозицию *Те поглядели на него*, импозиционно

¹⁶ Вспомним Пешковского: "...всякая перестановка (порядка слов — И.О.Т.) создает новый оттенок речи, ... чувствуется внутренняя разница, как бы ни была она тонка и мало уловима" [4].

помещая ее в пересечение S_4 и S_5 и тем оправдывая помещение обстоятельства в конец предложения. Говоря другими словами, автор обходится с пропозицией *Те поглядели на него* как с уже известной читателю и владеющей его вниманием в момент начала следующей фразы, нарушая при том объективность повествования. "Договор" между автором и читателем допускает эту степень импозиции, и автор создает некоторое единство точки зрения, союз с читателем, пользуясь своим правом импозировать.

Автор, однако, не может пользоваться правом импозиции безгранично. Дело в том, что в данном контексте читателю не так уж трудно предположить, что сидевшие на соседней скамейке литераторы поглядели на направившегося к ним иностранца. В том же контексте надевание перчаток (или смех) показались бы неоправданной реакцией на приближении иностранца. Даже если бы автору и было нужно почему-либо сообщить читателю, что после того, как иностранец направился к писателям, последние надели перчатки, он бы не смог навязать читателю пропозицию *Те надели перчатки*. Автор вынужден был бы остаться в рамках объективности, предположить, что в пересечении S_4 и S_5 имеется референтное знание местоимения (те) (а не вся пропозиция *Те надели перчатки*), и написать *Те медленно надели перчатки*. Отсюда и неприемлемость этих предложений с наречием в конце фразы.

4. Заключение.

В статье изложены основные положения теории коммуникативной компетенции (TDM), позволяющие объяснить некоторые традиционные понятия актуального членения при помощи ряда прагматических понятий, характеризующих участников речевого акта, их знания, их внимание и их отношение друг к другу и к участникам сообщаемого события. Существенную роль играет импозиция, прибегая к которой говорящий обходится с интересующими его единицами знания как с уже известными адресату и владеющими его вниманием.

Когда одна и та же категория распознается в ряде формально различающихся компонентов одной системы, эта категория может претендовать на общность. Если таким коммуникативным понятием, как импозиция, можно объяснить целый ряд языковых процессов (включая те, которые неоднократно и unsuccessfully пытались объяснить чисто формальным синтаксическим механизмом¹⁷, то участие импозиции в сложных и далеко еще не полностью освоенных законах, управляющих порядком слов (или его фонологическим коррелятом, логическим выделением) в русском языке, не должно никого смущать. Проявление той же категории в разных языках должно быть истолковано как указание на ее универсальность. И, думаю, что в языковом общении, как и во всем прочем, могло бы быть универсальнее человеческой тенденции исходить из субъективного видения мира, человеческой склонности к эгоцентризму и человеческой способности тем не менее иногда принять точку зрения другого?

¹⁷ Как пример формального синтаксического объяснения того, что скорее всего объясняется импозицией, приведем попытки целого ряда исследователей Брезнан, Гримшо, Эрнст, Ларсон, Мак Коли объяснить один факт английского языка, на который указал в 1972 г. Джекендофф [35], речь идет о допустимости варьирования порядка слов в паре *John carefully opened the window* (Джон осторожно открыл окно) и *John opened the window carefully* (Джон открыл окно осторожно) и недопустимости такого же варьирования в синонимичной им паре **John with care opened the window* и *John opened the window with care*. Заметим, что условия помещения обстоятельства образа действия в конец предложения аналогичны и в русском и в английском языке. В отличие от обстоятельства образа действия *carefully* (осторожно), необходимым условием употребления обстоятельства образа действия *with care* (с осторожностью) в английском языке является, очевидно, наличие импозиции пропозиционального знания, в результате чего *with care* не терпит немаркированного, неимпозиционного положения перед глаголом.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Mathesius V.* Zur Satzperspektive im modernen Englisch // Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen. 1929. P. 155.
2. *Weil H.* De l'ordre des mots dans les langues anciennes comparées aux langues modernes: question de grammaire générale // Recueil de travaux originaux ou traduits relatifs à la philologie et à l'histoire littéraire, Collection philologique, № 3. P., 1844.
3. *Daneš F.* Intonace a věta ve spisovné češtině. Praha, 1957.
4. *Dokulil M., Daneš F.* K tzv. významové a mluvnické stavbě věty // O vědeckém poznání soudobých jazyků. Praha, 1958.
5. *Firbas J.* Poznámky k problematice anglického slovního pořádku z hlediska aktuálního členění větného // Sborník prací filosofické fakulty brněnské university. A (5), Brno, 1956.
6. *Sgall P.* Functional sentence perspective: A generative description // Prague studies in mathematical linguistics. 2. Praha, 1967.
7. *Sgall P., Hajičová E., Panevová J.* The meaning of the sentence and its semantic and pragmatic aspects. Dordrecht; Prague, 1986.
8. *Адамец П.* Порядок слов в современном русском языке // Rozpr. Československé Akademie Věd, Řada společenských věd. 1966. 76. S. 15.
9. *Шахматов А.А.* Синтаксис русского языка. I. Л., 1925. С. 19—25.
10. *Распопов И.П.* Актуальное членение предложения. Уфа, 1961.
11. *Сиротинина О.* Порядок слов в русском языке. Саратов, 1965.
12. *Золотова Г.А.* Очерк функционального синтаксиса русского языка. М., 1973.
13. *Ковтунова И.И.* Современный русский язык. Порядок слов и актуальное членение предложения. М., 1976.
14. *Ковтунова И.И.* Русская грамматика / Отв. ред. Шведова Н.Ю., 1980.
15. *Yokoyama O.T.* Disbelief, lies and manipulations in a transactional Discourse model // Rhetoric of lying (Argumentation 2.1) / Ed. Parret H. 1988.
16. *Yokoyama O.T.* Responding with questions in colloquial Russian // Harvard studies in Slavic linguistics / Ed. Yokoyama O.T. Cambridge, 1990.
17. *Йокояма О.К.* Анализ русских сочинительных союзов // Логический анализ языка: Противоречивость и аномальность текста / Отв. ред. Арутюнова Н.Д. М., 1990.
18. *Parrott L.* Argumentative *že* in discourse // Harvard studies in Slavic linguistics / Ed. Yokoyama O.T. Cambridge, 1990.
19. *Zaitseva V.* Conditions for the presence of the dative NP in Russian impersonal constructions // Harvard studies in Slavic linguistics / Ed. Yokoyama O.T. Cambridge, 1990.
20. *Zaitseva V.* Pragmatic features at the morphosyntactic level: the speaker's point of view expressed by verbal prefixes and some syntactic structures. Harvard University, 1991.
21. *Yokoyama O.T.* Zolženko's intonation // Studies in poetics: A volume to commemorate Krystyna Pomorska / Ed. Halle M., Semeka-Pankratov E. Los Angeles, 1992.
22. *Yokoyama O.T.* Discourse and word order. Amsterdam, 1986.
23. *Голубева-Монаткина Н.И.* // ВЯ. 1991. № 2. Реч. на кн.: Yokoyama O.T. Discourse and word order.
24. *Янко Т.Е.* Информационная модель диалога // НТИ. Сер. 2: Информационные процессы и системы. № 12. М., 1990.
25. *Mignot X.* BSLP. 1988. Rec.: Yokoyama O.T. Discourse and word order.
26. *Růžička R.* // Kratylós. 1992. Rec.: Yokoyama O.T. Discourse and word order.
27. *Успенский Б.А.* Поэтика композиции. М., 1970.
28. *Kuno S., Kaburaki E.* Empathy and syntax // LIn. 1977. 8.
29. *Jakobson R.* Beitrag zur allgemeinen Kasuslehre: Gesamtbedeutungen der russischen Kasus // TCLP. 1936. VI.
30. *Китаigorodская М.В.* Наблюдения над построением устного просторечного текста // Разновидности городской устной речи / Отв. ред. Шмелев Д.Н., Земская Е.А. М., 1988.
31. *Greenberg J.H.* Some universals of grammar with particular reference to the order of meaningful elements // Universals of language / Ed. Greenberg J.H. Cambridge, 1963.
32. *Земская Е.А., Китаigorodская М.В., Ширяев Е.Н.* Русская разговорная речь. Общие вопросы, словообразование, синтаксис. М., 1981.
33. *Firbas J.* On the concept of communicative dynamism in the theory of functional sentence perspective // Sborník prací filosofické fakulty brněnské university. A (19). Brno, 1971.
34. *Пешиковский А.М.* Русский синтаксис в научном освещении. М., 1914. С. 69.
35. *Jackendoff R.S.* Semantic interpretation in generative grammar. Cambridge, 1972.

© 1992 г. КАРАВАНОВ А.А.

К ВОПРОСУ О ХАРАКТЕРЕ КАТЕГОРИИ ПРЕДЕЛЬНОСТИ ДРЕВНЕРУССКОГО ГЛАГОЛА

Согласно традиции, сложившейся в отечественной аспектологии, категория предельности/непредельности (П/НП) трактуется как универсальная семантическая категория, отражающая онтологические характеристики глагольного действия и не располагающая системой стандартных грамматических средств для ее выражения. Тезис об универсальности данной категории означает, во-первых, что эта категория охватывает всю глагольную лексику русского языка [каждый русский глагол может быть охарактеризован либо как предельный, либо как непредельный (либо как предельный в одних значениях и непредельный — в других)], во-вторых, что категория П/НП существует, вероятно, во всех языках (что естественно, поскольку П/НП есть в первую очередь качество самих действий и состояний и лишь как отражение этого внелингвистического качества является принадлежностью глагольной семантики). Такого взгляда на категорию П/НП придерживаются Г.Н. Воронцова [1], И.П. Иванова [2], А.А. Холодович [3], Ю.С. Маслов [4], А.В. Бондарко [5], М.А. Шелякин [6] и другие ученые.

С другой стороны, в отечественной лингвистике высказывалась точка зрения, согласно которой категория П/НП может в отдельных языках обладать системой формализованных средств для выражения предельной семантики, хотя такая система является не до конца последовательной и устойчивой. Указанная концепция П/НП изложена в статье Ю.С. Маслова о готском глаголе, в которой автор отмечает, что "специфика предельности/непредельности в готском заключалась... в том, что здесь существовал *абстрактный показатель предельности* (приставка *ga-*), какого в современных германских языках мы не находим" [7, с. 224]. Эта же концепция П/НП представлена в докладе Ю.С. Маслова, посвященном роли перфективации и имперфективации в процессе возникновения славянского глагольного вида: "так называемая перфективация, т.е., точнее говоря, соединение глагольных основ с приставками или с назальным суффиксом, создавало лишь *предпосылки* для будущего развития вида, именно, — ту категорию предельности, из позднейшего расщепления которой вышел несовершенный и затем совершенный вид" [8, с. 38].

Традицию Ю.С. Маслова развивает В.Б. Силина. В своей докторской диссертации она отводит большое место рассмотрению категории П/НП в др.-русс. языке. Автор диссертации отмечает, что "последовательное выражение и вместе с тем — категориальный статус П/НП получила на словообразовательном уровне в период развития приставочного глагольного словообразования" [9, с. 8]. В статье, посвященной проблеме семантического содержания др.-русс. категории П/НП и его отражения в формах аориста, В.Б. Силина показывает, что в др.-русс. языке предельность "...выступала как существенная часть семантики такой формы прошедшего времени, как аорист... Таким образом, можно заключить,

что в др.-русс. языке действовала тенденция к грамматикализации лексико-семантической категории предельности/непредельности". Однако, как отмечает далее автор статьи, уже в др.-русс. языке формы аориста бесприставочных глаголов "...уступали место приставочным образованиям, которые выражали семантику предельности на словообразовательном уровне" [10, с. 164—165].

На указанной статье В.Б. Силиной следует остановиться особо, поскольку в ней высказывается ряд новых положений, опровергающих традиционный взгляд на др.-русс. аорист как на средство передачи недифференцированного прошедшего, констатирующего только самый факт совершения действия и не выражающего никаких его специальных характеристик (в этой традиционной интерпретации др.-русс. аорист предстает как своего рода "простое прошедшее", типологически аналогичное, скажем, простому прошедшему современного английского языка). Развивая идеи некоторых лингвистов, также отвергающих традиционный взгляд на др.-русс. аорист как на безликое в аспектуальном отношении прошедшее (Е.Н. Этерлей [11], В.В. Боролич [12], Г. Кельн [13]), В.Б. Силина показывает, что др.-русс. аорист был семантически маркированным прошедшим временем, специализировавшимся на выражении предельных компонентов значения.

Обратясь к двум вышеупомянутым концепциям предельности, мы можем заметить, что между ними нет противоречия. Резюмировать содержание обеих концепций можно таким образом: категория П/НП представляет собой языковую универсалию; в то же время в отдельных языках она может получать возможность непосредственного формального выражения (например, посредством приставок, назального суффикса или флексий аориста в др.-русс.), хотя это выражение не является регулярным, в связи с чем категория П/НП "не дорастает" до ранга грамматической категории.

Данная статья посвящена рассмотрению словообразовательного и грамматического аспектов др.-русс. категории П/НП в той ее части, которая касается процесса приставочной перфективации. При исследовании этого процесса встанут две основные проблемы.

1. Проблема семантики др.-русс. приставок, которая, в свою очередь, неразрывно связана с такой проблемой, как степень спаянности глагола с приставкой. Необходимо выяснить, в какой степени глагол, формируемый присоединением префикса, представляет собой по отношению к исходному глаголу новую лексему. Иными словами, не является ли он в некоторых случаях лишь вариантом, семантическим дублетом исходного глагола. Если это так, то приставку нельзя признать ни словообразовательным, ни морфологическим формантом: возможно, что в ряде случаев она выступает только как факультативное средство актуализации предельной семантики в предельном контексте; такая актуализация, в свою очередь, может объясняться действием закона семантического согласования.

2. Видовое значение приставочно маркированных предельных глаголов. Речь идет о том, всегда ли в др.-русс. языке в результате присоединения приставки к глаголу, не содержащему имперфективного суффикса, формируется глагол совершенного вида (СВ).

Рассмотрим подробно каждую из указанных проблем.

Проблема степени спаянности глагола с приставкой встает в связи с широким распространением в др.-русс. языке явления семантической дублетности приставочных глаголов. Эта дублетность носит двоякий характер:

- а) семантическими дублетами являются приставочные глаголы, произведенные от общего для них исходного глагола (например: *покрасти-украсти*);
- б) семантическими дублетами являются исходный и производный от него приставочный глагол (например: *красти-обокрасти*).

Тот факт, что многие др.-русс. приставочные глаголы являются семантическими дублетами, отмечался в науке неоднократно. Так, Е.А. Бахмутова говорит: "...по нашему мнению, какое бы то ни было лексическое различие отсут-

ствует между глаголами *сдѣяться* — *подеяться*, *своровать* — *поворовать*, *похоронить* — *схоронить* — *охоронить*" [14, с. 15] И.А. Воробьева к числу семантических дублетов относит пары *выпросити* и *въспросити*, *въследовати* и *последовати*, *сътворити* и *вътворити*, *въжилити* и *ожилити* и мн.др. [15, с. 8—10]. Особенно "эффектными" выглядят случаи, когда приставочные семантические дублеты употреблены в одной фразе. Например: "[Т]огда же Мстиславу Изяславичю помож(е) б(о)гъ на половци — самѣх прогна, и вежи их *взя*, и скоты, и кони их *зая*..." [16, с. 125]¹; "И *взяша* рускии кн(я)зи полоку много, и стада их *заяша*..." [16, с. 161] и т.д.

Зачем носитель др.-русс. языка употребляет в одной фразе глаголы с разными приставками? Можно предположить, что он это делает, чтобы избежать тавтологии. Однако подобное употребление может встречаться и в достаточно удаленных друг от друга фразах (но в пределах одного листа рукописи): "И единою по обычаю наставшу вечеру, *поча* кланятис(я)..."²; "И *введоша* въ кѣлеищу, и посадиша и, и *начаша* садитися около ег(о)..." [16, с. 79] и т.д.

Семантическая дублетность глаголов с разными приставками, особенно ярко проявляющаяся в случаях тесного соседства этих глаголов в контексте, составляла, как уже отмечалось, только одну из сторон проблемы степени спаянности др.-русс. глагола с приставкой. Другая, еще более характерная ее сторона, состояла в том, что семантическими дублетами в одном контексте могли также оказаться исходный глагол и производный от него приставочный: "И *пожгоша* домъ святыя владычицѣ богородици; и пришедше къ церкви и *жгоша* двери и влѣзше въ притворъ у гроба Феодосиева... Моск. лет., 17.к.XV в." [17]²; "И раздѣлишася надвое: половина ихъ *поиде* къ погребу, а другая ихъ *иде* по мосту. Ник. лет. IX. 95. 1068 г." [17]; "Сади на *послѣбъниимъ мѣстѣ*, да *егда придетъ зъвавши* тя, речеть ти: друже, *посади* выше... Лук. XIV. 10. Остр. ев." [18, III, стлб. 1283]; «И рече имъ Олегъ: "Не *дайте* козаромъ, но мнѣ *дайте*. И *вѣдаша* Ольгови по шлягу..." [19, с. 38, 40]; "...и *вѣдасть* печенѣжский князь Прѣтичу конь, саблю, стрѣлы. Онъ же *дасть* ему бронѣ, шить, мечъ" [19, с. 80]; "А си бози что *сѣлаша*? Сами *оѣлани* суть" [16, с. 96]; "...он же, не дошед их, *вратис(я)* за ся"; "...и ходиша до Олешья, и не обрѣтше, *възвратишас(я)* за ся" [16, с. 125]; "Андрѣви же гнавшу ратные до полковъ их, и *вратис(я)* неврежень, сохраненъ б(о)г(о)мъ и м(о)л(и)твою родител(ь) своих. [С]треляющимъ(я) имъ до вечера, *возвратишас(я)* опять..." [16, с. 122]; "Изяслав же Д(а)в(ы)д(о)вич и Изяслав Андрѣвич, слышавше *възвратишас(я)* их, иде Изяслав въ Вятичи, а Ондрѣвич Изяславъ *вратис(я)* ко отцю своему к Ростову" [16, с. 130]; "...Волховъ... *втечет* въ озеро великое Невъ... въ По//ить море, в неж(е) *течетъ* Днѣпръ река" [16, с. 12]; "...из него ж(е) озера *потечетъ* Волховъ..."; "Днѣпръ бо *течетъ* из Вол(о)ковьскаг(о) лѣса..." [16, с. 12]; "Аще бо бы перевозникъ Кыи, то не бы ходил ко Ц(а)рюграду, но сей княж(а)ше в роду своем, и проходившио ему ко ц(а)рю, не *свѣмы*, но токмо о семъ *вѣмы*, якож(е) сказуютъ, яко велику ч(е)сть приагъ ес(ть) от царя..." [16, с. 13]; "...Михалко с Москвы *поеха* с братомъ со Всеволод(о)мъ к Володимирию, а Ярополкъ инѣмъ путемъ *еха* на Мо//скву" [16, с. 141]; «"Кн(я)же мой, се б(о)гъ умножаетъ братью, а мѣтце мало; да бы ны *дал* гору ту, яже естъ под печерою". Изяслав же слышавъ радъ быс(ть), посла мужъ свои и *вда* имъ гору ту" [16, с. 68]; "И *взяша* град, а кн(я)зя Ярополка *яша*" [16, с. 147]; «Яне же повелѣ бити я и *поторгати* брадѣ ею. Сим же бѣемымъ и брадѣ *торганъ* роскѣпомъ, // и реч(е) има Янь: "Что вамъ б(о)зи молвять?"»

¹ Здесь и далее курсив в примерах наш. — К.А.

² Все др.-русс. примеры, приводимые со ссылкой на данный указатель (см [17]), взяты нами из Картотеки Словаря русского языка XI—XVII вв. Глубоко признателен Г.А. Богатовой и Л.Ю. Астахиной за любезно предоставленную возможность пользоваться материалами данной Картотеки.

[16, с. 75]; "Бѣси бо не *въдѣють* мысли ч(е)л(овѣ)ч(е)ския..."; "Б(о)гъ же единъ *сѣбѣ* помышления ч(е)л(овѣ)ч(е)ския..." [16, с. 75]; «Глѣбъ же, примъ топоръ под skutомъ, и прииде к волхву, и реч(е) ему; "То *въси* ли, что хочеть утро быты или до вечера? Он же реч(е): "Провѣде вся» [16, с. 76] и т.д.

Употребление подобных семантических дублетов в одной или в соседних фразах нельзя объяснить только стремлением избежать тавтологии. Ср. следующие примеры употребления исходного и приставочного семантических дублетов в удаленных друг от друга фразах: "Володимир же *скочи* с коня и покры и корзномъ..."; "Михаль же, видѣвъ то, *сскочи* с коня, хотя помочи Володимиру" [16, с. 115]; "Преставис(я) кн(я)зь Рязаньскіи Игорьъ, с(ы)нъ Глѣбовъ; *положень быс(тъ)* у с(вя)тую м(у)ч(е)н(и)ку Бориса и Глѣба" [16, с. 158]; "Умре же м(ѣ)с(я)на феврал(я) 3 д(е)нь и тамо *ложень быс(тъ)* въ ц(е)ркви св(я)тыя Б(о)город(и)ца" [16, с. 71]; "...и повелѣ ша Ярополку ити противу с полком своим и усрѣтше *битж(я)* с ним..." [16, с. 141]; "...Михалку не доѣхавшу Володимира со брат(о)мъ Всеволод(о)мъ за 5 верстъ, *срѣте* и Мьстиславъ со своимъ друж(и)ною изнезапа..." [16, с. 141—142]; "Того же лѣта *народился* у Всеволода сынъ..."; "В то же лѣто *родися* Всеволода сынъ..." [16, с. 157]; "[И] *услышавъ* то великий кн(я)зь Всеволод... и печалень *быс(тъ)* велми..." [16, с. 162]; "[С]лышав же Всеволод полонену жену и с детьми, и бояръ, и имѣние взято, печалень *быс(тъ)* велми" [16, с. 155]; "...и поѣхаша по д(о)розе по них, и *усретоша* я с полономъ..."; "...и поѣхаша по д(о)розе их, и *сретоша* я..." [16, с. 135] и т.д.

Поскольку во всех приведенных примерах представлены случаи параллельного употребления приставочного и бесприставочного глаголов, полагаем, что они могут являться критерием для суждения о категории предельности, выражаемой приставками. Дело в том, что обращение к фактам употребления приставочного глагола без соотнесения их с фактами параллельного употребления исходного бесприставочного глагола не могло бы являться серьезным основанием для суждений о приставочно маркированной категории предельности, так как в каждом случае можно было бы заподозрить, что приставка уже достаточно тесно слита с основой и является ее составной частью. Возможность же параллельного употребления бесприставочного глагола является, напротив, гарантией того, что приставка еще не спаяна тесно с основой и представляет собой не словообразовательную морфему, а специфический предельный формант, являющийся чем-то средним между словообразовательной морфемой и морфологическим аффиксом, что как раз соответствует пограничному положению категории предельности между областью словообразования и областью морфологии (см. [7]).

Как показал анализ приведенных случаев параллельного употребления приставочного и бесприставочного глаголов, формы, в которых предельный глагол факультативно маркируется приставкой, можно разделить на две группы:

1) формы, выражающие категориальную предельную семантику [аорист, простое прошедшее СВ, причастие прошедшего времени СВ, значением которых может быть "результативность", "темпоральная ограничительность", "таксис" ("цель однократных претеритальных действий"); аспектуальные значения этих форм достаточно близки, вследствие чего, кстати, переписчики нередко заменяли их друг на друга]. Носителем семантики предельности у названных форм является в первую очередь граммема, а не лексема;

2) формы, которые сами по себе либо не выражают предельной семантики (настоящее время, инфинитив), либо выражают ее опосредованно (императив, у которого предельное значение ("перформативность" — см. ниже) является не категориальным компонентом семантики, а скорее имплицитным элементом значения, своего рода логическим следствием его категориальной семантики]. Носителем предельного значения у приставочно маркированных глаголов в формах настоящего времени и инфинитива является не граммема, а лексема

[так, в предложениях "...из него ж(е) озера *потечет* Волховъ..." и "...Волховъ... *отецет* въ озеро великое Невъ..." представлено значение пространственной предельности; в предложениях "Б(ог)ъ же единъ *сѣсть* помышления ч(е)л(о-вѣ)ч(е)ския..." и "...проходившую ему ко ц(а)рю, не *сѣмы*...", а также во фразе с формой инфинитива "Яне же повелѣ бити я и *поторгати* брадѣю" выражено значение результивной предельности. Таким образом, во всех этих пяти примерах предельность есть компонент лексической семантики глагола].

В связи с приведенными здесь примерами употребления префиксального глагола без суффикса имперфективизации в форме презента (*потечет*, *отецет*, *сѣсть*, *сѣмы*) укажем, что подобное употребление невозможно для глаголов, у которых семантика исходной основы не может быть истолкована как предельная. Именно поэтому, как нам кажется, приставка никогда не присоединяется к основам стальных глаголов в форме настоящего времени. Так, анализ материалов Картотеки Словаря русского языка XI—XVII вв. показал, что приставкам не свойственно сочетаться с формой настоящего времени таких типично стальных глаголов, как *лежати*, *сидети*, *стояти*.

Правда, нам встретился единственный пример, в котором, как может показаться, приставка соединяется с глаголом *стояти* в форме настоящего времени: "Не во далечемъ — далечѣ во чистомъ полѣ, / Что еще того подале во раздолѣ, / Стоить-то, постоитъ бѣлая березонька, / Бѣлая, сама кудреватая. ВП, т. 5, с. 42" [17].

Однако этот пример не показателен, поскольку фактически здесь представлена не форма *постоит*, а единая форма *стоит-постоит*, явно образованная по аналогии с такими формами, как *ждет-пождет*, для которых возможность соединения приставки с формой настоящего времени была обусловлена результивной семантикой основы. Вероятно, формы типа *жду-пожду*, *слышу-послышу*, *глядь-поглядь*, *тянут-потянут* и под., пережиточно сохраняющиеся в современном русском языке, это — все, что осталось от того первообраза категории предельности (в плане ее приставочного выражения), который она имела в древнерусском: когда-то, когда употребление префикса было еще факультативным, эта факультативность была использована для создания экспрессивной формы настоящего времени, выразительность которой достигалась благодаря эффекту контраста при одновременном употреблении приставочной и бесприставочной форм.

Формы типа *жду-пожду*, представляющие собой гиперболизированный факт соседства приставочного и бесприставочного глаголов [не только в рамках одного предложения, как в приводившихся ранее примерах, но и фактически в рамках одной (!) формы] ярко характеризуют именно то состояние др.-русс. категории предельности, которое современным русским языком уже утрачено.

Важно отметить, что случаи употребления неимперфективированных приставочных глаголов в форме настоящего времени (см. выше примеры с глаголами *потѣчи*, *вѣтѣчи* и *сѣдѣти*) в др.-русс. языке достаточно редки. В современном русском такое употребление невозможно, поскольку в нем указанные глаголы могут быть только СВ, а СВ несовместим со значением настоящего времени. В.Б. Силина, анализируя примеры, подобные приведенным выше, указывает, что приставочный глагол в них еще не является глаголом СВ, а представляет собой глагол общего вида. В.Б. Силина свидетельствует, что уже в XI—XII вв. "...подобные примеры немногочисленны. Позднее такие случаи совершенно исчезают" [20, с. 229—230].

Обратимся к предельному значению императива, у которого, как уже отмечалось выше, предельная семантика является имплицитным компонентом категориального значения: императив фактически является перформативом, пред-

ставляя собой слово как действие (о перформативе см. [21]), как целостный акт действия³.

В приводившемся выше примере в рамках одной фразы соседствуют императивы *сади* и *посади* ("Сади на послѣднимъ мѣстѣ, да егда придетъ зъывавиѣта, речеть ти: друже, посади выше..."). Поскольку многие др.-русск. глаголы перфективизировались приставкой лишь в определенном контексте и нерегулярно (о чем свидетельствуют все приводившиеся выше примеры), естественно предположить, что эти приставочные глаголы не составляли еще отдельных лексем и их образование могло проходить по отдельным формам неравномерно. И в этом отношении форма императива особенно показательна, поскольку специфика императива состоит в его достаточно большой автономии как в парадигматическом плане (императив — особое, ирреальное наклонение), так и в синтагматическом плане (императив, фактически являющийся перформативом, может употребляться без языкового контекста, автономно). Такая "оторванность" формы императива от лексемы в целом приводит к тому, что в ряде случаев в форме императива фигурирует лексема, для которой императив является ... ее единственной формой!

Вероятно, именно поэтому в современном русском языке имеются императивы несуществующих глаголов, например: *Постой!* ("стой, подожди") — не путать с глаголом *постоять* ("стоять некоторое время"). Семантически *Постой!* не вполне тождественно *Стой!* [ср. невозможность адекватной замены *Стой!* на *Постой!* в предложении *Стой, стрелять буду!* И это как раз показывает, что оформление глагола приставкой проходило не по лексеме в целом (т.е. не по всем формам одновременно), а неравномерно по разным формам: в противном случае приставочный императив не оторвался бы от своей исходной лексемы в процессе развития языка]. Ср. также следующие оторвавшиеся от парадигмы императивы: *Посуди сам!* ("суди сам") — не путать с глаголом *посудить* ("судить некоторое время"); *Побойся бога!* ("бойся бога") — не путать с глаголом *побояться* ("испугаться" либо "бояться некоторое время"); *Поберегись!* ("берегись") — не путать с глаголом *побережись* ("бережись немного, слегка") и т.д. Ср. также отсутствие инфинитива **поезжать* при императиве *Поезжай!* (ставшем супплетивным императивом глагола *поехать*), отсутствие инфинитива **полезать* при императиве *Полезай!* (ставшем супплетивным императивом глагола *полезть*) и отсутствие инфинитива **погодить* при императиве *Погоди!* Наличие в современном русском языке подобных императивов несуществующих глаголов напоминает о том периоде развития языка, когда приставка не являлась еще частью лексемы, а представляла собой лишь факультативный формант предельности.

В качестве примера др.-русск. формы с преф. *по-*, представленным только в императиве, можно привести форму *Поприся!* ("прими, будь другом"): "Поприся ми!" [19, с. 90]. В словаре И.И. Срезневского зафиксирован глагол "*Поприсяти, поприся* — оказать приязнь" [18, II, стлб. 1196], причем приводится именно этот пример из "Повести временных лет" (ПВЛ). Однако данный пример оказывается у И.И. Срезневского единственным (в Картоотеке Словаря русского языка XI—XVII вв. представлен также этот единственный пример,

³ Аналогично актуализации перформативной семантики в форме др.-русск. императива можно усмотреть в современных славянских языках в явлении коинциденции, описанном Э. Кошмидером. Речь идет об употреблении СВ в настоящем времени в предложениях типа *Попрошу ваши билеты!*, где глагол, как и в форме императива, выражает побуждение, требование, приказ. Интересно, что СВ здесь употреблен как бы в актуальном настоящем, хотя такое употребление считается в современных славянских языках невозможным. Корректность подобных предложений обеспечена тем, что перформативное значение зачеркивает семантику актуального настоящего (вследствие чего указанные предложения не могут являться ответом на вопрос: "Что это ты делаешь?"). Э. Кошмидер дает следующее определение коинциденции: "Под коинциденцией я подразумеваю совпадение слова и действия, но отнюдь не в смысле простой одновременности, а в том смысле, что слово, которое произносится, как раз и есть само обозначаемое действие" [22, с. 163].

правда, в трехкратном повторении — по Лаврентьевскому, Радзивилловскому и Переяславскому спискам); поэтому, исходя из того, что глагол *поприяти* в единственном отмеченном употреблении фигурирует в форме императива, мы можем предположить, что лексемы *поприяти*, возможно, не существовало в др.-русс. языке (приведенный пример может рассматриваться как факт спонтанно-речевого творчества говорящего).

То же самое, вероятно, можно сказать и о форме императива *порасточи*, употребленной в следующей фразе из ПВЛ: "Ц(а)рю, се идут к тебе варязи, не мози их держати въ граде, оли то створять ти зло, яко и здѣ, *порасточи* я розно, а сѣмо не пушаи ни единого" [16, с. 39]⁴. Интересно, что глагол *расточити* употреблен в том же тексте еще несколько раз, причем — в предельных контекстах, однако во всех этих случаях предельность префиксом *по-* не маркирована: "Разгевас(я) [так в рук. — К.А.] б(ог)ъ на о(т)ци наши, и *расточи* ны по странам".... "То тако вы инѣх учите, а сами отверже ни от б(ог)а и расточени. Аще бы б(ог)ъ любилъ вас и закон вашъ, не бы есте *расточени* по чюжим землямъ" [16, с. 41]; "...и посла на ны рмяны, и град их расбиша, а сами *расточиша* по странам..." [16, с. 42].

Таким образом, мы не должны исключать возможности того, что в др.-русс. языке не было еще глагола *порасточити* как отдельной лексемы. Кстати, появление приставочных глаголов, представленных в единственной форме, было возможно не только в форме императива. Для подтверждения сказанного обратимся к следующему примеру из словаря И.И. Срезневского: *Попоити, попоидъ* — отойти недалеко, поотойти: — Поперегъ болотца попошедъ выкопаны двѣ ямы. Разѣѣж. 1554 г." [18, II, стлб. 1195]. Полагаем, что лексемы *попоити* вообще не существовало (в Картотеке Словаря русского языка XI—XVII вв. она не зафиксирована); что касается формы *попошедъ*, то префикс *по-* здесь, очевидно, дублирует предельную семантику причастия прошедшего времени *пошедъ*. Вероятно, носитель языка прибег в этом случае к гиперкоррекции: поскольку указанное причастие было книжной формой, не свойственной живой речи, носитель языка мог употребить приставку для того, чтобы выразить предельную семантику более привычным и естественным для него способом.

Обратимся вновь к императиву и приведем следующий пример, иллюстрирующий употребление префикса *по-* в императиве для актуализации перформативной семантики: "*Пошли* ты муж(а) своег(о) ко свату своему, а я *сю* своег(о) муж(а) ко о(т)цю и г(осподи)ну, великому кн(я)зю Всеволоду" [16, с. 160]. Поскольку форма *сю* имеет здесь значение будущего времени, а глаголы СВ в значении будущего времени используются в этот период уже достаточно часто, естественно было бы ожидать в этом предложении употребления приставочной формы *пошлю*. Однако носитель др.-русс. языка, вероятно, считает, что важнее употребить префикс *по-* в императиве, чем для выражения значения будущего времени (возможно, таким способом он стремится избежать тавтологии)⁵.

Подводя итог рассмотрению фактов употребления префикса для актуализации предельной семантики в случаях, когда предельность не составляла категориального значения формы (в настоящем времени, в императиве), заметим, что в

⁴ Предполагая, что лексемы *порасточити* не существовало в древнерусском, мы должны исключить возможность существования в др.-русс. период распределительного и смягчительного способов глагольного действия (СГД), представителем которых является современный русский глагол *порасточить*. Данное предположение можно считать правдоподобным, если принять во внимание статьи П.С. Сягалова, в которых показано, что окончательное оформление приставочных СГД — явление сравнительно позднее [23—24].

⁵ Кстати, отрыв формы императива, особым образом оформленной, от остальной парадигмы глагола наблюдается не только в др.-русс. языке. В отдельных случаях сходное явление имеет место в современном английском. Так, глагол *shut* ("закрывать") при соединении с постпозитивным наречием *up* образует глагол *shut up* ("замолчать, заткнуться"), который, однако, в указанном значении употребляется только в форме императива и невозможен в реальном наклонении.

современном русском языке такое употребление уже невозможно (даже в др.-русс. подобные случаи были редки и носили частный характер: "пространственная предельность" объяснялась значением префикса, "результативность" — значением основы, а "перформативность" представляла собой своего рода логическое следствие, вытекающее из семантики императива). На протяжении развития русского языка значение предельности все более перекрывалось видом, становясь категориальным (каким оно и было уже в др.-русс. период у аориста, представлявшего собой грамматическую форму — в отличие от приставочных глаголов, многие из которых в этот период все же больше напоминали словообразовательные дериваты, нежели грамматическую форму глагола). Приставочная категория предельности все более теряла свою автономию от категории вида, все более поглощалась ею (способствуя тем самым ее усилению).

Обратимся теперь ко второй из сформулированных в начале статьи проблем — проблеме видового значения предельных (приставочно маркированных) др.-русс. глаголов. Поскольку категория вида в др.-русс. языке не была еще до конца сформирована, можно предположить, что употребление приставочных неимперфективированных глаголов в контексте актуального настоящего не было в др.-русс. языке невозможным. Естественно, что в этом случае указанные глаголы еще нельзя признать глаголами СВ: их можно назвать глаголами общего вида, как это делает В.Б. Силина в отношении приводимых ею глаголов, некоторые из которых представлены как раз в контексте актуального настоящего (например: "о велие чюдо страхъ бо мя великъ *одържитъ* братис о семь еже вы хошю съказати ЧудН XII, 68 в" и др. [20, с. 194]. В Радзивиловском списке ПВЛ как минимум три раза глаголы указанного типа употреблены в контексте актуального настоящего: «И вѣстав заутра, и реч(е) к сущим с нимъ учеником: "Видите ли горы сия? Яко на сих горахъ *въсияетъ* бл(а)г(о)д(а)ть б(о)жьа"» [16, с. 12]; "По сем же, въземьше Глѣба въ рацѣ каменѣ, вѣставиша на сани, емше за ужа, повезоша. И яко быша въ дверехъ, ста рака, не *поидуще*" [16, с. 76]; "Азь же, грѣшныи твои рабъ и учникъ, *недоумѣю*, чимъ похвалити добраго и твердѣраго (так в рук. — К.А.) житѣя и въздержанѣя" [16, с. 86].

На первый взгляд, три случая для такого большого текста, как ПВЛ, факт не доказанный. Однако надо принять во внимание, что сами контексты актуального настоящего в ПВЛ достаточно редки. А исходя из этого, вероятно, следует признать, что употребление приставочного неимперфективированного глагола в контексте актуального настоящего является не таким уж редким исключением. Более того, в отдельных случаях мы встречаем приставочные неимперфективированные глаголы в контексте актуального настоящего в гораздо более поздних (старорусских) текстах, например: "Что же *послышию*? Поликарпъ изнеможе, болѣзнь же необычна, но отъ сомнения духа... Евфр. Отразит. пис., 1699 г. 57" [17]. Ср. также следующий пример из произведения устного народного творчества: "Бѣдетъ мимо Соловьиное помѣстѣе: / *Увидятъ* Соловьиныя дѣтушки, / Смотрятъ въ окошечко косявчѣто, / *Сами оны востроговорятъ* таково слово: / Нашѣ-то батюшка чужаго мужика везетъ. Рыбников, I. 48" [17].

Наконец, мы можем указать несколько приставочных глаголов без суффикса имперфективации, которые даже в современном русском языке все еще могут употребляться в значении актуального настоящего. Речь идет о глаголах *приемлю* (*приемлешь* и т.д. — нет инфинитива), *внемлю* (*внемлешь* и т.д. — инфинитив *вняти*), *объемлю* (*объемлешь* и т.д. — инфинитив *объять*). Например: "Я же говорю с тобой — ты *внемлешь* или *нет*?" (устная речь). Эти глаголы являются двувидовыми, однако "теоретически" они должны были бы быть в современном русском языке глаголами только СВ, как практически все современные русские приставочные глаголы без суффикса имперфективации. Тот факт, что приставочные глаголы без имперфективного суффикса не являются глаголами СВ (причем — в современном русском языке, где категория вида уже полностью сформировалась!), опровергает известный тезис, согласно которому в др.-русс.

языке присоединение приставки к основе без суффикса имперфективации обязательно переводило глагол в СВ [25]. Возможность употребления приставочного неимперфективированного глагола в значении актуального настоящего — даже в современном русском — можно рассматривать как аргумент в подтверждение концепции В.Б. Силиной, согласно которой др.-русск. приставочные глаголы, произведенные от неимперфективированных основ, могли быть общего вида (а не только СВ).

Подведем итоги. В др.-русск. языке категория предельности выступала еще как в значительной степени автономная от категории вида. Одним из средств формального выражения др.-русск. категории предельности служили приставки. В словообразовательном плане яркой особенностью др.-русск. категории предельности являлось отсутствие в ряде случаев прочной спаянности приставки с основой, что выражалось прежде всего в возможности параллельного употребления одного и того же глагола в приставочном и бесприставочном вариантах. В грамматическом плане характерная черта др.-русск. категории предельности состояла в возможности употребления приставочного неимперфективированного глагола в контексте актуального настоящего, из чего вытекает, что не всякий др.-русск. приставочный глагол без суффикса имперфективации следует считать глаголом СВ (хотя в целом такие случаи немногочисленны).

Правдоподобным выглядит предположение, согласно которому формирование приставочных производных глаголов проходило по формам неравномерно. Это необходимо учитывать при составлении словарей др.-русск. языка: не исключено, что некоторых приставочных глаголов, встречающихся в др.-русск. текстах, никогда не существовало как отдельных лексем (либо они какое-то время существовали в единственной форме — например, в форме императива).

Наконец, наблюдения над др.-русск. категорией предельности (приставочно маркированной) подводят и к важному теоретическому выводу: следует допустить, что образование глагольных лексем могло происходить по формам неравномерно: так, в ряде случаев, как нам кажется, имеет место некоторый "отрыв" формы др.-русск. императива, маркированной префиксом *no-*, от остальной парадигмы глагола⁶.

Таковы некоторые черты др.-русск. категории предельности. Конечно, наши выводы в значительной степени являются гипотетическими, поскольку для получения более достоверных данных о др.-русск. категории предельности следовало бы провести тестирование др.-русск. информантов (а эта задача, к сожалению, невыполнима). В связи с этим необходимо дальнейшее исследование категории предельности с привлечением большого числа др.-русск. источников⁷.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Воронцова Г.Н. О лексическом характере глагола в английском языке // ИЯШ. 1948. № 1.
2. Иванова И.П. К вопросу о типах грамматического значения // Вестн. ЛГУ. Сер. истории, языка и литературы. 1956. Вып. 1. № 2.
3. Холодович А.А. Опыт теории подклассов // Холодович А.А. Проблемы грамматической теории. Л., 1979.
4. Маслов Ю.С. Отграничение вида от прочих элементов аспектуальности. Вид, аспектуальные классы и подклассы // Маслов Ю.С. Очерки аспектологии. Л., 1984. С. 8—15.

⁶ К явлениям аналогичного порядка можно отнести также следующие: а) тенденцию к дополнительному распределению форм аориста и имперфекта в сфере др.-русск. приставочных глаголов, вовлекавших в видовую оппозицию (отмечена В.Б. Силиной [10, с. 157—158]); б) возникновение при исходном глаголе производных семантических дублетов с имперфективным суффиксом — только в форме настоящего времени (также отмечено В.Б. Силиной [20, с. 158—279]); в) хорошо известный факт появления многократных глаголов — только в форме прошедшего времени.

⁷ Автор с благодарностью вспоминает ценные консультации безвременно ушедшего профессора МГУ Г.А. Хабургаева. Автор искренне признателен В.Б. Силиной за ряд важных замечаний, высказанных ею по прочтении рукописи статьи.

5. Бондарко А.В., Булакин Л.Л. Русский глагол. Л., 1967.
6. Шелякин М.А. Категория вида и способы действия русского глагола: Теоретические основы. Таллинн, 1983.
7. Маслов Ю.С. Категория предельности/непредельности глагольного действия в готском языке // Маслов Ю.С. Очерки по аспектологии. Л., 1984. С. 224.
8. Маслов Ю.С. Роль так называемой перфективации и имперфективации в процессе возникновения славянского глагольного вида. М., 1958. С. 38.
9. Силина В.Б. Развитие категории глагольного вида в русском языке XI—XVII вв. (формирование видовых корреляций): Автореф. дисс. ... докт. филол. наук. М., 1985. С. 8.
10. Силина В.Б. Семантическое содержание категории предельности и его отражение в формах древнерусского аориста // Исследования по исторической грамматике и лексикологии. М., 1990. С. 164—165.
11. Этерлей Е.Н. Древнерусский имперфект: значение и употребление: Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. Л., 1970.
12. Бородич В.В. К вопросу о видовых отношениях старославянского глагола // Уч. зап. Ин-та славяноведения АН СССР. 1954. Т. IX. С. 78.
13. Кельн Г. Происхождение славянского глагольного вида // Вопросы глагольного вида. М., 1962. С. 283.
14. Бахмутова Е.А. История приставочного образования соотносительных по виду глаголов в русском языке: Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. М., 1963. С. 15.
15. Воробьева И.А. К вопросу о развитии глагольной префиксации в русском языке (история приставки *в-*): Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. Томск, 1958. С. 8—10.
16. Радзивиловская летопись // Полн. собр. русских летописей. Т. 38. Л., 1989.
17. Указатель источников Картотеки Словаря русского языка XI—XVII вв. в порядке алфавита сокращенных обозначений. М., 1984.
18. Срезневский И.И. Материалы для Словаря древнерусского языка. Т. II. СПб., 1895; Т. III. СПб., 1903.
19. Повесть временных лет (по Лаврентьевскому списку) // Памятники литературы Древней Руси. М., 1978.
20. Силина В.Б. История категории глагольного вида // Историческая грамматика русского языка. Ч. I: Морфология. Глагол. М., 1982. С. 229—230.
21. Остин Дж.Л. Слово как действие // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XVII. М., 1986.
22. Кошмидер Э. Очерк науки о видах польского глагола. Опыт синтеза // Вопросы глагольного вида. М., 1962. С. 163.
23. Сигалов П.С. История русских ограничительных глаголов // Тр. Тартуск. ун-та, 1975. Сер. лингв. Вып. 347.
24. Сигалов П.С. Русские сативные глаголы // Тр. Тартуск. ун-та, 1977. Сер. лингв. Вып. 398.
25. Кукушкина О.В., Ремнева М.Л. Категории вида и времени русского глагола. М., 1984. С. 29, 41.

© 1992 г. ЗАВЬЯЛОВА О.И.

СИНО-МУСУЛЬМАНСКИЕ ТЕКСТЫ: ГРАФИКА — ФОНОЛОГИЯ — МОРФОЛОГИЯ

Послужив одним из каналов проникновения мусульманства в Китай, Великий шелковый путь — в своей северо-западной части на территории этой страны — стал зоной функционирования уникальных текстов, названных в настоящей работе сино-мусульманскими. Речь идет о материалах на китайском языке, которые записаны средствами арабской графики и имели хождение, по-видимому, на протяжении нескольких веков среди китайских мусульман. Последние, официально именуемые *хуэй* или *хуэйцзу*, в общем говорят на тех же диалектах китайского языка, что и окружающее китайское население¹. Незначительно отличаться друг от друга диалекты китайцев и *хуэй* могут лишь в случае сравнительно поздних миграций, к примеру, в Синьцзяне². Ср., в частности, работу Лю Лили [1], специально посвященную анализу соответствующих диалектных различий, не очень, впрочем, существенных: речь идет о достаточно близких разновидностях, характерных для западной части обширной диалектной зоны бассейна рек Вэйхэ и Хуанхэ³.

Изучение сино-мусульманских текстов, таким образом, может представлять интерес с разных точек зрения. Эти тексты являются источником сведений по китайским диалектам, в том числе по диалектной фонологии и морфонологии. Они служат материалом для исследования принципов отражения китайского связного текста средствами неероглифического письма. И, наконец, на основе чисто лингвистического анализа эти источники, как выяснилось, позволяют сделать некоторые выводы о путях проникновения мусульманства в Китай. Вместе с тем, если иероглифические памятники китайских мусульман описаны сравнительно хорошо (см., к примеру, классический труд архимандрита Палладия [5]), то тексты на китайском языке, записанные арабскими буквами, почти недоступны для исследования, хотя об их существовании сообщается в литературе [6, 7]. Причина малодоступности сино-мусульманских материалов, очевидно, кроется в том, что арабская письменность использовалась преимущественно (хотя и не только) для записи текстов религиозного содержания, которые не должны были попасть в руки немусульман. Книги, принадлежащие *ахуну* (мулле от персидского *āxūn* "учитель"), к примеру, до сих пор сжигаются, если у него нет преемника. Но даже когда арабское письмо использовалось в документах

¹ Как на это обратил наше внимание А.А. Москалев, некоторые группы, именуемые *хуэй* и живущие в окружении некитайских народов южного и юго-западного Китая, говорят все же на одном или нескольких местных языках.

² В Синьцзяне китайских мусульман называют также дунганями, *дунгань*. Происхождение этого названия, которое за пределами Синьцзяна, во внутреннем Китае, не известно и не употребляется до сих пор не установлено. Самоназвание северо-западных *хуэйцзу* — *лаохуэйхуэй* "почтенные мусульмане", "почтенные вернувшиеся", если переводить по значению иероглифов, или *чжунъюаньжэнь* "люди Центральной равнины". Эти самоназвания сохраняются также у дунган, переселившихся на территорию нынешних Кыргызстана и Казахстана в конце прошлого века.

³ Подробнее об особенностях диалектов зоны Вэйхэ — Хуанхэ см. [2, 3]. Эта зона выделена также в новейших китайских классификациях, где она именуется "зоной Центральной равнины" — по историческому названию, которое указывает либо на районы нижнего течения Хуанхэ, либо на бассейн этой реки в целом [4]. Любопытно сравнить в связи с этим также упомянутое выше самоназвание дунган.

светских — бытовых, деловых и т.п., — оно могло восприниматься как своеобразная тайнопись, доступная только мусульманам хуэй, но не китайцам, которые говорят на том же языке, однако пользуются иной — иероглифической письменностью. В результате арабское письмо служило одним из средств сохранения хуэй как отдельной группы внутри китайского общества при идентичности их языка тому языку, на котором говорит основное население страны.

Единственная известная до сих пор публикация сино-мусульманского текста за пределами Китая — это отрывок рукописи фольклорного содержания, найденной в Кайгаре в начале текущего столетия и снабженной транслитерацией и переводом А. Форке [8]. Как показывает сводная картотека-силлабарий, сделанная нами на основе этого текста, он характеризуется значительным числом вариантов в отражении одних и тех же фонетических единиц, особенно начальнослоговых согласных, и, очевидно, написан недостаточно грамотным человеком. Благодаря любезности А.А. Калимова нам удалось ознакомиться также с образцом современного сино-мусульманского текста — письмом, написанным жителем Синьцзяна в 50-е годы нашего столетия. Основой же настоящего исследования послужило редкое издание — литографированная книга, представляющая собой руководство по кайданитскому праву. Она переведена на китайский язык с арабского пособия, снабженного тюркским комментарием — "Фикх ал-кайдань" ("Кайданитское право"), и выпущена в 1906 г. в Ташкенте, в известной своими арабописьменными публикациями типографии О.А. Порцева. Автор перевода, некто Мухаммад из Линчжоу (современный Линь в Нинся-Хуэйском автономном районе), предназначал свой труд — как это отмечено в послесловии на арабском языке — прежде всего детям китайских мусульман, а также людям малообразованным, не имевшим прежде подобного простого пособия.

Китайский перевод пособия имеет заголовок на арабском языке — "Тухфат ал-хуэй ал-аймйн на-с-сибйан ал-мубтади'йн" ("Подарок братьям [верующим] и юношеству на путь [веры] вступающему"). Том состоит из трех частей разного объема, также озаглавленных только по-арабски. Каждая из частей, в свою очередь, разделена на главы, арабские заголовки которых толкуются в первой строке перевода. В отличие от арабо-персидских изданий, в пособии — в соответствии с китайской традицией, согласно которой каждая часть *цзюань* имеет отдельную пагинацию, — страницы нумеруются по частям. Вместе с тем в книге последовательно проведены кустоды, свойственные арабо-персидским изданиям, — повсюду на правой странице внизу написано начало последующей левой страницы. В колофоне последней главы (особо оформленном завершении, также характерном для арабо-персидских публикаций) указана дата окончания китайского перевода — 1316 г. хиджры (1898—1899 гг.). Текст глав включает, во-первых, арабский источник, разделенный на небольшие куски, отчеркнутые сверху, и, во-вторых, следующий за каждым куском его китайский перевод, записанный средствами арабской графики. В самом переводе встречаются заимствованные слова — не только арабские, но и персидские. В основном заимствования сохраняют свое исконное написание, однако в некоторых случаях при конечном согласном отмечен краткий гласный, отсутствующий в языке-источнике. Очевидно, этот гласный неизбежно появлялся при произношении соответствующих слов китайоязычным автором перевода.

Нижеприведенный анализ основан на изучении собственно китайского текста второй части книги, насчитывающей 35 страниц, без учета арабских и персидских заимствований. Китайский текст, таким образом, характеризуется следующими особенностями графики.

1. Употребляется 29 букв, в том числе:

1) большая часть букв арабского алфавита, включая ʿā, ʿād, tā, ʿāi, ʿāin, которые в персидском языке ограничены арабскими словами;

2) четыре буквы, созданные в персидском языке на основе арабских — ʿā, ʿāim, ʿāja и ʿāgh;

3) отсутствующая в арабо-персидской графике, но созданная по образцу арабских букв особая буква ج (ею записывается глухая придыхательная аффриката ts^h).

Не употребляются в собственно китайском тексте арабские буквы ح *хā*, ج *zāl*, ر *rā*, د *dād* и غ *gāin*; обозначение тонов отсутствует.

II. При записи китайских начальнослоговых согласных (инициалей) действуют следующие основные правила.

1. Как и во многих других иноязычных транскрипциях китайских слов — включая русскую, а также в официально принятой сейчас в Китае системе *пиньинь*, основанной на латинской графике, китайские непридыхательные (смычные и аффрикаты) передаются буквами для звонких, соответствующие непридыхательные — буквами для глухих. Ср. 大 *dā* "большой" — 他 *tā* "он".

2. Буквы ج *гяф* и ك *каф* заняты для обозначения палатализованных аффрикат, придыхательной и непридыхательной; ср. 間 *gūan* "между" — 錢 *qián* "деньги". Поэтому для непридыхательной заднеязычной инициали использована буква ق *каф*, которая соответствует глухому в арабском и звонкому увулярному в тегеранском персидском: 高 *gāo* "высокий".

В то же время параллельной "незанятой" буквы для придыхательной заднеязычной инициали не нашлось; поэтому для *k^h*-, как правило, употребляется особый графический вариант буквы ك *каф*; ср. 開 *kāi* "открывать". Вместе с тем в тексте встречаются также отдельные слоги с придыхательным *k^h*-, записанные с обычной буквой *kāf*, что, по-видимому, связано с избыточностью информации, которую несет в этом случае особый графический вариант этой буквы. Дело в том, что финали после заднеязычных, с одной стороны, и палатальных, с другой, различны, и употребление одного и того же графического варианта буквы *kāf* в обоих рассматриваемых случаях не влечет смешения разных морфем: 看 *kān* "смотреть" — 前 *qián* "вперед".

Исторически буквами *гяф*, *каф* и *гā* в случае палатализованной шелевой в равной степени обозначены те из инициалей, которые восходят к среднекитайским заднеязычным, и те, которые соответствуют среднекитайским переднеязычным. В отношении неразличения этих двух рядов инициалей в слогах с историческими палатальными финалями, таким образом, диалект, отраженный в анализируемом памятнике, совпадает с современным пекинским и со многими другими (хотя и далеко не со всеми) северными диалектами китайского языка. В то же время в проанализированном материале зафиксированы три исключения, где вместо ожидаемой буквы *гā* написана буква س *сйн*, в целом используемая в тексте для обозначения непалатализованной инициали, ср. 洗 *сй* "мыть". Непоследовательность в отражении современной шелевой палатализованной инициали, по-видимому, отражает старую или параллельную традицию, фиксирующую различие между двумя рядами исторических инициалей.

3. Наряду с обычными ت *tā* и ز *zā* при записи *t*- и *ts*- соответственно употребляются буквы для арабских эмфатических согласных — ط *tā* и ظ *zā*. Ср. следующие примеры:

堂 تān *tān* "зал", 體 تī *tī* "тело", 天 tiān *tiān* "небо";
頭 tóu *tiū* "голова", 痛 tòng *tiū* "болеть", 土 tǔ *tū* "земля";
贊 zàn *zān* "одобрять", 指 zhǐ *zū* "указывать", 在 zài *zāi* "в";
做 zuò *zuū* "делать", 坐 zuò *zuū* "сидеть".

Закономерности употребления эмфатических букв пока не ясны. С одной сто-

⁴ Вопрос о путях проникновения арабской графики и лексических заимствований к китайским мусульманам нуждается в специальном обсуждении, которому мы надеемся посвятить отдельное исследование. Ясно, однако, что системное употребление буквы *каф* в сино-мусульманских текстах основано не на ее арабском значении.

роны, большая часть примеров с этими буквами относится к слогам со слогообразующим или промежуточным гласным *-и*. Тем самым эмфатические могли бы отражать фонетическое явление, свойственное многим диалектам северо-западного Китая, — лабиализацию согласных перед *-и*. С другой стороны, приведенные выше морфемы "голова", которая часто встречается в тексте, в том числе в качестве суффикса существительных, и "болеть" имеют финали нелабиального типа. Примечательно также, что значительная часть — хотя опять-таки не все — слогоморфемы с эмфатическими имели в среднекитайском звонкие инициали. В целом же проблема употребления эмфатических букв нуждается в дальнейшем изучении на более широком материале. Равным образом пока не установлено значение буквы *س* *sād*, которая вместо обычной *س* *sūn* отмечена в морфеме *سُيْ* *sun* "посылать" и в еще одной слогоморфеме с неустановленным значением. Следует, впрочем, иметь в виду, что варианты записи одних и тех же фонологических единиц могут быть также следствием недостаточной разработанности норм сино-мусульманских текстов. Как на это обращает внимание Л.Р. Зиндер, многочисленные орфографические варианты характерны и для европейских — старопечатных и рукописных — материалов, где варьирование было в первую очередь обусловлено тем, что алфавит, которым пользовались писавшие, был обычно заимствованным [9].

III. При написании финалей (вокалическая часть слога) немногочисленность арабских гласных букв компенсируется обязательным употреблением подстрочных и надстрочных знаков, которые в арабо-персидских текстах, как известно, факультативны и обычно ставятся только в учебных и справочных материалах, в "Коране", иногда в стихах. При анализе особенностей передачи китайского вокализма средствами арабо-персидской графики удобно пользоваться терминами, предложенными А.А. и Е.Н. Драгуновыми для пекинской системы финалей [10]: финали серии "а", иначе говоря, финали, содержащие фонологический слогообразующий гласный "а"; финали серии "э", т.е. финали с фонологическим слогообразующим гласным "э"; финали непарной серии: *-i*, *-u*, *-y*, а также финаль *-ī*, допустимая только после свистящих и шипящих, которую А.А. и Е.Н. Драгуновы считали фонологически нулевой. Возможно и фонологическое решение, при котором *-i* и *-ī* (последняя произносится неодинаково после шипящих и свистящих) считаются аллофонами одной и той же независимой фонологической единицы. К непарной серии А.А. и Е.Н. Драгуновы относили также финаль *-e*, фонологическая интерпретация которой вызывает наибольшие дискуссии при анализе пекинской и других северных диалектных фонетических систем.

Основные правила написания финалей средствами арабо-персидской графики сводятся к следующему.

1. Среди финалей непарной серии сложностью выделяется *-y*, в которой используются три буквы с дополнительными знаками *кесра* и *дамма*, означающими соответственно краткие "и" и "у" в арабском. Ср. *ليوئي* *liyu'ui* "осел". Передача арабскими буквами финалей *-u*, *-ī* и графически совпадающей с последней финали *-ī* после шипящих оказалась достаточно простой: *كوي* *ku'ui* "кость", *لي* *li* "жестокий", *شي* *shii* "камень". Вместе с тем после свистящих финаль *-ī* передается с помощью встречающегося в пределах данного текста только в этом случае особого знака — "вертикальной *кесры*" и с помощью знака *сукун*, означающего отсутствие гласного; ср. *ايدى* *ai* "указывать". В результате средствами графики, во-первых, отражены фонетические различия в произношении финали *-ī* после шипящих и свистящих, во-вторых, в сочетании с последними финаль *-ī* интерпретируется как *-ī*.

2. Слогоморфемы, которые в современном пекинском и большей части других северных диалектов произносятся как *e*, в анализируемом тексте представлены графически в виде слога, построенного по модели "согласный + гласный". Записывается этот слог с помощью употребляющейся только для него бук-

вы ㄟ 'айн, которая передает в арабском верхнефарингальный щелевой звук в сочетании со знаком *fatḥa*, соответствующим краткому "а" (в сино-мусульманских текстах *fatḥa* на согласном означает финаль серии "э", см. ниже). Ср. 耳 *а'а* 'ха "ухо", 二 *а'а* 'ха "два". При слитном написании с последующим слогом используется вариант без буквы *о* ха, как, например, в сочетании 十二件 *шун'агийн* "двенадцать видов". Как отдельный слог записывается и омонимичный суффикс, который в большей части современных диалектов, его использующих, в том числе в пекинском, сливается с предыдущим слогом в единый новый однослог (на периферии северных диалектов этот суффикс по-прежнему может произноситься в виде отдельного слога — как полнотонированного, так и утратившего тон). По диалектам возможна также реализация этого суффикса в качестве слога, состоящего из чистого гласного. Вместе с тем модель "согласный + гласный" как для рассматриваемого суффикса так и для других слогоморфем соответствующей фонетической категории, — насколько можно судить по имеющимся к настоящему времени в нашем распоряжении многочисленным материалам по северным диалектам — невозможна.

Допустимо, что написание всех этих морфем в анализируемом тексте на самом деле не соответствует реальному произношению конца XIX — начала XX в., отражая архаическое состояние с носовой инициальной, сохранившееся в южных диалектах. Ср. 兒 **nzi* в среднекитайском.

3. Финали серии "а", как правило, пишутся с буквой | 'алиф. Ср. следующие примеры: 馬 *ма* "лошадь", 家 *кйя* "дом", 話 *хуа* "слова, речь", 三 *сан* "три", 訛 *хуан* "ложный". Исключение составляют финали с конечными элементами -i и -u, как двухсоставные (слоогообразующий гласный + терминаль), так и трехсоставные (медиаль + слоогообразующий гласный + терминаль). В этом случае слоогообразующий гласный обозначен поставленным на инициали или медиали надстрочным знаком *fatḥa*, означающим в арабском, как уже указывалось выше, краткий "а", а также используемым и в соответствующих арабских нисходящих дифтонгах. Ср. следующие примеры:

來 *лай* "приходить", 老 *лау* "старый";
壞 *хуай* "испортиться", 條 *тиай* "пункт".

Отсутствие буквы 'алиф в нисходящих дифтонгах, возможно, обусловлено не только графически, но также и фонетически, поскольку во многих диалектах северного Китая дифтонги -ai и -au часто произносятся с более закрытыми, чем в пекинском, слоогообразующими гласными либо вообще "стягиваются", превращаясь в монофтонги. Впрочем, и в собственно пекинском слоогообразующий гласный серии "а" в составе нисходящих дифтонгов — особенно в трехсоставных финалях — также видоизменяется, ср. [11].

4. В носовых финалях серии "а" прослеживается строгое различие между двумя рядами, соответствующими финалям с терминалями -n и -ŋ в пекинском. Первые содержат над буквой 'алиф знак *tanwīn kesra*, передающий в арабско-персидской графике краткий "а" в сочетании с "н" в конце слова. Для второго типа используется еще один — срединный вариант записи того же арабского сочетания — с буквой *нун* и знаком *sukūn*, который мы сохраняем в транслитерации. Ср. 展 *джан* "расширять" — 掌 *джан'* "ладонь".

5. В финалях серии "э" буква 'алиф никогда не пишется. Слоогообразующий гласный этой серии отличается в северокитайских диалектах, включая пекинский, значительной неустойчивостью, лабиализуясь, редуцируясь либо вообще выпадая в составе некоторых финалей. В связи с этим и в сино-мусульманских текстах способы записей финалей серии "э" более разнообразны, чем способы записи финалей серии "а".

В односоставной и двухсоставной финалях типа "медиаль + слоогообразующий гласный" последний передается при помощи знака *fatḥa*. Ср.:

得 ^{de}	da "получить";	也 ^{ye}	ya "тоже";
撒 ^{sa}	пийха "отбросить";	我 ^{wo}	ya "я";
多 ^{duo}	duya "много";		
雀 ^{que}	кийуа "воробей".		

Написание двухсоставной финали с терминально -и параллельно соответствующей финали серии "а" при том, что вместо знака *fatxa* для слогаобразующей гласной использован подстрочный знак *кесра*, обозначающий в арабском краткий "и"; ср. 少 ^{shao} шау "мало" — 手 ^{shou} шиу "рука". Однако в трех прочих финалях серии "э" слогаобразующий гласный просто опущен. Ср., к примеру, 水 ^{shui} шуи "вода".

б. Для носовых финалей серии "э" существуют два основных способа их написания, аналогичные тем, которые используются для финалей серии "а": 1) при помощи дополнительных знаков *танвйн кесра* и *танвйн дамма*, передающих в арабском в конечной позиции соответственно краткие гласные "и" и "у" в сочетании с "н"; 2) при помощи буквы *нун* с поставленным на ней знаком *сукун*. Ср. 人 ^{ren} жин "человек" — 辰 ^{chen} чин "становиться". Однако употребление этих двух способов написания носовых финалей серии "э" в анализируемом тексте непоследовательно. Одна и та же слогоморфема может записываться то одним, то другим способом. Более того, при сравнении с диалектами, различающими носовые финали серии "э" двух типов, выясняется, что среди слогоморфем, записанных со знаками *танвйн*, имеется также и те, которые в пекинском произносятся с заднеязычным -л; напротив, некоторые слогоморфемы, имеющие в пекинском переднеязычный -н, пишутся с буквой *нун*. Очевидно, в диалекте, на котором говорил автор анализируемого текста, как и в других северных диалектах, образующих компактную зону на территории современных провинций Шаньси, частично Шэньси и Ганьсу, финали, соответствующие пекинским финалям серии "э" двух типов, не различаются. Непоследовательность же в записи рассматриваемых типов финалей в тексте связана либо с тем, что автор был знаком с диалектами, где эти типы не слились, либо — что также вполне допустимо — обусловлена, как и в упоминавшемся выше случае с буквами для эмфатических согласных, недостаточно унифицированным характером сино-мусульманских текстов.

Помимо двух только что описанных способов, в анализируемом тексте имеется еще один вариант написания, невозможный в арабо-персидской графике. Он отмечен для финалей, соответствующих пекинской -еп: 冷 ^{ling} лин "холодный", 能 ^{ning} нин "мочь", которые записаны со знаками *танвйн кесра* и *сукун* одновременно. По-видимому, третий способ употребляется в слогах с теми инициалами, которые сочетаются одновременно и с финалями палатального типа и с финалями непалатальными и различают эти два типа финалей. Ср.: 定 ^{ding} дин "определить" — 能 ^{ning} нин "мочь". В то же время при инициалах с ограниченной сочетаемостью (палатализованных аффрикатах и щелевых, с одной стороны, и щиплящих, свистящих и заднеязычных, с другой) разница между финалями, соответствующими пекинским -ин, -ип, и финалями, соответствующими пекинским -еп, -еп, графически отражена только в записи инициалей. Ср. следующие примеры (в скобках указано пекинское произношение в записи пиньинь): 今 ^{jin} гхин (jin) "теперь" — 真 ^{zhen} джхин (zhen) "истинный".

Таковы важнейшие особенности графики сино-мусульманских текстов. Предварительный анализ позволяет установить для этих текстов также некоторые закономерности слитного/раздельного написания значимых единиц. Хотя рассмотренный материал записан средствами алфавитного письма, тем не менее здесь, как и в случае иероглифики, основной единицей организации текста выступает однослог, иначе говоря, слогоморфема, которая пишется, как правило, раздельно с другими слогоморфемами. Среди исключений наиболее часто встречаются следующие.

1. Сочетания указательных местоимений со счетным словом, к примеру, 這個 *hijq* "этот".
2. Сочетания числительных со счетными словами и префиксом *di*-: 四個 *diq* "четыре", 第四件 *diq* "четвертый вид".
3. Двусложные послелогии: 中間 *di* "посередине".
4. Слова 此時 *di* "в таком случае", 時候 *di* "в то время как".

Для показателя атрибутивности *di* и суффикса существительных *-z* возможны оба варианта написания — как слитный, так и раздельный с предыдущей слогоморфемой, при том что для *di*, частотность употребления которого очень высока, преобладает раздельный вариант.

Допустимо также слитное написание обычных двусложных слов, состоящих из двух знаменательных морфем: 身體 *shin* "тело", 惟獨 *ui* "единственный" (об аллахе). В проанализированном тексте зафиксированы также два случая слитного написания глагола со стоящим после него зависимым словом: 吃他 *chit* "съесть его", 抬兩手 *tailian* "поднять обе руки". Слитно написано четыре раза встретившееся в тексте сочетание 你知道 *ni* "ты знаешь".

Представляется, что обязательным, хотя и не достаточным условием слитного написания двух или более слогоморфем является их принадлежность к одному и тому же "ритмическому", или фонетическому слову. Последнее ограничивает в северокитайских диалектах морфонологические процессы, связанные прежде всего с чередованиями и нейтрализацией тона, и может включать как лексические слова, так и словосочетания. Многосложные фонетические слова, очевидно, представляют собой те комбинации слогоморфем различной степени связанности, которые, по мнению В.Б. Касевича, прежде всего представлены в языках типа китайского (при том что единицы, соответствующие слову, занимают в системе этих языков периферийные позиции) [12]. Согласно экспериментальным данным Т.П. Задосенко, деление синтагмы на фонетические слова — так же, как деление предложения на синтагмы — определяется семантико-грамматическими связями внутри нее, но эта зависимость не однозначна и допускает варианты [13]. Возможность и необходимость объединения того или иного сочетания слогоморфем в фонетическое слово зависит также от частотности употребления этого сочетания в речи данного индивидуума. Как показали, в частности, исследования М. Шерарда на материале шанхайского диалекта, чем чаще употребляется сочетание слогоморфем, чем привычнее оно для говорящего, тем больше вероятность того, что при одной и той же грамматической структуре оно будет произнесено как единое фонетическое слово [14]. Похоже, что определенная зависимость между частотностью и возможностью слитного написания может быть обнаружена и при анализе сино-мусульманских текстов, хотя предположение о наличии такой зависимости — равно как и проблема деления китайского текста на фонетические слова в целом — нуждается в дальнейшем изучении на более широком материале.

В зависимости от слитного/раздельного написания с последующим слогом для некоторых финалей в проанализированном материале возникают два разных орфографических варианта, специфических для сино-мусульманских текстов, но не собственно арабо-персидского письма. Так, для финалей *-i* и *-i* существует вариант *-u* с подстрочным знаком *kesra* на согласном, которые встречается только в срединной позиции и в арабском обозначает краткий гласный, и вариант *-ui* с буквой *ya*, который возможен как в конечной, так и в срединной позиции: 第十件 *di* "десятый", но 十樣 *sh* "десять видов". Вместе с тем показатель атрибутивности, который никогда не пишется слитно с последующей слогоморфемой, всегда представляется только с "срединным" кратким вариантом соответствующей финали — 的 *di*. Подобное написание, по-видимому, отражает краткость глас-

зоны Вэйхэ — Хуанхэ (ср. выше). Так, в материалах А. Форке морфемы 白  буй "белый", относящаяся ко второму ряду (дэну) среднекитайского класса финалей гэн, и 黑  хий "черный", относящаяся к первому дэну среднекитайского класса финалей цзэн, имеют рифмы, одинаково входящие к серии "э".

Еще более существенно с классификационной точки зрения смешение в сино-мусульманских текстах двух видов носовых финалей серии "э", о котором шла речь выше. Синхронически этот признак охватывает четко ограниченную область северного Китая, включая помимо западной части зоны Вэйхэ — Хуанхэ так называемую зону Цзинь. Диахронически, как отмечает Ф. Дау [19], слияние двух видов носовых финалей серии "э" наличествует уже в рукописях стихотворных текстов из Синьцзяна, относящихся к VII в.

К числу наиболее существенных диалектных особенностей сино-мусульманских текстов — кроме слияния двух типов носовых финалей серии "э" — следует отнести также наличие свистящих инициалей во многих слогоморфемах с пекинскими шипящими. Оно обусловлено отличным от пекинского типом отражения среднекитайских палатализованных переднеязычных и твердых шипящих, свойственным многим диалектам северного Китая. Ср. 站  зан "стоять", 沙  са "песок".

Несмотря на то, что транскрипция "Мо цзюэ" создана несколько столетий тому назад, анализ рифм входящего тона также позволяет соотнести ее с одной из современных диалектных зон северного Китая — хэбэйско-шаньдунской, к которой принадлежит диалект Пекина. В транскрипции нашли отражение два из трех признаков, позволяющих отделить хэбэйско-шаньдунские диалекты от всех прочих севернокитайских:

а) неодинаковое произношение рифм "входящего" тона с конечным *-k в зависимости от исторического ряда в случае среднекитайских классов финалей цзэн и гэн;

б) наличие современных рифм-дифтонгов с конечным -и на месте исторического конечного *-k в случае исторических классов финалей цзэн и тун.

При этом в "Мо цзюэ" — как и во многих современных хэбэйско-шаньдунских диалектах — дифтонги в слогах с конечным *-k встречаются в тех слогоморфемах, которые в современном заимствованном слове пекинского диалекта произносятся с монофтонгами. Ср. следующие примеры, приведенные А.А. Драгуновым: 客  кай "гость", 樂  лау "радоваться".

Оба названных признака можно также обнаружить и в наиболее значительном и до последнего времени считавшемся наиболее ранним памятнике, зафиксировавшем фонетику Даду (Пекина) XIV в. — "Чжунъюань инъюнь". Кроме того, как показали исследования С.Е. Яхонтова, хэбэйско-шаньдунское произношение рифм "входящего" тона зафиксировано уже в фонетических таблицах Шао Юна XI в., которые до сих пор относили к числу памятников, отражающих лоянское произношение (современная зона Вэйхэ — Хуанхэ) [20].

В системе носовых финалей транскрипция "Мо цзюэ" — так же, как "Чжунъюань инъюнь" и таблицы Шао Юна — сохраняет три конечных элемента: не только -п и -п', но также -т, в настоящее время исчезнувший повсюду в северных диалектах (-т на месте -п в слогах с гласным "о", зафиксированный в отдельных пунктах Шаньдуна, Шаньси и Хунани, носит вторичный характер). Тем самым в "Мо цзюэ" представлены те диалекты (хэбэйско-шаньдунские и зоны Вэйхэ — Хуанхэ кроме ее западной части), где конечный -т исчез очень поздно, а система носовых финалей в целом претерпела меньшие изменения, чем в любых других северных диалектах, включая диалекты бассейна Янцзы. Графически финали с конечным -п и -п' передаются в системе "Мо цзюэ" по-иному, чем соответствующие финали в сино-мусульманских текстах, при том, что -п обозначается сочетанием ㄣ  -ng.

Известные нам арабописьменные китайские тексты, таким образом, представ-

лены двумя разновидностями, независимыми друг от друга как в графическом, так и в диалектном отношении. Во-первых, это "персидская" транскрипция стихотворного медицинского трактата "Мо цзюэ", созданная в XIII—XIV вв., но тем не менее отражающая фонетические особенности современных хэбэйско-шаньдунских диалектов, к числу которых принадлежит пекинский; она содержит значительное число искусственно созданных знаков и, будучи скорее всего специально созданной применительно к переводу данного памятника на персидский язык, нигде более не употреблялась. Во-вторых, это сино-мусульманские тексты северо-западного Китая, в которых зафиксирована живая разговорная речь зоны Вэйхэ — Хуанхэ, или зоны Центральной равнины. Арабская, вернее арабо-персидская графика, характерная для этих текстов, по-видимому, была широко распространена среди китайских мусульман соответствующего региона на протяжении достаточно длительного периода, точные хронологические рамки которого еще предстоит установить. Специальным предметом исследования в дальнейшем может стать также вопрос о проникновении в язык китайских мусульман арабских и персидских заимствований.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Лю Лили. Улунмун хуэйминь ханьхуа хэ ханьминь ханьхуа цыхуэй бицзяо (Сравнение лексики китайского языка хуэй и китайцев Урумчи) // Синьцзян дасюэ сюэбао. 1984. № 4.
2. Завьялова О.И. Некоторые вопросы лингвогеографического изучения фонетики гуаньхуа // ВЯ. 1982. № 3.
3. Zavyalova O.I. A linguistic boundary within the guanhua area // Computational analyses of Asian and African languages.
4. Ли Жун. Классификация диалектов гуаньхуа // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 22: Языкознание в Китае. М., 1989.
5. Паладий. Китайская литература магометан. СПб., 1887.
6. Wexler P. Research frontiers in Sino-Islamic linguistics // Journal of Chinese linguistics. 1976. V. 4. Pt. 1.
7. Бай Шоуи. Сюй (Предисловие) // Гуланьцзин (Коран). Бэйцзин, 1981.
8. Forke A. Ein islamisches Tractat aus Turkestan // T'oungpao. 1907. Ser. II. V. VIII.
9. Зиндер Л.Р. Очерк общей теории письма. Л., 1987. С. 58—59.
10. Драгунов А.А., Драгунова Е.Н. Структура слогов в китайском национальном языке // Советское востоковедение. 1955. № 1.
11. Спешнев Н.А. Фонетика китайского языка. Л., 1980. С. 52—68.
12. Касевич В.Б. Морфология. Л., 1986. С. 117.
13. Задоевко Т.П. Ритмическая организация потока китайской речи. М., 1980. С. 116—142.
14. Sherard M. A synchronic phonology of modern colloquial Shanghai // Computational analyses of Asian and African languages. 1980. No 15.
15. Csongor B. A contribution to the history of Qing Yin (neutral tone) // Acta Orientalia. 1959. No 9.
16. Pulleyblank E.G. Middle Chinese. Vancouver, 1984.
17. Старостин С.А. Реконструкция древнекитайской фонологической системы. М., 1989.
18. Dragunov A. Persian transcription of Ancient Mandarin // Bulletin de l'Académie des Sciences de l'URSS. Classe des Humanités. 1931. No IX.
19. Dow F. Nasalisation: a traditional characteristic in northwestern dialects // Journal of Chinese linguistics. 1977. V. 2. Pt. 2.
20. Яхонтов С.Е. Пекинское произношение XI в. // Разыскания по общему и китайскому языкознанию. М., 1980.

© 1992 г. КЕРИМОВА А.А., МОЛЧАНОВА Е.К.

И.И. ЗАРУБИН И ТАДЖИКСКАЯ ЭТНОЛИНГВИСТИКА

"Каждый язык вбирает в себя нечто от конкретного своеобразия своей нации и в свою очередь действует на нее в том же направлении".

В.Гумбольдт. Характер языка

Одному из авторов этой статьи посчастливилось учиться у И.И. Зарубина и бывать на его семинарах. Вспоминается его особый интерес к той области языкознания, которую ныне называют этнолингвистикой. В научной литературе отмечались параллельные плодотворные занятия И.И. Зарубина лингвистикой, фольклористикой и этнографией, см. [1, 2]. Известно также, что И.И. Зарубину были близки идеи Ф. де Соссюра, оказавшие влияние на развитие этнолингвистики. И.И. Зарубина явно занимали проблемы этносемантики. Вспоминается, например, подробное обсуждение с ним таджикской лексики *вазний* в том ее значении, которого не найти в словаре: имеется в виду передача времени суток — вечера. Слово связано, по-видимому, с особым чувственным восприятием конца дня — уходом солнца, наступлением темноты, замиранием жизни. Ср. литер. *вазний* 1) "тяжесть, увесистость"; 2) "недомогание, нездоровье; напасть, беда"; 3) "отягощение, бремя"; *вазний кардан ба касе* "быть кому-л. в тягость, отягощать, тяготить кого-л."; *вазний овардан* "производить на кого-л. удручающее впечатление, тяготить кого-л."¹; 4) разг. "степенность, солидность; уравновешенность, выдержка" [4, с. 88].

Свой интерес к этническим характеристикам речи и к национальной психологии И.И. Зарубин передал, как эстафету, ученикам. Им были написаны ценные научные работы, отражающие свойственную таджикам² языковую картину мира.

Под руководством И.И. Зарубина в 1941 г. написал свою дипломную работу, посвященную семантике слова *об*, будущий крупный ученый, большой знаток таджикского языка Д.Т. Таджиев. Впоследствии (1952 г.) в переработанном и расширенном виде она была опубликована под названием «Слово *об* "вода" в современном таджикском языке». В статье детально исследуется семантика лексики *об* и ее сочетаний и анализируются, по мере возможности, русские соответствия. Д.Т. Таджиев, в частности, приводит подсказанный ему И.И. Зарубиным образчик употребления аналитического глагола *об кардан* "продать, сбыть что-л. благополучно, может быть, даже и выгодно, продать или сбыть с рук вещи украденные, найденные", ср. русск. *сплавить*, у последнего Д.Т. Таджиев отмечает больший объем значения [5, с. 125]. Пример И.И. Зарубина: *ҳосили боғашро об карда гандум харида монд* "продав урожай своего сада, купил пшеницу".

В работе Д.Т. Таджиева собрано столько разнообразного, богатого, оригинального материала, что трудно удержаться и не процитировать пусть самую малую толику его. Обилие и своеобразие этого материала определяется тем, какую громадную, ни с чем не сравнимую роль играет вода в жизни таджиков. Это

¹ См. в связи с этим народное поверье относительно сроков погребального обряда: откладывание похорон на следующий день — *вазний меорад*, т.е. вызовет много болезней, возможно повлечет и смерть кого-л. [3].

² Здесь мы не будем останавливаться на таджикско-узбекских сходениях в этой области.

не только источник утоления жажды, источник орошения, источник жизни, но и источник и символ благополучия, счастья. Например, считается, что увидеть воду во сне — к добру. См. пословицы (они, кстати, приводятся Д.Т. Таджиевым) тагика: *Об — рӯшноӣ* "вода — к счастью"; *Обу одам* "Где вода, там и человек"; *Ғашна дар ҳоб об бинад* "Жаждающий во сне видит воду"; ср. русск. *Голодной куме все хлеб на уме*. См. также оборот *об задағӣ барин* (букв. "точно полито водой") — употребляется для выражения порядка, успокаивающего нервы, тишины: ... *имрӯз кучаҳо об задағӣ барин* "сегодня на улице ничего особенного (тишина)". Кроме того, быстротекущая вода — символ изменчивости, непостоянства, неустойчивости, несбыточности, безвозвратности, с чем связаны такие обороты, как: *хобатро ба об гӯй* букв. "скажи свой сон воде", т.е. не рассчитывай на что-л.; *ба сари чизе об рехтан* букв. "налить ... на голову воды", перен. "сплавить, сбить, истратить" (в имущественном смысле); *ба сари пули будағӣ об рехтем* "мы спустили все имевшиеся у нас деньги"; (о человеке) "разоблачить, наказать", даже "убить".

Д.Т. Таджиев определяет основное значение лексемы *об* как "вода" → "любая жидкость" [5, с. 122]. Ср. ее употребление в сочетаниях, обозначающих сок, отвар, бульон, настой, раствор, жидкое состояние: *оби анор* "сок гранатовый", *оби себ* "яблочный сок"; *оби чой* "заваренный чай", *оби шӯрбо* "бульон"; *оби чав* "пиво", *оби кукнор* "раствор мака"; *оби равған* "растопленное масло"; *оби тилло* "золотая краска" (и "золотые буквы").

Самобытны фразеологизмы с *об*, обозначающие жидкие выделения из глаз, рта, носа: *оби чаши* "слезы", *оби даҳон* "слюна". Здесь стоит еще упомянуть тематически примыкающий фразеологизм *оби дандон* "леденцы" (*дандон* "зубы").

Аналитические глаголы *об кардан* "плавить", *об шудан* "плавиться" используются метафорически в таких оборотах, как *дилам об шуд* "замучилась", *диламро об кард* "замучил, извел"; *об карда хӯрдан* (букв. "растворить и есть") — говорится о глубоком усвоении чего-л. — профессии, науки; *вай математикая об карда хӯрдағӣ* "он хорошо знает математику" [5, с. 145]. Ср. русск. *собаку съест в чем-л.*

Другие метафорические обороты с *об*: *аз гулияш об ҳам намегузарад* (букв. "через его/ее горло даже вода не проходит") — о человеке, очень огорченном [5, с. 141—142]. *Акнун калон шудӣ. Акнун харат аз об гузашт* (Икромӣ) "Теперь ты стал важным человеком. Теперь знать ничего не хочешь" (букв. "Теперь твой осел прошел через воду") [5, с. 143]. Этот оборот можно истолковать так: пройден этап, в ком/чем нуждались, больше не нуждаются.

Приведенный выше материал свидетельствует о той важной позиции, которую занимает вода в семантическом мире таджиков. Это и благо, и утрата, и рок, и конкретные физические явления, и качества и т.п. Эта позиция отражена в многочисленных пословицах и поговорках с *об*. Часть из них уже приводилась. Приведем еще три. *Об дар ҷои сахт меистад* (букв. "Вода держится на твердом грунте") — о необходимости прочной основы в жизненных делах, см. [6, с. 56]; *Об агар сад пора гардад, боз ҳам ошноост* (букв. "если вода разольется и на сто частей, все равно они едины") — говорится о родственных, друзьях, временно расставшихся, — все равно они друзья и будут снова вместе; см. [7, с. 738]; *Оби рехта бардошта намешавад* "Что с возу упало, то пропало" (букв. "Пролитую воду не соберешь").

³ Это образное и фигуральное выражение становится особенно понятным, если представить себе вид политого в знойный день двора или пола (земляного) помещения. Наступает прохлада, водворяется порядок, который действует успокаивающе. Более того, это же выражение в какой-то мере в переносном значении выражает благополучие, отсутствие беспорядка в жизни, в семье: — *Аҳволаҳо чӣ таар?* "Как дела?" — *Тинҷӣ, об задағӣ барин* "Ничего, все в порядке" [5, с. 145, п. 22]. Ср. русск. *тишь да гладь...*

Тема воды широко представлена в таджикском фольклоре, см. об этом [8, с. 36—40]. Вода, проточная вода — выражение жизни, красоты, любви, радости. Один вид текущей воды, особенно воды прозрачной, чистой, доставляет таджика особую радость, а иногда и грусть — в связи с быстротечностью жизни. Вспоминается, как одну старушку, тяжело больную, проводжали в больницу, откуда ей не суждено было вернуться. По дороге, проходя мимо ручейка и глядя на него, она говорила с большой печалью: *"Оби равон, оби равон..."* (равон "текучая, проточная").

Вода — один из основных мотивов поэтического творчества, в тесной увязке с темами любви, разлуки, ностальгии. См., например, у Рудаки: *Кори бўса чу об хӯрдани шӯр, / Бихӯрӣ беш, ташнатар гардӣ* "Поцелуй — что вода после соленого: чем больше пьешь, тем больше хочется". Он же, призывая эмира бухарского вернуться на родину, недаром напоминал ему запах родной воды: *Бӯи ҷӯи Мулиён ояд ҳама...* "Вьет ароматом ручья Мулиян".

Чрезвычайным богатством и разнообразием отличаются словообразование и словосложение с *об* (см. подробнее работу Д.Т. Таджиева [5, с. 124—141]). Здесь мы упомянем только три лексемы, заслуживающие внимания именно в этнолингвистическом аспекте.

1. Существительное *обрӯ* "авторитет, влияние, уважение, престиж, репутация, честь, достоинство" (ср. *рӯ* "лицо"). Эта модель кажется почти универсальной в западноиранских языках. Ср. в диалектах полосы Исфагана: в седей — *ābirū* (с изафетом), в гязӣ — *āburū* (с союзом *и* "и"), в кяфранӣ — *āvi dūm* (с изафетом и другой лексемой для "лица"). Иначе — в кандулай: *sarbarzi* (ср. тадж. *сарбаландӣ* в том же значении). Любопытен таджикский фразеологизм, в котором соединены контрастные значения *об* — в *обрӯ* и *оби ҷӯӣ шудан*, ср. во фразе: *Дар байни халқ обрӯям оби ҷӯӣ мешавад...* "Я опозорюсь перед людьми..." [7, с. 757].

2. Прилагательное *обдор* (букв. "имеющий воду") — употребляется в характерных сочетаниях: *бӯсаи обдор* "крепкий поцелуй"; *гапҳои обдор* "резкие слова"; *торсакии обдор* "звонкая пощечина"; *ашъори обдор* "трогательные стихи"; *теги обдор* "закаленный клинок". Универсальным кажется употребление этого прилагательного с именами, означающими драгоценные камни, см. [4, с. 280]. Ср. синоним *хушоб* "чистой воды" (о драгоценных камнях): *алмоси хушоб* "бриллиант чистой воды".

3. Еще одна словообразовательная модель с *об*, упоминаемая Д.Т. Таджиевым, — тадж. *обӣ* "водный, водяной". В связи с этой лексемой обратимся к увлекательной статье Р.Л. Неменовой (ученицы И.И. Зарубина) "Народные представления, связанные с рекой Вахш" [9]. Статья посвящена древнему культу водной стихии у южных таджиков, материалы были собраны в 1963—1964 гг. в районе сооружения Нурекской ГЭС. Автор приводит фразеологизм *аспи обӣ* "водяной конь" и связанные с ним легенды о чудесных водяных конях, которые водятся в горных реках, в частности, в р. Пяндж (верховья Аму-Дарья), в озерах и источниках (ср. летающего коня в русских сказках: "Конь с золотой узды срывался, / Прямо к солнцу поднимался" [Ершов. "Конек-горбунок"]). Помимо *аспи обӣ*, Р.Л. Неменова называет и другие фразеологизмы с *обӣ*, означающие иные мифологические существа. «По старинным поверьям, река населена сверхъестественными существами, якобы знающими судьбы людей. Это так называемые *одамои обӣ* — водяные люди, которые безвредны, земным людям не причиняют вреда, но стремятся к ним. Подводный мир реки, как считают, очень разнообразен: помимо водяных людей, там живут водяные лошади — *аспи обӣ*, водяные собаки — *саги обӣ* ("выдра"), водяные мыши — *муши обӣ*. Устройство подводного мира аналогично земному, речное дно — земля, состоящая из семи слоев — *ҳафт тавақ (табақа) змин* (ср. старое представление о мироздании, о небе, состоящем из семи слоев, о мире, состоящем из семи материалов — *ҳафт иқлим*)» [9, с. 101].

Об *аспи обӣ* есть сообщение А.З. Розенфельд (в этнографической литературе):

"о водяном коне, имеющем пребывание в определенных озерах, откуда он выходит по временам на поверхность", см. [9, с. 108]⁴.

Народные поверья о водяных существах, как и соответствующие фразеологизмы *аспи обӣ*, *одамони обӣ*, *муши обӣ* и др.⁵, по наблюдениям Р.Л. Немецовой, ограничены южным Таджикистаном и представляют собою осколки древнейших анимистических представлений, связанных с культом воды [9]. Возможно, они выветриваются из народной памяти. Тем ценнее заслуга ученых — языковедов, фольклористов, этнографов — и писателей, стремящихся запечатлеть древние образы и специфическую лексику.

У известного современного прозаика Бахманёра, в творчестве которого особенно сильна фольклорная струя, водяному коню посвящен отдельный лирический рассказ (или, как определяет этот жанр сам автор, маленькая поэма) — "Обасп" (1984 г.). Из необычного горного озера выходит чудесной красоты конь серебристо-лунного цвета, обьятый солнечным сиянием, с хвостом и гривой, отливающими пурпуром. С его тела падают не капли воды, а горящие звезды. Он выходит из озера ночью и скачет по берегам, не сминая травы и не оставляя следов. И когда конь уходит обратно в озеро, вода перед ним расступается надвое, как раскалывается спелый арбуз под ножом, и смыкается снова, подобно сложенным вместе двум половинкам яблока. Этот конь — мечта, абсолютный идеал персонажа рассказа — любителя лошадей.

В нашей статье шла речь о малом фрагменте таджикской лексики. Но я его достаточно, чтобы получить представление о том, насколько богат и своеобразен семантический мир таджикского языка. Лингвисты (особенно диалектологи), фольклористы, этнографы, писатели — и среди них ученики и последователи И.И. Зарубина — собрали многочисленные материалы в этой области. Материалы эти рассредоточены по разным отраслям и ждут своего обобщения в этнолингвистическом аспекте.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Расторгуева В.С.* И.И. Зарубин — лингвист // Иранский сборник. М., 1963
2. *Гафферберг Э.Г., Кисляков Н.А.* И.И. Зарубин — этнограф и музейный работник // Иранский сборник. М., 1963.
3. *Хамиджанова М.А.* Мужские джахры в похоронных обрядах таджиков верховьев Зеравшана // Этнография Таджикистана / Отв. ред. Литвинский Б.А. Душанбе, 1985. С. 55.
4. *Таджикско-русский словарь* / Под ред. М.В. Рахмиев и Л.В. Успенской. М., 1954.
5. *Таджиев Д.Т.* Слово об "вода" в современном таджикском языке (Из материалов по таджикской лексикологии) // Труды Ин-та языкознания АН СССР. Т. I. М., 1952.
6. Кулӣёти фольклори тоҷик. Ҷ. IV. Зарбулмасалҳо. Душанбе, 1986.
7. *Фозилова М.* Фарҳанги ибораҳои рехтаи забони ҳозираи тоҷик (фарҳанги фразеологӣ). Ҷ. I. Душанбе, 1963.
8. *Амонов Р.* Рубоиҳои халқи ва рамзҳои бадеӣ. Душанбе, 1987.
9. *Немецова Р.Л.* Народные представления, связанные с рекой Вахш // Этнография Таджикистана / Отв. ред. Литвинский Б.А. Душанбе, 1985.
10. *Розенфельд А.З.* К терминологии родства и свойства в таджикских говорах // Иранское языкознание. М., 1976.
11. Свод этнографических понятий и терминов. Вып. 2: Этнография и смежные дисциплины. Этнографические субдисциплины. Школы и направления. Методы. М., 1988.

⁴ Серия работ А.З. Розенфельд по лексике юго-восточных таджикских говоров, в том числе — о терминологии родства и свойства — это результат ее многолетних поисков, инициированных И.И. Зарубиным [10].

⁵ Сочетание *саги обӣ* лексикализуется, см. *саги обӣ/сагобӣ* [4, с. 335—336].

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

РЕЦЕНЗИИ

Longacker R.W. Foundations of cognitive grammar. V. I: Theoretical prerequisites. Stanford: Stanford University Press, 1987. 516 p.

Лангакер с удивительной ясностью говорит о целях своей книги. Его "цель... представить и обосновать особую концепцию грамматической структуры. Она (эта концепция) органично вытекает из всестороннего обобщающего взгляда на лингвистическую организацию, охарактеризованную в терминах когнитивной обработки. Отсюда и название — когнитивная грамматика" (КГ).

Далее Лангакер утверждает, что КГ "в своей основе расходится с господствующими течениями современной лингвистики". Она также расходится с большей частью лингвистических теорий, на которых основывалось предшествующее изучение языка. Любую фундаментальную посылку такого рода логично обсуждать, лишь принимая во внимание ее основополагающие утверждения. Лангакер представляет свою теорию путем развернутых экспликаций, местами даже чересчур развернутых, как, например, в случае, когда он говорит о различении белой точки на черном поле (с. 121—122 и далее), в своем "фонологическом описании" английского языка (с. 388—394). Занимательный читатель обнаруживает в этой хорошо организованной работе значительное число доказательств в пользу представленной концепции.

В первом из двух томов изучение "теоретических предпосылок" состоит из трех частей: I. Общие предпосылки (с. 9—96), II. Семантическая структура (с. 97—274), III. Грамматическая организация (с. 275—480). Полторы странички заключения, а также предисловия — это, по существу, авторская самооценка, которую я оставляю на суд читателя, и аннотация следующего, второго тома, который призван "предложить более развернутый анализ именной и глагольной структуры на основе (хотя ни в коем случае не исключительно) английского языка" (с. 481—482). Подобное ограничение

не вызывает удивления, если принять во внимание положение автора о том, что "семантическая структура не универсальна", а также ввиду очевидного отсутствия интереса к другим языкам; первая ссылка на другой язык находится на с. 57 (замечания об [u] во французском *tu*), а следующее неанглийское слово появляется только на с. 175. Таким образом, работа вполне могла бы быть озаглавлена "Основы английской когнитивной грамматики".

Три части разделены на 12 глав. Первая глава второй части, касающаяся когнитивных способностей (с. 99—146) и вторая глава третьей части, рассказывающая о символических единствах (с. 328—368), должны являться центральными главами первого тома в соответствии с основными положениями, утверждаемыми в данной книге:

1) Семантическая структура не универсальна; она в значительной степени зависит от специфики конкретного языка. Кроме того, семантическая структура основывается на конвенциональной образности и характеризуется по отношению к структурам знания.

2) Грамматика (или синтаксис) не является самостоятельным формальным уровнем представления. Напротив, грамматика, будучи по существу условной, символизацией семантической структуры, символична по своей природе.

3) Не существует какого-либо значимого различия между грамматикой и лексикой. Лексика, морфология и синтаксис образуют континуум символических структур, которые различаются по разнообразным параметрам, но могут быть разделены на отдельные компоненты лишь условно.

Однако Лангакеру не удастся избежать подобных попыток "разделения", как, например, когда он описывает "морфемный уровень" (с. 396).

Представляя свои взгляды, Лангакер противопоставляет их лишь трансформационной порождающей грамматике (ТПГ). при-

чем иногда в резкой форме, фактически не обращая внимания на всю предшествующую теорию; из работ, опубликованных до 1957 г., библиография (с. 495—504) включает лишь две обязательные ссылки на "Курс" Соссюра [1] и "Язык" Блумфилда [2], а также две ссылки на работу Сепира [3] и Вовделла [4] (исследование фонем), одну на Герна [5] (значение) и одну на "Философские исследования" Витгенштейна [6].

Несмотря на то, что, подобно сторонникам ТПГ, Лангакер заимствует многое из когнитивной психологии, для него "лингвистика является эмпирической дисциплиной" (с. 45), а "когнитивная грамматика — это теория, основанная на узусе" (с. 46). Явления языкового узуса классифицируются путем обращения к концепту прототипов (определяемых на с. 492 как "такие единицы в схематической сети, которые естественным образом являются наиболее заметными, которые чаще всего являются предметом мысли и которые предпочтительно выбираются в качестве представителей категории"). Тем не менее Лангакер находит "параллели" между КГ и ТПГ, особенно в их наиболее недавних вариантах: например, "большой акцент на поверхностную форму", "большой акцент на лексикю", "поиск психологически реалистичного основания структуры языка, который непосредственно связывает ее с обработкой языка" (с. 4—5). Автор не рассматривает связь и управление. Кроме того, "практические свойства формализации в большинстве своем были преувеличены, (в особенности) та точка зрения, что тщательная формализация есть необходимое условие любого важного открытия в лингвистике" (с. 44—45).

Более того, фундаментальным вопросом в лингвистической теории является природа значения и то, как его интерпретировать... когнитивная грамматика... отождествляет значение с концептуализацией (трактруемой как когнитивная обработка). Она, таким образом, противоречит основным традициям семантической теории" (с. 5). Для Лангакера "разум есть ментальная активность" (с. 138), то же самое, что и "ментальная обработка" (с. 100). "Грамматика есть комбинация символических структур с целью создания символических выражений высокой степени сложности. Таким образом, компоненты грамматической конструкции являются символическими и имеют как семантический, так и фонологический полюс" (с. 88). В отличие от ТПГ, КГ не считает синтаксис самостоятельным уровнем (с. 28).

Основной задачей Лангакер считает соз-

дание "полностью адекватной и абсолютно формализованной грамматики" (с. 44). Такая грамматика "постулирует всего лишь три основных типа структуры: семантическую, фонологическую и символическую. Символические структуры не столько отличаются от первых двух типов, сколько являются их сочетанием. Символическая структура биполярна и состоит из семантического полюса и фонологического полюса, а также связей между ними" (с. 76).

Приведенные выше тезисы представляют некоторые из основных принципов лангакеровского подхода к языку. Я не буду детально рассматривать его концепцию, в особенности многочисленные построения и специальные термины. Термины в большинстве своем приведены в словаре (с. 485—494), остальные могут быть найдены в тексте с помощью указателя (с. 505—516).

Можно также добавить следующие замечания (ср. [7—8]).

1. Для Лангакера "грамматика языка является простым инвентарем лингвистических единиц. (Между тем) исчерпывающее описание языка не может быть дано без полного описания человеческой когниции" (с. 63). Судя по всему, придется подождать еще некоторое время появления грамматики любого языка.

2. Основанием для "работающей" семантической и грамматической структуры является "энциклопедическая концепция лингвистической семантики" (с. 155) в противоположность "концепции лингвистической семантики словарного типа" (с. 156). В поддержку этой позиции Лангакер выдвигает тот довод, что "энциклопедическая концепция лингвистической семантики дает возможность естественного и интегрирующего описания структуры языка, которая связно и последовательно включает в себя такие основные пункты, как отношения грамматической валентности, семантическую протяженность (сфера, охватываемая значением) и узус" (с. 156). Он трактует "явления узуса" в том же плане, как, например, случай с французским *avant* и *après* и то, что может быть проиллюстрировано тривиальным английским примером на семантику *The cat is on the mat*. С его точки зрения, "бесконечные возможности" интерпретации говорят в пользу энциклопедической концепции. Любопытно, что "энциклопедическая концепция" слова *cat* включает в себя множество фактов, которые вряд ли имеют отношение к интерпретации этого и многих других примеров употребления этого слова, например, "поток крови как сравнение с ныряющим животным", "овуляция, вызванная

спариванием", "третичные эволюционные тенденции". С другой стороны, энциклопедии уделяют мало внимания фактам, включаемым в "концепцию словарного типа". Если настаивать на том, что переносное употребление нельзя не принимать во внимание, Лангакеру придется включить в свое поле зрения целый ряд ситуаций, как, например, лежащих в основе утверждения *A cat may look at a king* или шекспировское *A rox upon him for me, He is more and more cat*. Прочие значения слова *cat* достаточно полно описаны в словаре. Вместо того, чтобы думать о том, как перейти к энциклопедическим концепциям, лингвистам, возможно, следовало бы установить более тесные контакты с осуществляемыми в настоящее время проектами по составлению словарей, как, например, проект OED (Oxford English Dictionary) и французского словаря на основе двух миллионов компьютеризованных текстов. Сотрудничество могло бы быть полезным для обеих сторон.

Очевидно, что Лангакер отдаст предпочтение энциклопедической концепции перед концепцией словарного типа, потому что последняя исходит из "предположения о том, что язык (и, в частности, семантика) представляет собой самостоятельную формальную систему", предположения, которое, с его точки зрения, "просто ни на чем не основано". Тот факт, что автономия языка была бы чрезвычайно удобной для лингвистов, не дает оснований верить в ее реальное существование (с. 156). Между тем не так уж много ученых считают автономной область, в которой они работают. Например, биологи признают полезность химического анализа и активно его используют, равно как и достижения физики, и т.д. Ученые размежевывают сферы своей деятельности для более глубокого проникновения в свой предмет. Лингвисты изучают язык, социологи изучают социальные группы, эпистемологи — природу знания. Трудно представить себе, что социологи или эпистемологи считают свой предмет "самостоятельной формальной системой". Важнейшим вкладом в изучение языка в прошедшие десятилетия явились именно результаты сотрудничества лингвистов, социологов и ученых других специальностей.

Лангакер в особенности возражает тем, кто изучает значение, "охватывая" автономную семантику на основании "той точки зрения, что человеческая концептуализация не поддается эмпирическому исследованию и точному описанию". В его представлении "значение есть в конечном итоге предмет концептуализации... кажется необоснован-

ным избегать трудностей описания ее в этих терминах, какими бы ограниченными ни были нынешние возможности делать это" (с. 156). Лангакер, безусловно, свободен в выборе пути изучения языка. И он имеет право надеяться, что его попытки в конце концов увенчаются успехом. Пока что он ограничивается предположениями. В этой связи можно вспомнить заключение Блумфилда о том, что попытки объяснить относительно простые проблемы языка с помощью гипотез, касающихся умственной деятельности, имеют свои недостатки, а это — что признает и Лангакер — намного усложняет путь решения этих проблем.

3. Более того, в когнитивных исследованиях также существуют различия в подходах и взглядах. Недавно опубликована еще одна двухтомная работа, структура которой удивительно похожа на структуру работы Лангакера [9]. В первом томе содержатся общие теоретические положения, второй том посвящен биологическим и психологическим моделям. Группа разрабатывает систему для исследования и управления компьютерами и добивается успешного обучения языку, сравнимого с обучением детей. Ученые предполагают, что их системы могут обучиться любому когнитивному поведению. Как и у Лангакера, в данном подходе отвергается различие между способностью и действием, а также постулирование правил языка. Но эти системы скорее моделируют контроль над языком, а не над знаниями, выражаемыми при помощи языка; компьютерные системы скорее не собирают энциклопедических знаний, а система нервных клеток головного мозга, которая используется языком для передачи этого знания. Таким образом, компьютерные модели, созданные этой группой, проявляют когницию и усвоение языка. Из этого не следует, что язык неразрывно связан с передачей информации, что он не отличен от этой информации, скорее, напротив, он, возможно, является самостоятельной системой.

4. Как и все другие недавние теории, исследование Лангакера было бы более убедительным, если бы он принимал во внимание работы своих предшественников. С удивлением читаем, что "лингвисты постепенно приходят к должной оценке критического значения категоризации для лингвистических структур" [7]. Есперсен в своей основной теоретической работе посвятил категориям целую главу [7]. На ее последних трех страницах рассматриваются понятийные категории. В его представлении "задачей грамматики является исследование отношений между понятийными и синтаксическими

категориями". После рассмотрения примеров он останавливается на "тройном делении, трех стадиях грамматического исследования одних и тех же феноменов, или трех точек зрения, с которых могут рассматриваться грамматические явления, которые могут быть кратко описаны так: (А) форма, (В) функция, (С) значение". Более того, он настаивает на том, что категория в (С) «должны иметь лингвистическое значение; мы хотим понять языковое (грамматическое) явление, и, следовательно, было бы неправильно приняться за работу, считая, что языка не существует, классифицируя вещи или идеи без учета их языкового выражения... мы не должны надеяться, что придем к "универсальной грамматике" в том смысле, как ее понимали старые философские грамматисты». Можно было бы сберечь множество усилий и использовать их для исследования понимания языка и управления им, если бы лингвисты и специалисты по искусственному интеллекту учитывали в своих рассуждениях стройную концепцию Есперсена.

Ельмслев также ясно высказывается по поводу категорий в своей книге "Проломены", где он говорит, что "лингвистическая теория предписывает текстовый анализ, который приводит нас к признанию лингвистической формы, стоящей за "субстанцией", непосредственно воздействующей на наши органы чувств, и за текстом стоит язык (система), состоящий из категорий, из определения которых могут быть выведены возможные единицы языка» [8, с. 96]. Дальнейшее исследование категорий может быть проведено при учете ссылок на Блумфилда, Хоккета и других. В общем, принципиальное значение категоризации признано настолько широко, что об этом уже не нужно так много говорить; отчет о недавней конференции Индогерманского общества, посвященной категориям, уже даже не включает в рассмотрение их определения [10].

5. Хотя это будет некоторым отклонением от темы, я хочу обратить внимание на послесловие Есперсена к упоминаемой выше главе. Он кратко ссылается на великую книгу "Мысль и язык" выдающегося историка французского языка Ф. Брюно, опубликованную в то время, когда теоретическая работа Есперсена была уже в основном завершена. Согласно Есперсену, Брюно "предлагает революционизировать обучение (французской) грамматике, начиная это обучение изнутри, с мыслей, которые должны быть выражены, а не с форм". Есперсен выдвигает две задачи: 1) важно начинать с мысли, понятия — это один из двух путей

подхода к фактам языка, первый из которых — путь снаружи вовнутрь, а второй — наоборот, и 2) "необходимо поддерживать различие грамматики и словаря". Лингвисты и специалисты по искусственному интеллекту, работающие с представлением знаний, могли заметить, что предлагаемая ими "революция" является повторением более ранних исследований языка, где поднимались вопросы, из которых можно извлечь пользу после должного размышления.

6. Лангакер, вероятно, также считает себя пионером в статистическом подходе к языку, противопоставленном подходу к языку как к идеальной схеме. "Верхом на белом коне" он атакует "как диахронические, так и типологические исследования" (с. 48). И те, и другие обвиняются в поддержке идеи "абсолютной предсказуемости". Вновь опираясь на недавнюю публикацию на английском языке [11], он атакует неограмматиков за их "утверждения о том, что законы значимых звуков не имеют "действительных" исключений" (с. 48). В качестве контраргумента против их объяснения "кажущихся исключений" "аналогией или же действием еще пока не открытого звукового закона или какой-либо другой причиной" он заявляет, что "некоторые виды изменений распространяются путем лексической диффузии". Как бы мы ни приветствовали дополнительные исследования в области звуковых изменений, необходимо отметить, что историческое языкознание уже давно дало примеры такого распространения. Можно заметить, что статья Лабова всего лишь применяет современный подход и терминологию к интерпретации факта, давно уже исследованного историческим языкознанием.

Более того, на любом элементарном занятии по истории немецкого языка при рассмотрении изменения древнесверхнемецких согласных звуков приводятся слова, где варьируется тот или иной согласный. Наиболее часто используемые в качестве примеров слова — это среднефранкские *it, dit, dat, wet, ellet*. Прибш и Коллинсон [12] отмечают также, что *dit* распространяется к нижнегерманскому ареалу вплоть до гессенского и тюрингского. Хотя элементарные занятия по историческому языкознанию могут уделять основное внимание обобщениям, подробные списки звуковых изменений, отмеченных в определенные исторические переходы, уже давно стали общедоступными. Здесь можно отметить статью, написанную по-английски [13]. Используя одну из карт диалектического атласа Вредс, Блумфилд приводит различное распределение слов по 61 субареалу немецкого ареала.

в которых происходит изменение согласных. Было бы целесообразно проштитировать его размышления о процессе работы: "Мощные и глубоко укоренившиеся запреты мешают исследованию языка, в особенности родного языка... информация часто поступает в очень малых количествах, иногда на страницу едва приходится одна форма". Хотя наблюдения Блумфилда относятся к изучению диалектов, они могут касаться также и теоретических книг, особенно последняя фраза: "Честно говоря, в научной претенциозности очень мало ценного" [13, с. 182].

Перед тем, как вновь обрушиться на неограмматиков или предлагать исправлять теорию исторического языкознания, лингвистам, возможно, следовало бы просмотреть более ранние публикации, как, например, первую статью В. Брауна [14]. Тогда бы им стало понятно, что мало кто из лингвистов-историков придерживался мнения о том, что все носители языка к югу от линии Бенрата однажды приняли усовершенствованные языковые законы и решили изменить *p*, *t* и *k* в соответствии с некоей великолепной теорией Хомского — Халле.

7. Точно так же типологи используют статистику для работы с фактами языка. В соответствии с научным методом, они на основе статистики могут делать обобщения и постулировать "ожидаемые модели" [15]. Лингвисты, которые сейчас приняли термин "прототип", могут прийти и к пониманию выражения "ожидаемые модели". Обобщения, касающиеся прототипических моделей, в свою очередь могут быть взаимосвязаны и сгруппированы по определенному принципу. Предлагаемый принцип и обобщения могут быть отвергнуты, но только после изучения соответствующих явлений, а также расширены за счет изучения новых данных. Одно лишь обширное изучение фактов, на котором был основан мой принцип 1973 г., поддержало интерпретацию данных индоевропейских языков [16]. Трудно понять, как серьезный ученый может пытаться отвергнуть обобщения, прибегая к способу, названному Честертоном использованием шельмования в качестве палки для битья догм.

8. Вероятно, самой слабой частью работы Лангакера является его неспособность рассматривать язык как феномен, подверженный постоянным изменениям. Вместо того, чтобы основываться на своих же мыслях об отказе от направленности теории на "идеального адресанта — адресата" и т.д., он цепляется за шаблоны, установленный в результате специального исследования идеального языка, примером чего является исполь-

зование английского языка. Поскольку статистический подход имел бы мало смысла при работе с идеальной системой, Лангакер имплицитно признает, что язык постоянно меняется, находится в постоянном движении. Ему следовало бы построить свою теорию на этом признании. В наше время лингвисты обращают всеобщее внимание на объединение синхронической и диахронической лингвистики после ограничений, наложенных Соссюром или противоположных им ограничений, выдвинутых Хомским, как сделал, например, Гамкрелидзе в своем блестящем докладе на Конгрессе лингвистов [17]. Как бы ни была озаглавлена книга по теории, она не может обходить вниманием исторический аспект языка.

9. Далее, выводы не могут делаться лишь на основании точки зрения, что они естественны или сразу бросаются в глаза. Очевидно, что для автора слово "естественный" более значимо, чем "обоснованный". Лингвистические исследования очень много выиграли бы от введения абсолютного и постоянного запрета на термин "естественность".

10. Кроме того, как заявляет Лангакер на первых страницах своей работы, простое изложение новой теории, подкрепленное лишь несколькими разрозненными фактами, малоубедительно. 60-е годы прошли. Теперь уже нельзя завоевать имя или создать школу лишь за счет интересных идей и хитроумных предложений. Теории, будь то ТПГ, КГ, УС, функционально-лексическая теория Газдара — Пуллума — Сапа или любая другая, располагают общим средством доказательства своего превосходства над теориями Муррея, Есперсена, Поля, Мейе, Лемана и т.д., независимо от того, прямо или косвенно они излагаются: они должны создать лучшие грамматики и словари. Только после того, как авторы теорий создадут труды, способные поколебать основные положения работ [18, 7, 19, 20] и т.д., только тогда мы получим доказательства того, что та или иная теория действительно самая "естественная". И самая очевидная.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Saussure F. de. Cours de linguistique générale.* P., 1916.
2. *Bloomfield L. Language.* N.Y., 1933.
3. *Sapir E. Sound patterns in language // Language,* 1925. 1.
4. *Twaddell W.F. On defining the phoneme.* Baltimore, 1935.
5. *Stern G. Meaning and change of meaning.* Goteborg, 1931.

6. Wittgenstein L. Philosophical investigations. N.Y., 1953.
7. Jespersen O. A modern English grammar on historical principles. V. 1—7. Copenhagen, 1909—1936.
8. Hjelmslev L. Prolegomena to a theory of language / Translated by Whitfield F.J. Madison, 1969.
9. Parallel distributed processing: Explorations in the microstructures of cognitions. V. 1—2 / Ed. by Rumelhart D.E., McClelland J.L. Cambridge (Mas.), 1987.
10. Grammatische Kategorien: Funktion und Geschichte // Hrsg. von Schlerath B., Rittner V. Wiesbaden, 1985.
11. Labov W. Resolving the Neogrammarian controversy // Language. 1981. V. 57.
12. Priebisch R., Collinson W.E. The German language. London, 1948.
13. Bloomfield L. Initial *k* in German // Language. 1938. V. 14.
14. Braune W. Zur Kenntnis des Fränkischen und zur hochdeutschen Lautverschiebung // SGDSG. 1874. Bd 1.
15. Lehmann W.P. A structural principle of language and its implications // Language. 1973. V. 49.
16. Гамкрелидзе Т.В., Иванов Вяч.Вс. Индоевропейский язык и индоевропейцы. 1—2. Тбилиси, 1984.
17. Gamkrelidze Th. Language change and diachronic linguistics // Preprints of the plenary session papers. XIV International Congress of linguists. B., 1987.
18. Oxford English dictionary. V. 1—13 / Ed. by Murray J.H. et al. Oxford. 1888—1928.
19. Paul H. Deutsche Grammatik. Bd 4—5. Halle, 1916—1930.
20. Meillet A. Introduction à l'étude comparative des langues indoeuropéennes. P., 1937.

Леман В.П.

Перевела с английского Азарова Н.М.

Васильев С.А. Синтез смысла при создании и понимании текста. Киев: Наукова думка, 1988. 240 с.

Автор монографии — известный философ, занимающийся проблемами теоретического языкознания. С.А. Васильев справедливо отмечает, что многие проблемы, поставленные еще в 20-е годы, не получили окончательного лингвистического решения или объяснения. Например: 1) Почему синтез значений эталонных языковых знаков дает в итоге смысл, который не сводится к сумме этих значений? 2) Почему вырванное из контекста слово утрачивает "верхние" пласты речевого смысла, сохраняя только его устойчивое ядро — лексическое значение, которое и фиксируется в словарях? 3) Принадлежат ли текстовые элементы, функциональное значение которых проявляется только за пределами предложения, и их функции к языку или же язык полностью исчерпывает свои полномочия лишь предложением, а в тексте отношения между этими элементами регулируются уже иными — неязыковыми механизмами?

С.А. Васильев справедливо полагает, что языковая компетенция не исчерпывается способностью строить и понимать осмысленные предложения, она включает также владение механизмом сверхфазового анализа и синтеза (с. 47—51). Исходя из этого, С.А. Васильев ставит целью исследовать закономерности и структуры человеческого мышления, данного в интересующих

активных и наблюдаемых формах текста. В основе этого замысла лежит его убеждение, что все попытки "схватить" и изучить мысль в ее идеальных, не отягощенных языковой материей формах неизбежно основаны на целом ряде неосознаваемых, а значит неконтролируемых, абстракций.

Книга С.А. Васильева состоит из введения (с. 3—10), трех глав (с. 11—226), заключения (с. 227—228) и списка литературы (с. 229—238).

В первой главе ("Текст и язык. Способ существования языка", с. 11—52) — самой краткой в монографии и целиком "языковедческой", хотя данные проблемы волнуют и философов, — нашли отражение наиболее болезненные и, можно сказать, "вечные" вопросы современного теоретического языкознания: как философ понимает соотношение "язык—речь" и проблему объективации мысли, сущность языка как системы абстрактных знаков-эталонов, разграничение "знаков языка" и "знаков речи", проблему языка как отражения регулярностей в тексте и, наконец, язык как предмет научного описания.

Во второй главе ("Тексты и предметный мир человека", с. 53—134), рассматриваются сущностные характеристики и границы текстов, проблемы смысла в текстах и смысла в предметном мире, соотношения невербальных знаков и текстов.

В третьей главе ("Средства и механизмы смыслообразования в тексте", с. 135—226), самой полной по своей завершенности и самой "когнитивно-философской" главе, исследуются вопросы синтеза смысла, категорий мышления, связанности и уровней понимания текста.

Рассмотрим содержание книги по наиболее важным проблемам.

1. Понятие "знак". Если, с одной стороны, считать, что в знаке обе стороны психичны (Ф. Соссюр) и связаны ассоциативной связью, то коммуникация и обмен информацией невозможны посредством языка, поскольку такие знаки не могут восприниматься другими людьми: они принадлежат сознанию и как идеальные сущности ненаблюдаемы. С другой стороны, если считать, что знак материален (В.З. Панфилов) и, следовательно, знаки языка суть физические сущности, то коммуникация опять-таки оказывается невозможной, потому что воспринимающее сознание просто не сможет их узнать, отождествить их с теми знаками, которые уже встречались раньше, или наоборот, не сможет отличить их от других знаков. Таким образом, материальные знаки не могут быть введены в сознание в силу их вещественности, "телесности", следовательно, материально-знаковое "языковое" мышление невозможно. Как пишет С.А. Васильев, коммуникация невозможна при любом из двух отмеченных выше допущений относительно онтологического статуса знаков, и тем не менее коммуникация осуществляется. В этом суть парадокса, основания которого кроются в недостаточно последовательном размежевании языка и речи. Этот парадокс может быть устранен, если мы признаем раздельное существование двух различных классов явлений — знаков языка и знаков речи (текста). Последние всегда материальны в том смысле, что их планом выражения служит физическая субстанция. Но они имеют и план содержания — присущий им смысл. Речевые (текстовые) знаки никогда не бывают абсолютно тождественными между собой. Тождественными или различными они становятся благодаря знакам языка — абстрактным представителям речевых знаков в сознании, эталонам, в соответствии с которыми воспринимается и воспроизводится речь. Именно абстрактность, "идеальность" языковых знаков обеспечивает их функционирование как эталонов (образцовых знаков) и придает им своеобразный "сакральный" характер. "Без знаков языка невозможны знаки речи, и наоборот" (с. 29). Идея автора состоит

в том, чтобы признать "двойное бытие" всякого знака, причем в каждом из них (в языке и речи) он двухсторонен, т.е. имеет форму и содержание. Связь между знаком языка и знаком речи выражается оппозицией "инвариант—вариант" или "эталон—экземпляр". Только признание такой "двуликости" (а в конечном счете — "четырёхликости") знака дает реальную почву для объяснения процессов порождения и понимания текстов (с. 109). Реализуя отношение "инвариант—вариант" или "эталон—экземпляр", неограниченно тиражируя эталон, речевая деятельность устраняет несоответствие между конечным множеством знаков языка и неограниченным множеством их текстовых вариантов. "Необходимая грань" между знаком и высказыванием, между языком и текстом оказывается фикцией (с. 124—125).

2. Понятие "язык". При овладении языком в сознании человека, воспринимающего речь, откладываются прежде всего наиболее часто повторяющиеся, наиболее существенные для эффективной коммуникации элементы и структуры, а все случайное, второстепенное забывается (с. 32). Овладение языком возможно двумя путями: через тексты, в которых реализуется изучаемый язык, и через тексты, в которых он описывается. Однако первоначальное овладение родным языком происходит путем вовлечения в непосредственное речевое общение, т.е. на основе знакомства с письменными и устными текстами, создаваемыми средствами родного языка (с. 35). Исходя из этого, С.А. Васильев делает вывод о трех способах существования языка. 1) Язык существует в сознании в виде системы абстрактных эталонных элементов (знаков), используемой говорящим для упорядочивания и оформления материальной субстанции (речи, текста. — К.А.) с целью передачи смысла, а слушающим — для распознавания в этой организованной материи речевых знаков с целью овладения смыслом речевого произведения. 2) Язык существует в тексте как свое инобытие, т.е. как некоторые "регулярности", повторяемые и соотносящиеся друг с другом аспекты текста, которые сами по себе языком еще не являются, но становятся им в результате абстрагирующей работы членов коллектива. Язык в тексте существует так, как инвариант существует во множестве своих вариантов или как идея существует во множестве своих предметных воплощений. Вне

отношения к языку текст оказывается лишь звуковым шумом. 3) Язык существует в тексте как предмет научной реконструкции и описания. Во всех трех случаях язык выступает в разных своих ипостасях. Бытие языка в сознании еще не значит, что носители языка "знают" его и могут сообщить о его устройстве и механизмах функционирования. Если бы это было так, то не нужна была бы и лингвистика как наука. Единственный способ проникнуть в "языковое" сознание — анализ и моделирование наблюдаемой речевой деятельности и ее готовых продуктов — текстов (с. 35—36)¹.

3. Понятие "речь". Несмотря на бесконечное разнообразие звуков, произносимых говорящим, только ограниченное число их имеет связь с передаваемым смыслом (в каждом языке по-разному). Эти факты подтверждают мысль, что звуки принадлежат не языку, а речи, которая несет в себе не только общие, социально значимые элементы, но также и все индивидуальные особенности (с. 17): Речь — это "множество высказываний, ...единство двух субстанций — материальной (звуковой, физической) и духовной (смысл, который является речевым или текстовым эквивалентом мысли, сознания)" (с. 18). Язык как нечто социальное и коллективное по своей природе реализуется в речи, которая, следовательно, содержит в себе и социальное, и индивидуальное. В противном случае она не могла бы быть понятой другими людьми (с. 29—30).

4. Взаимоотношение "язык — речь". Речь материальна, тогда как язык представляет собой систему абстрактных сущностей (с. 16). Языку принадлежат не звуки, а фонемы, понимаемые как набор смысло-различительных признаков. Звуки принадлежат не языку, а речи, которая несет в себе не только общие, социально зна-

чимые элементы, но также и индивидуальные особенности (с. 16). Всякая законченная мысль (суждение, умозаключение) находит свое выражение в речи. Мысль, объективированная в речи (в тексте), выступает как ее смысл, тогда как языку принадлежат значения, абстрагированные из речи (с. 17). Важно понять эту «диалектическую соотношенность языка и речи, их тождественность и в то же время такое присутствие в другом, при котором каждый член оппозиции, даря себя другому, растворяется в нем и утрачивает признаки своего специфического бытия, становясь "другим самого себя"» (с. 32—33). Язык понимается именно как идеальная, а не материальная сущность. Это автор доказывает тем, что отдельные сегменты речевого выражения должны быть известны как значимые единицы (слова); такая возможность возникает лишь в том случае, если в сознании реципиента имеются эталоны, с которыми сопоставляются отдельные отрезки речевой цепи (с. 23—24). Что первично, а что вторично в дихотомии "язык — речь"? Речь оказывается все-таки первичной по отношению к языку. Ребенок вырабатывает свой язык на основе восприятия чужой речи, он "...должен собственными усилиями реконструировать язык, который лежит в основе этих произведений. Другого способа не существует" (с. 30). Системой лексических значений язык обращен к предметному миру, по отношению к которому лексика выступает как классификационная система, а своим фонемным составом язык соприкасается по каналам органов чувств со звучащей материей речи, вычленив в ней изолированные сегменты в качестве речевых единиц, т.е. тоже классифицирует ее. Двуплановость языковых знаков — не случайный и второстепенный факт, она образует самую сущность сознания, поскольку благодаря такой двусудной природе знака происходит "...перекачка смысла из сферы практической деятельности в сферу речевой коммуникации, и наоборот. Индивидуальный опыт становится достоянием всего общественного коллектива, а коллективный опыт формирует индивида как мыслящую личность" (с. 31).

5. Взаимоотношение "язык — мышление". Из признания дихотомии "язык — речь" неизбежно следует новая постановка

¹ Не отрицая правомерности и различения двух типов "языка в тексте" (п. 2, 3), мы полагаем, что это один и тот же "язык", но в первом случае он существует для "человека с улицы", во втором — для лингвиста. Поэтому мы видим лишь два способа существования языка: "язык в мозгу" и "язык в тексте". Другой формы существования и проявления любого естественного языка кроме как потенциальной системы в мозгу и как реализованной системы в тексте, по-видимому, не существует" [1].

старой проблемы взаимоотношения языка и мышления, т.е. вопрос должен быть поставлен дифференцированно: в каком отношении человеческая мысль находится к речи и в каком — к языку (с. 14—15). Проблема взаимоотношения языка и мышления принадлежит к числу тех "вечных" вопросов человеческого бытия, которые каждая эпоха ставит по-новому, исходя не только из добытых научных знаний, но также из новых ценностных ориентаций человека. Каждая эпоха наполняет эти термины более богатым и конкретным содержанием. Отсутствие однозначных и общепринятых определений этих понятий — не временная трудность, а показатель прогрессирующего познания, когда едва установленные границы тут же нарушаются и познающее сознание вновь вынуждено ставить казалось бы уже решенный вопрос. (с. 12—13).

Лингвисты давно заметили, что смысл целого высказывания больше суммы значений образующих его слов. Но как возникает этот смысловой "довесок"? Возникает нечто новое в мысли, чего вне отношений в тексте не было ни в одном из соотносящихся элементов (с. 8). Человек каким-то образом умеет извлекать из текстов тот смысл, который не выражен в них эксплицитно с помощью языковых значений. Чтобы понять высказывание, мало владеть языком и его лексическими значениями, нужно, кроме того, знать смысл человеческих поступков и действий. Не правила грамматики являются решающими для понимания текста, а "правила действительности" (с. 173). Сейчас уже невозможно отстаивать точку зрения, согласно которой процесс мышления осуществляется только в формах естественного языка [2], а результат мыслительной деятельности объективируется только в вербальных текстах. Вербализация мыслительных процессов у человека зашла столь далеко, что очень трудно отделить предметное мышление от речемыслительных процедур, связанных с оперированием знаками. Мысль должна существовать до знаков, иначе не возникали бы трудности в подборе соответствующих словесных знаков. Исследование различий между предметным и знаковым мышлением затруднено неразработанностью критериев, по которым можно отличать знаки от предметов, не являющихся знаками (с. 94—104).

6. Взаимоотношение "речь—мышление". Когда К. Маркс пишет, что «на "духе" с самого начала лежит проклятие быть отягощенным материей, которая выступает

здесь в виде движущихся слоев воздуха, звуков, — словом, в виде языка» [3], то он имеет в виду речь, т.к. современная ему лингвистика не знала терминологического различия между языком и речью. Именно речь есть "практическое действительное сознание". Когда в процессе речевого общения собеседники производят и воспринимают колебания материальной (воздушной) среды, они не передают друг другу свою готовую мысль, а индуцируют ее в сознании партнера каждый раз заново. Но чтобы это было возможно, звуковой поток (речь) должен быть некоторым образом организован, упорядочен в соответствии с той знаковой системой (языком), которой сообщая владеют (и используют) оба коммуниканта.

7. Взаимоотношение "язык—логика". В связи с тем, что человек, как пишет С.А. Васильев, мыслит средствами естественного языка, то и суждение, "...понимаемое как смысл соответствующего предложения, приобретает структуру, определяемую грамматикой данного языка. Вопреки распространенному убеждению, обнаружить формы мышления, общие для всех людей и в этом смысле универсальные, не удастся. Они различаются у носителей разных языков, что, впрочем, не мешает им выражать тончайшие оттенки смысла". (с. 162).

8. Понятие "текст". К свойствам текста С.А. Васильев относит: 1) зависимость от языка; 2) информативность, наличие в нем некоторого сообщения (смысла); 3) наличие в тексте единства двух субстанций — материальной и духовной; 4) объективацию мысли и языка автора в тексте, причем последний представлен в своем произведении гораздо полнее и многообразнее, чем адресат (с. 57—60); 5) отсутствие формальных признаков в определении границы текста; 6) связанность текста, обеспечивающую его единство и целостность (с. 63—64).

9. Взаимоотношение "язык—текст". Язык, как и любую абстракцию, нельзя воспринимать органами чувств, он присутствует в тексте не как предмет или вещь "наряду" с другими текстовыми феноменами, а как их внутренняя упорядоченность и закономерность, обнаруживаемая только благодаря деятельности сознания (с. 32). Язык и текст взаимно определяют и конституируют друг друга, и в историческом плане они развиваются параллельно. Но регулярность, наблюдаемая в текстах, еще не есть язык, а только его прообраз, нуждающийся в интеллектуальной обработке, и

вместе с тем она (регулярность) уже не язык, а нечто большее, поскольку объективирована в материальной субстанции. Словарь и грамматика как составляющие языка ненаблюдаемы, они "работают" как абстрактные идеальные сущности. Если речь идет о текстах, в которых реконструируются составные части языка, то в этом смысле "словарь" и "грамматика", конечно, наблюдаемы. Не существует принципиального различия между текстами, с одной стороны, и словарями и грамматиками, с другой, хотя все они имеют специфические структурные и языковые особенности (с. 34—35). Текст ориентирован на творческое восприятие. Его автор намеренно прячет некоторые текстовые связи или вообще отказывается от них, создавая взамен смысловые мостики в области подтекста². Тем самым он заставляет читателя включить в действие неосознаваемое, сотрудничать с ним и чувствовать себя соучастником творческого процесса и, следовательно, получать от этого удовольствие и радость первооткрывателя (с. 168).

В то же время С.А. Васильев, исследуя взаимодействие между языком и текстом, пишет, что а) состав и структура языка обусловлены, в первую очередь, корпусом текстов, служащих базисом для его формирования, поскольку инвариант определяется множеством своих вариантов; б) язык зависит от тех принципов и постулатов, которыми руководствуется исследователь, когда решает, какие текстовые явления должны отражаться в языке, а также второстепенны, случайны и принадлежат индивидуальным особенностям речи (с. 42).

10. Взаимоотношение "текст — мышление". С.А. Васильев пишет, что вынесенная за пределы индивидуального человеческого сознания, объективированная в материальной среде мысль обнаруживает себя как смысл текста. В этом случае, по его мнению, нельзя уже принять утверждение, что "в тексте нет смысла", что остаются только чернильные пятна на бумаге либо колебания воздуха. Смысл — не вещь, а отношение тождества и различия, поэтому его нельзя зафиксировать никакими приборами. Если тексты никто не понимает, то с их помощью не происходит сравнения мыслей двух коммуникантов, они утрачивают смысл и перестают быть текстами, хотя полностью сохраняется их материальная оболочка (с. 19—20). Таким обра-

зом, смысл — это текстовый аналог мысли, это "иноебытие" мысли, когда она объективируется в тексте. Поэтому тексты являются самым удобным полем исследования человеческого мышления (с. 21). Поэтому текст имеет статус "материального носителя смысла", "непосредственной действительностью мысли" (с. 22). С.А. Васильев находит противоречие у В.З. Панфилова, считающего, что, с одной стороны, "идеальная сторона языковых единиц не может существовать вне мозга человека", "вне мыслящего субъекта, вне сознания", с другой, "происходит вынос идеального за пределы сознания" в "материальной форме" речевых произведений, идеальное существует в данной "материальной форме", но и то лишь как возможность [5]. Однако С.А. Васильев сам же разделяет эту точку зрения: мысль существует и в сознании, и в тексте, но в тексте он ее называет "смыслом" текста, в тексте всегда есть смысл, иначе это не текст, а лишь чернильные пятна. На самом деле отношение "текст — мышление" гораздо сложнее. В связи с этим возникает несколько вопросов: может ли мысль быть "вынесена" за пределы человеческого сознания, ведь она — идеальный продукт мозга, родившийся в результате материальных процессов в нейронных связях человеческого мозга и, следовательно, как была, так и остается принадлежностью только мозга? С этой точки зрения в тексте не должно быть "мысли", называемой "смыслом". Тогда что же в нем есть, если мы "понимаем", "угадываем", "расшифровываем" ту мысль, которая возникла в голове собеседника, не "заглядывая" в его мозг?

11. Взаимоотношение "текст — мир". Взаимоотношение между текстом и остальным миром С.А. Васильев видит в следующем. 1) Тексты, подобно всем прочим вещам, материальны, что и обеспечивает их воздействие на органы чувств человека ("средний термин", который связывает разрозненные сознания). 2) Текст, как и остальной мир, осмыслен, текст создается, чтобы объективировать мысль автора, вынести ее за пределы индивидуального сознания и представлять как смысл, подлежащий усвоению другими людьми (с. 81). 3) Все знаковые построения вторичны по отношению к предметному миру. От адресата к адресату передается (sic!) не сама вещь, а смысл, делающий данную вещь предметом, закрепленным в лексических значениях языка. 4) Само первичное осмысление мира человеком осуществляется при помощи текстов (с. 88). Но тексты, в от-

²Эта проблема была поставлена на материале русских причинно-следственных конструкций с позиций формальной логики в работе [4].

личие от прочих предметов матерьяльного мира, имеют два смысловых уровня: а) "смысл-сообщение", т.е. то, что хотел сказать автор, — это наиболее устойчивая часть смысла; б) "смысл-ценность", т.е. смысл, в каком-то отношении внешний, вторичный по отношению к сообщению, — автор не властен над этим смыслом, так как в его образовании принимает участие все общество (с. 93).

Невербальные средства в вербальном тексте привычны для нашего сознания. В вербальном тексте принимают участие такие смысловые "блоки", которые не имеют знаковой природы. Слово своим значением не исчерпывает всего того, что хочет сказать автор, а выступает в роли проводника, который выводит сознание читателя (слушателя) из "тесного пространства лингвистически упорядоченных знаков в широкий мир внеязыковых смыслов" (с. 100). В образовании смысла целого текста принимают участие смысловые элементы данного текста и смысловые элементы, находящиеся за пределами текста, "предсуществующие, но не воспроизводимые в нем" (с. 227).

Итак, С.А. Васильев рассматривает проблемы знака, языка, речи, мышления, текста, логики, некоторые проблемы взаимодействия этих аспектов коммуникативно-мыслительной деятельности, которые рецензентом специально выделены в рецензируемой книге и обобщены как наиболее важные проблемы теоретического языкознания: мы имеем дело с аспектами вербальной коммуникации, где каждый из них — это одно по отношению к данному, но уже другое по отношению к другому. Между этими аспектами коммуникативно-мыслительной деятельности человека оказалось невозможным провести четкую грань, так как каждый из этих феноменов в какой-то степени закономерно повторяет себя в другом (например, понятие "знак" входит в понятие "язык", "язык" содержится в "речи", "речь" — это одно и то же, что и понятие "текст", понятие "мысль" или "мышление" в какой-то степени отождествляется с "текстом", "речью" и т.д.). Однако мы попытались содержание монографии "разложить" по проблемам и их взаимосвязям (оглавление книги не совпадает с этим проблемами), представить их в определенной системе, что, по нашему мнению, должно в "очищенном" виде облегчить их понимание.

В некотором роде эта книга уникальна: в ней рассматриваются, хотя с разной степенью полноты, почти все основные проблемы "механизма" функционирования

языка. Разумеется, в одной монографии до конца они не могли быть решены. Поэтому на некоторые проблемы, очень важные для теории языкознания, исследование которых вело бы к более полному их познанию, мы хотели бы обратить внимание автора:

1) Если язык локализован в сознании и дважды в тексте, то почему мы должны считать, что язык в трех точках локализован равнозначно? 2) Если "индивидуальное" как одна из характеристик речи должно входить в речь и если речь — это текст, а и восприятию смысла текста важно лишь социальное, то какую роль играет в тексте индивидуальное? 3) Если речь первична по отношению к языку, то за счет чего она генерируется? Если язык обусловлен корпусом текстов, служащих базисом для языка, то откуда появляется сам текст? 4) Если в материи речи мысль не передается, а индуцируется в сознании слушающего (читающего), то правомерно ли утверждать, что речь, текст являются хранилищем смысла? 5) Если на уровне текста "работают" иные средства, не входящие в язык, то откуда эти средства появились, где их источник и как они относятся к данному языку? 6) Если отрицать общечеловеческий характер мышления и считать, что логические формы зависят от формы национального языка, то как, например, суждение может быть более высокой абстракцией по сравнению с предположением (фразой), т.е. быть общечеловеческим? 7) Если язык в тексте — это внутренняя, ненаблюдаемая закономерность текста и если текст — это инобытие мысли, то, называя текст "средним термином" между языком и мыслью, как бы автор мог построить силлогизм на основе этих трех терминов? Ведь и "средний термин" входят и больший, и меньший термины (язык и мысль)! 8) Если смысл целого высказывания всегда больше суммы значений составляющих его элементов, то откуда появляется "дополнительный" смысл? Каково соотношение "вербального" и "невербального" мышления?

Как видим, книга С.А. Васильева не свободна от некоторых противоречий. Но главная заслуга С.А. Васильева состоит в том, что он, будучи философом, а не лингвистом, поставил и обнажил сложнейшие вопросы современного теоретического языкознания и в какой-то степени дал им новое, во многих случаях более глубокое, нетривиальное толкование. Эта книга продвигает наши представления о сущности и механизмах языка (и связанных с ним различных его специфических аспектов) да-

лее того, что нам было известно до сих пор, даст много пищи для размышлений о сущности языка, его устройстве, механизмах его функционирования, о связях и взаимодействиях различных аспектов речевой коммуникации. Книга, безусловно, будет стимулировать дальнейшее исследование проблем, поставленных в ней.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кривоногов А.Т. К вопросу о соотношении "языка" и "речи" // Межъязыковые коммуникативные связи и научно-технический перевод. Орел, 1983. С. 3.

2. Кривоногов А.Т. Мышление — без языка? Экономия языковой материи — закон процесса мышления // ВЯ. 1992. № 2
3. Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология. Соч. 2-е изд. Т. III. М., 1955. С. 29.
4. Кривоногов А.Т. К интеграции языкознания и логики (На материале причинно-следственных конструкций русского языка) // ВЯ. 1990. № 2.
5. Панфилов В.З. Гносеологические аспекты философских проблем языкознания. М., 1982. С. 105—106.

Кривоногов А.Т.

Французско-русский словарь активного М.: Русский язык, 1991. 1056 с.

Мы не всегда достойным образом оцениваем большое, общекультурное значение хороших, тщательно разработанных двуязычных словарей. Между тем это значение очень велико. Именно об этом говорил Л.В. Щерба, выдвигая положение, согласно которому для каждого языка необходимо создавать четыре типа двуязычных словарей [1]. Например, французско-русский и русско-французский для русских и русско-французский и французско-русский для французов.

Рецензируемый словарь по своему содержанию относится к первому образцу французско-русских словарей. К тому же он является словарем активного типа: по словам авторов, "в нем язык перевода известен читателям меньше, чем исходный язык... в него включены комплексные статьи, обобщающие или описывающие некоторые специфические трудности русского языка или перевода на русский язык с французского (с. 5). Словарь подобного типа выпускается в первые. Это результат большого труда русских и французских исследователей. Вместе с тем богатейший материал словаря дает возможность поразмышлять над некоторыми теоретическими и практическими вопросами лексикографии.

К таким вопросам можно отнести старую и вечно новую проблему соотношения слова, словосочетания, фразеологии и контекста. Как это ни парадоксально, в некоторых направлениях 60—80-х годов можно было встретить утверждение, будто бы слово не является основной единицей языка. Аргументация: мы говорим не словами,

типа. Под. ред. Гака В.Г., Триомфа Ж.

а целыми предложениями, а то и целыми "блоками". Однако, как правило, слово сохраняет свою самостоятельность и в системе предложений, и в системе речевого общения¹. Разумеется, вопрос о соотношении между словом, словосочетанием и контекстом в разных речевых стилях может быть различным. В свое время Ю.Н. Тынянов в интересной книге "Проблема стихотворного языка" писал о "тесноте стихотворного ряда" [3]. А позднее Л.И. Тимофеев в не менее интересной книге "Слово в стихе" вновь обратился к проблеме самостоятельности значения слова [4].

Рецензируемый словарь лишний раз убеждает в справедливости данного положения: слово сохраняет свою самостоятельность несмотря на всю сложность своего функционирования в речи. Именно этой сложностью объясняется принцип построения словарной статьи в четыре "слоя": 1) "для каждого отдельного значения французского слова даются... общие, внеконтекстуальные переводы; 2) заглавное слово в словарной статье преподносится в словосочетаниях и переводится указанным при нем общеизвестным эквивалентом (*l'ère musulmane* "мусульманская эра, мусульманское летоисчисление", но *avant notre ère* "до нашей эры"); 3) заглавное слово в словосочетании, в переводе которого используются варианты, не указанные ранее (*escalade* "влезание, подъем, карабкање, восхождение" и ср.: *l'escalade d'un mur* "влезание на стену, перелезание через стену"); 4) слово в краткой

¹См. об этом подробнее в статье [2].

фразе, в которой его перевод определяется ситуацией (*escamoter* "глотать, проглотить", ср.: *escamoter des mots en parlant* "глотать слова", но и "быстро, невнятно проговорить"). Авторы, стремясь "яснее показать, как языковые средства функционируют в речи" (с. 5), приводят словосочетания и устойчивые выражения в составе кратких предложений (*avoir de la chance* и *de chance*). Так в само построение словарной статьи преподнесение словарного материала идет от самостоятельного значения слова до его вариантных осмыслений в различных контекстах и ситуациях.

Словарь стремится не столько исчерпать все ресурсы языка (что и невозможно), сколько разработать как можно полнее все значения включенных французских слов (37 000) в их соответствиях русским эквивалентам (свыше 150 000 слов, их значений и выражений).

Обратимся теперь к анализу отдельных словарных статей, что, на наш взгляд, интересно не только для специалистов по французскому и русскому языкам, но и в общем плане языковой теории и практики. Само выделение заглавных слов подтверждает принцип взаимодействия лексики и грамматики: каждое слово имеет определенное грамматическое оформление, относится к определенной грамматической категории — части речи. Это существенно для самых различных языков. Вот свидетельство двух выдающихся ученых — Н.И. Конрада и В.А. Аврорина. Н.И. Конрад сообщает, что "слова китайского языка распадаются на определенные лексико-грамматические категории [5], а В.А. Аврорин обращает внимание на то, что наличие частей речи обнаруживается и за пределами индоевропейских языков при всем их своеобразии в отдельных языковых семьях [6].

Продуктивность лексико-грамматического подхода в развертывании семантической картины слова в его живом функционировании проследим на конкретных примерах.

Приведем с некоторыми сокращениями словарную статью *état*. Сначала последовательность значений: 1. (*situation, manière d'être*) "состояние, положение"... 2. (*condition de vie*) "звание, состояние, профессия"... 3. (*liste*) "список"... 4. (*État*) "государство"... При беглом ознакомлении все четыре значения представляются разрозненными. Так, *liste* "список" и *État* "государство" не сразу обнаруживают свою внутреннюю связь с исходным значением *état* "состояние, положение". Но вот в живом употреблении

эта связь становится очевидной: *l'état descriptif d'un lieu* "опись помещения предметов, находящихся в помещении", т.е. их положение, состояние; *une affaire d'État* "государственное дело, дело государственной важности", т.е. дело известного положения, состояния. Так оказываются взаимосвязанными все значения в процессе функционирования. Здесь важен и грамматический фактор, о чем словарь заботливо напоминает читателей: *être en* ~ + Inf "быть в состоянии (в силах)" + Inf, где *état* уже приобретает предикативность.

Обратимся теперь к статье, заглавное слово которой — глагол *entendre*. Основное, первое значение "слышать", второе значение "слушать", а третье значение "смыслить, понимать, разуметь, разбираться, толковать, истолковать". В абстрактно-логическом плане значения "слышать" и "понимать" могут взаимодействовать в самых различных языках. (Такое взаимодействие обнаруживается и в русском.) Но вопрос в том, как подобное взаимодействие выражается в разных языках. Ср.: *j'entends des cris* "я слышу крики" ("я понимаю" здесь невозможно) и *si j'entends bien ce que vous venez de dire* "если я вас верно понял" (здесь же невозможно "я вас слышал"!)). Приводимые в словаре иллюстрации на все значения глагола *entendre* подтверждают близость этих значений во французском языке и возможность их выражения одним глаголом. В то время как в русском языке подобная связь тоже очевидна, однако она выражается разными глаголами. Словарь помогает нам в этом разобраться. Кроме того, словарь обращает внимание на грамматическую форму и функцию слова. Например, глагол *entendre* (*comprendre*) "смыслить" ipf (несовершенного вида); "понимать" ipf (несовершенного вида, предлог *à* + предложный падеж) ...Грамматическое значение может даже обусловить особое семантическое осмысление слова. Так, четвертое значение оказывается прежде всего грамматическим: в вводном предложении — *je m'entends...* "я имею в виду"... "я хочу сказать"...

Взаимодействие лексической семантики с грамматической семантикой интересно проследить в словарной статье *beaucoup*. Сразу же читатель обнаружит зависимость семантики этого слова (то наречия, то прилагательного) от его грамматической сочетаемости. *Beaucoup* — adv. 1. наречие с именем означает "много" (+ G) — *il a beaucoup d'argent* "у него много денег". Но означает прилагательное "многие" перед именами и числительными с оттенком

избирательности — *beaucoup de ses amis ne sont pas venus* "многие из его друзей не пришли". 2. В сочетании с глаголами (значение количественное) *beaucoup* — наречие "много, очень много, многое": *il travaille beaucoup* "он много работает". 3. В абсолютном значении *beaucoup* эквивалентно русским "много, многое" (с неодушевленными именами), но "многие" (с одушевленными именами). Ср.: *beaucoup* ("много") *de choses* и *beaucoup* ("многие") *de personnes*. 4. В сравнительных оборотах *beaucoup* означает "гораздо, намного, значительно": *il travaille beaucoup plus qu'auparavant* "он работает гораздо больше, чем прежде".

Тщательно разработаны статьи, посвященные предлогам. Предложным сочетаниям во французском языке соответствуют, как известно, в русском предложно-падежные сочетания. Поэтому сопоставительное представление французско-русских соответствий позволяет проследить цепь сходств и расхождений лексико-грамматического плана.

Хорошо известно, что грамматическое значение русских предложно-падежных сочетаний передается в аналитических языках прежде всего предлогами. Проследим на одном примере, как это преподносится в рецензируемом словаре. Какое многообразие значений имеет, например, предлог *pour*. Мы узнаем, что в сочетании с именами *pour* может передавать направление (*pour Moscou*), назначение (*pour ma femme*), время (*pour une semaine*), соотношения (*pour 500 francs*), причину (*merci pour votre collaboration*) — пять обобщенных значений, а в сочетании с глаголами предлог *pour* переходит в союз с значениями цели (*il travaille pour ses enfants*), причины (*il a été puni pour avoir menti*), уступки (*pour être vieux...*). Здесь три обобщенных значения. Так комплексно подается один из французских предлогов в его соотношении с ресурсами русского языка.

И еще об одном служебном слове. Перед нами союз *et*. Казалось бы, сколько может иметь значений такое союзное слово? Словарь напоминает нам целый ряд его значений и проводит их тонкое семантико-стилистическое разграничение. Здесь: (1) Просто соединение, где *et* соединительный союз, соответствующий русскому *и* (*toi et moi*), но и русскому *да* в этой соединительной функции, со стилиевой окраской разговорности, народной, народно-поэтической речи (*le frère et la soeur* "брат и сестра, брат да сестра"), а также союзу *с* в сочетании с местоимениями и существительными (*les vaches et les veaux* "коровы с телятами");

et в сочетании с числительными имеет значение предлога *с* (*vingt et un* "двадцать один"), где по-русски союз отсутствует вообще, но в сочетаниях типа *cinq et demi* в русском переводе наблюдается соответствие ("пять с половиной"). (2) Оппозиция, соотносимая с русскими противопоставительными союзами *а, но* (*je continue et lui ne dit toujours rien* "я говорю, а он все молчит", где по-русски невозможен просто соединительный *и*). Словарем отмечено (3) *et* в начале реплик, соответствующее русскому *а* (*et moi...* "а меня...") и (4) с особым разговорным выражением (*et alors?* "ну и что?"). Здесь французскому *et* по-русски чаще всего эквивалентно ну. И все эти соотношения союзов, их семантические и стилиевые оттенки становятся наглядно очевидными в сопоставлении двух языков, в их четкой дифференциации в словарной статье (ср. разработку Л.В. Шербой словарной статьи *и* в русском одноязычном толковом словаре [7]).

Широко дана и фразеология, что придает словарю тот комплексный характер, который отмечают сами его авторы. *Elle est jolie comme un coeur* "она очень хорошенькая (прехорошенькая)", а букв "она хорошенькая, как сердце, сердечко", что по-русски невозможно, а возможно только обозначение не красоты, а привязанности, очарованности: "она мое сердце, сердечко". Как калька воспринимается иронично-шутливое для русского *немного слишком*, но столь естественное для француза *un peu beaucoup*. Не менее интересны и грамматически несовпадения в фразеологических выражениях: *un médicament pour la grippe* "лекарство от гриппа" (франц. "для" соответствует русск. "от"). И таких поучительных примеров в словаре множество. Они полезны в равной степени как французам, так и русским, активно изучающим эти языки.

Хорошо продумана в словаре система помет. Она дает возможность представить слово не только в его семантическом объеме и сочетаемости, но и определить, в какой речевой сфере оно функционирует. Система помет предлагает речевую характеристику: *rej(oratif)* — пренебрежительно, *plais (anterie)* — шутливо, *poét(ique)* — поэтическое слово, *littér(études littéraires)* — литературно-книжное слово или выражение, *vx (vieux)* — устарелое слово или выражение, *fig(uré)* — в переносном значении, *fam (ilicr)* — разговорное слово или выражение, *vulg(aire)* — вульгарно, *arg(ot)* — арго, *pop(ulaire)* — просторечие (с. 8—10). Конечно, разграничение разговорного и просторечного вызывает постоянные трудности,

как и вульгарного и просторечного. Однако любопытно само постоянное движение вульгарных и просторечных слов в более высокие речевые сферы — в литературный язык. Два примера. В специальном "Словаре разговорной лексики французского языка" слова *démissionner* "отказываться, сдаваться" и *démolir* "раскритиковать, уничтожать, смешать с грязью; избить, отлупить, пришибить" имеют пометы *fam* — разговорные ([см. 8]). Сохраняя свою стилевую окраску, эти слова как бы врываются в литературную речь, но при этом что-то приобретают или что-то теряют. Вот как они фиксируются в рецензируемом словаре: *démissionner* *fam* (разговорное), но уже и *fig* (переносное). Окраска приобрела несколько иные оттенки, чем в [8]. *Démolir* тоже приобретает переносное значение ("подрывать, разрушать"), но и более жесткую оценку — *pop* (просторечное "бить, уничтожать").

Однако в толковании термина *pop* (*populaire*) наблюдается неточность. В объяснении авторов словаря *pop* (*populaire*) (с. 9) означает "просторечие", в то время как в самом словаре (с. 767) это слово переводится как "народный, популярный" (*популярное лицо*). Термину же "просторечный" соответствует *populacier (langage)*.

Вся структура словаря привлекает своей новизной: показано, как слова, сохраняя свою самостоятельность, входят в разнообразные подсистемы. Сошлемся на две таблицы (две "комплексные статьи") — семантическую и грамматическую. Раскрываем статью *шахматы* — *échec*. Здесь же находим отсылку на "tableau Échecs", где читаем *игра в шахматы, шахматная игра, шахматная задача, королевский слон, королю объявлен шах, он находится в цейтноте, пешка проходит в ферзи...*, всего 66 выражений, относящихся к шахматам!

А в таблице "Les pronoms..." (с. 799) дана комплексная статья грамматического характера к слову *pronot*: неопределенные и отрицательные местоимения, вопросительные и относительные местоимения, личные местоимения. Комплексные статьи охватывают все богатство французских местоимений и их русских эквивалентов с грамматическими особенностями, нормой и своеобразием функционирования.

Оформление словаря способствует быстрому нахождению нужной комплексной статьи. В конце его помещен указатель этих статей, а на форзаце — для удобства чте-

ния словаря — вынесены все условные знаки (типа ! — обозначает интенсивность качественных или количественных усиления значения в предлагаемом варианте перевода).

В Приложениях находим написание и произношение собственных имен на французском и русском языках, что очень существенно в нашем развивающемся устном международном общении.

Еще одно удачное решение авторов: в русских переводах слова со сложным словоизменением отмечены специальным знаком (*le signe**) и даны в приложении в алфавитном порядке со всеми морфологическими особенностями. Так подтверждается активный характер самого словаря.

Двуязычные словари не всегда оцениваются как важнейшие филологические издания. Они прежде всего рассматриваются как издания справочного характера. Между тем рецензируемый словарь убеждает нас в том, что хорошие словари подобного типа являются именно филологическими публикациями. Известный французский поэт первой половины нашего века Поль Элюар тонко заметил, что лишь в бытовом общении мы ограничиваемся малым количеством слов, но для передачи наших мыслей и чувств мы нуждаемся во всех словах (*tous les mots!*) каждого языка во всем их разнообразии и целостности: "Il nous faut peu de mots pour exprimer l'essentiel, il nous faut tout les mots pour le rendre réel" [9].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Щерба Л. В. Предисловие ко второму изданию "Русско-французского словаря" // Русско-французский словарь. М., 1969. С. 7.
2. Будагов Р. А. В защиту понятия *слово* // ВЯ. 1983. № 1.
3. Тынянов Ю. Н. Проблема стихотворного языка. М., 1924 (2-е изд. 1965). С. 61—62.
4. Тимофеев Л. И. Слово в стихе. М., 1982 (2-е изд. 1987). С. 246.
5. Конрад Н. И. О китайском языке // ВЯ. 1952. № 3. С. 75.
6. Аврорин В. А. Очерки по синтаксису нанайского языка. Л., 1948. С. 8—18.
7. Словарь русского языка. Т. 9. Вып. 1. Л., М., 1935.
8. Гринева Е. Ф., Громова Т. Н. Словарь разговорной лексики французского языка. М., 1987.
9. Eluard P. Les sentiers et les routes de la poésie. P., 1949. P. 3.

Будагов Р. А., Брагина А. А.

Монография У.-М. Кулонен "Пассив в обско-угорских языках", опубликованная как очередной том серии "Mémoires de la Société Finno-Ougrienne", посвящена дискуссионной и достаточно "модной" в финно-угроведении теме. Действительно, практически ни один серьезный исследователь обско-угорских языков (хантыйского и мансийского) не обошел так или иначе вниманием проблему обско-угорского пассива. Уже из первых публикаций по обско-угорским языкам стало более или менее очевидно, что пассивная конструкция является широко распространенной; ее частотность в текстах существенно превышает частотность аналогичных конструкций во многих других языках (согласно статистике, приводимой У.-М. Кулонен на с. 69—70, "индекс пассивизации" различен в разных обско-угорских диалектах и для текстов разных жанров, однако в некоторых случаях он может достигать 1/2, т.е. каждое второе предложение является пассивным по форме). Высокая частотность появления пассива, а также возможность пассивизации ряда интранзитивных глаголов приводила некоторых исследователей к выводу о том, что речь идет о своеобразном явлении, специфическом для данных языков. (Пожалуй, крайним выражением такого направления стали исследования Е.И. Ромбандеевой, согласно которой мансийский пассив на самом деле является разновидностью активного спряжения, маркирующей определенность агенса, ср., впрочем, справедливую критику этой точки зрения в работах Л. Хонти и в рецензируемой монографии.) С другой стороны, появилась мысль о том, что обско-угорская пассивизация — более или менее регулярное преобразование, и связано оно с зависимостями коммуникативного и/или референциального характера. Понятно, однако, что любые спекуляции на данную тему не выглядят достаточно убедительными, пока остается неизвестным, какие именно глаголы способны подвергаться пассивизации и какие именно семантические роли способны выполнять актанты этих глаголов. Обобщающего исследования по этому поводу до сих пор не было написано, поэтому монография У.-М. Кулонен восполняет существенный пробел в изучении синтаксиса обско-угорских языков и одновременно открывает перспективу для дальнейших исследований: в результате изучения семантической и синтаксической структур пассивных предложений, проведенного автором, появилась возможность соотнести их со структурой коммуникативной и в конечном счете

подойти к вопросу об организации связного текста.

Сознательно ограничивая свое исследование изучением семантико-синтаксических аспектов, автор справедливо отмечает во Введении (с. 9—11), что "наиболее плодотворным способом анализа системы (пассива. — Н.И.) является функциональная или надежная грамматика" (с. 10), поскольку набор семантических ролей, которые может выполнять синтаксический субъект пассивных предложений, шире, чем в других языках. Собственно, функциональный подход становится определяющим для всей монографии и обуславливает композиционную структуру основного раздела "Семантический анализ обско-угорских пассивных предложений" (с. 71—271), в котором пассивные предложения классифицируются в соответствии с семантической ролью субъекта. При этом автор не старается придерживаться только одной из многочисленных моделей надежной грамматики, но "просто приписывает элементам предложения те функции, которые они, очевидно, выполняют в данной ситуации" (с. 10). (Заметим в скобках, что таким образом набор попадающих во внимание исследователя семантических ролей оказывается несколько ограниченным, что, впрочем, естественно, поскольку семантическая структура предиката и его валентностные характеристики для обско-угорских языков остаются неизученными.) Раздел "Пассив: общая теория и классификация интранзитивных предложений" (с. 12—34) является принципиальным для всего исследования, так как в нем излагается понимание автором понятия пассива. Строгого определения этого понятия, однако, не дается [в целом пассив описывается как «различные типы "перевернутых" конструкций, в которых что-то происходит с логическим субъектом предложения, или те случаи, в которых грамматический субъект семантически отличен от Агентива» (с. 12)], и это, с точки зрения рецензента, заставляет автора монографии уделять, возможно, излишне много внимания обсуждению содержания этой категории. Особый интерес у автора вызывают также так называемые "дитранзитивные глаголы" и правило *dative-movement*, т.е. продвижение косвенного объекта трехвалентных глаголов в позицию прямого объекта, поскольку такие конструкции широко распространены и в обско-угорских языках. Наиболее существенным моментом здесь оказывается отрицание иерархических отношений прямого и непрямого объектов (объекта-Пациенса и

объекта-Реципиента), так как оба объекта одинаковым образом зависят от трехвалентного глагола: ни один из них не может быть опущен после применения правила *dative-movement*. В принципе в языках, имеющих это правило, возможны различные способы морфологического маркирования двух объектов дитранзитивных глаголов до и после его применения, в том числе имеются случаи их одинаковой морфологической оформленности. Однако если кросслингвистически идея неиерархичности прямого объекта и непрямого объекта, способного продвигаться и позицию прямого объекта (что связано с его высоким рангом в иерархии одушевленности), представляется имеющей смысл, для каждого конкретного языка, и для обско-угорских в частности, эта проблема должна была бы рассматриваться особо и в несколько ином плане, а именно, в смысле легкости доступа того или иного актанга (Пациенса или Реципиента) к синтаксической позиции прямого объекта. По крайней мере в северохантыйском выбор прямого объекта зависит от "степени" топикализации актантов, причем при равных условиях позиция прямого объекта занимает Пациенс, и в этом смысле он имеет более высокий ранг, чем Реципиент. Обсуждение коммуникативных условий появления той или иной конструкции, впрочем, не входило в непосредственные задачи автора рецензируемой монографии, а на уровне морфосинтаксиса прямой и непрямой объекты дитранзитивных глаголов в обско-угорских языках действительно являются одинаково зависимыми от глагола.

Следует заметить, что монография У.-М. Кулона в определенном отношении может быть названа своеобразной "энциклопедией обско-угорского пассива". Помимо собственно анализа языкового материала, в ней обобщены практически все сведения по данной теме: раздел "Предшествующие работы по обско-угорскому пассиву" (с. 35—43) посвящен истории вопроса и критическому анализу точек зрения предшественников; в разделе "Некоторые замечания о синтаксической структуре обско-угорских языков" (с. 44—50) обсуждаются проблемы порядка слов, надежной маркировки, глагольного согласования и кореферентного опущения элементов предложения, в разделе "Морфология пассива" (с. 51—64) рассматриваются морфологические средства выражения пассивной конструкции в сравнительной перспективе; раздел "Использованный языковой материал" (с. 65—70) содержит перечень и характеристику переработанных текстовых источ-

ников и статистические данные о частоте употребления пассивной конструкции в каждом из них. Всего анализировалось 3995 мансийских и 1595 хантыйских пассивных предложений (в основном из источников конца XIX—начала XX в.), что составило весьма солидную выборку.

Основной раздел посвящен семантико-синтаксическому анализу хантыйских и мансийских пассивных предложений, классифицируемых в зависимости от выполняемой субъектом семантической роли. Рассматривая вопрос о возможностях пассивизации различных глаголов, автор вполне обоснованно предлагает отказаться от традиционной опоры на понятия транзитивности/интранзитивности, поскольку в обско-угорских языках пассивизации подвергаются и многие интранзитивные глаголы и синтаксическую позицию субъекта пассивных предложений может занимать актант, не обязательно выступающий как прямой объект в соответствующем активном предложении. Более важным, чем транзитивность, фактором здесь является семантика предиката и его актантов: субъектом пассивного предложения может выступать только такой актант, который "семантически тесно связан с предикатом" (с. 72) или, иначе говоря, входит в его аргументную структуру. Например, в позицию субъекта могут продвигаться имеющие семантическую роль Локатива, Цели, Источника и др. актанты глаголов движения или глаголов типа "сидеть" (по крайней мере, в некоторых из их значений). Такой подход представляется чрезвычайно продуктивным уже потому, что он (хотя это и не эксплицируется автором рецензируемой монографии), по сути дела, впервые позволяет определить валентностную структуру предиката трансформационным путем: диагностическим тестом оказывается возможность пассивной трансформации. Как мы уже отмечали, вопрос о предикатно-аргументной структуре для обско-угорских языков практически никогда не ставился; автор впервые подошел к нему вплотную, и это очень серьезный, хотя, возможно, и побочный для основных целей исследования результат. Хотелось бы только заметить, что определение валентности могло бы быть более строгим, чем цитированное выше (а именно, опирающимся на понятие "ситуации" и ее участников, а также различающим понятия валентности семантической и синтаксической), что позволило бы установить валентностные классы глаголов и описать многочисленные случаи омонимии.

В соответствии с семантической ролью субъекта выделяется пять основных типов

пассивных предложений: 1) с субъектом-Пациентом; 2) с субъектом, выполняющим семантическую роль Локатива, Реципиента или Бенефактива; 3) с субъектом, имеющим семантическую роль Нейтраля; 4) более редкий тип, в котором субъект может выполнять окказиональные семантические роли Темпорала, Источника и др.; 5) наконец, имперсональный пассив. Различие между третьим и пятым типами достаточно важно и, кажется, впервые проводится на материале обско-угорских языков. Здесь следует пояснить, что под семантической ролью Нейтраля автор понимает субъект состояния, т.е. неконтролируемой ситуации с отсутствующим Агентивом, которая может быть как одноместной, так и двухместной (в последнем случае неконтролирующий ситуацию, но влияющий на нее партиципant имеет семантическую роль Силы). Одушевленный субъект состояния обычно называется Экспериментиром; семантическая роль Нейтраля, согласно У.-М. Кулонен, не накладывает ограничения по одушевленности/неодушевленности. Третий тип пассивных предложений, таким образом, описывает ситуации, в которых принципиально не может быть Агентива, причем некоторые из таких пассивных предложений (в случае с так называемыми медиальными глаголами) не имеют активного прототипа, для других же правило пассивизации выглядит следующим образом:

(NP1 [Fo] [subj] —) NP2 [Ne] [obj] — V [act] → NP2 [Ne] [subj] — V [pass]

В отличие от них пятый тип, т.е. имперсональный пассив, является трансформацией таких активных предложений, в которых ситуация контролируется Агентивом, но Агентив имеет признак [— определенный]: NP1 [Ag] [indef] [subj] — (NP2 [Pat] [obj] —) V [act] → (NP2 [Pat] [obj] —) V [pass], NP1 → ∅

Вышеназванные типы пассивных предложений описываются по более или менее единой схеме. Для каждого типа перечисляются использующиеся в нем глаголы и указывается количество случаев их употребления; затем дается статистика встречаемости данного типа в основных мансийских и хантыйских диалектах. В конце каждого подраздела приводятся выборочные примеры на соответствующее употребление так называемого стательного пассива, морфологически отличающегося от обычного "динамического" пассива формой предиката (причастия). Некоторые подразделы содержат более подробную классификацию: так, для первого и второго типов отдельно рассматриваются предложения с поверхностно представленным агентом и без него анали-

зируются группы глаголов движения, фактивных и каузативных глаголов.

Отдельный раздел (с. 272—285) посвящен агенту пассивных предложений. Агент присутствует в 27% мансийских и в 43% хантыйских примеров (следует иметь в виду, что в двух типах — при медиальных глаголах и имперсональном пассиве — поверхностный агент в принципе невозможен). Одушевленный агент обычно имеет роль Агентива, неодушевленный — Силы или Инструмента (редко Нейтраля). Наличие/отсутствие агента на поверхностном уровне, по мнению автора, связано с глагольной семантикой и описываемой предложением ситуацией: например, регулярнее всего агент присутствует в предложениях с субъектом-Локативом, поскольку в этом случае он необходим для придания предложению информативной достаточности. Особый случай представляет собой местоименный агент. Известно, что личное местоимение в роли агента пассивных предложений в обско-угорских языках встречается крайне редко, а в некоторых диалектах не употребляется вообще. Согласно автору рецензируемой монографии, обско-угорская языковая общность, с этой точки зрения, может быть разделена на три крупных арсала: 1) северохантыйские и северомансийские диалекты, в которых личное местоимение невозможно в роли агента (в северохантыйском они вообще не имеют формы локатива-инструменталиса, обычно маркирующей агент пассивных предложений); 2) южномансийские, восточномансийские и южнохантыйские диалекты, в которых местоименный агент возможен, но сравнительно редок; 3) наконец, восточнохантыйский, в котором агент-личное местоимение представлен более или менее регулярно. По мнению автора, в последнем случае регулярность появления местоименного агента зависит от особой, отличной от других диалектов коммуникативной функции пассива: если обычно пассивизация связана с топикализацией вторичного актанта и/или фокусной ролью агента, в восточнохантыйском агент пассивных предложений занимает позицию топика, типичную для личных местоимений. Это предположение, сформулированное, к сожалению, очень бегло, представляется довольно правдоподобным в той своей части, которая касается принципиально особой коммуникативной функции пассива в восточнохантыйских диалектах. Правда, говорить здесь о топикализации агента пассивных предложений нам кажется преждевременным, пока не станет ясно коммуникативное различие (если таковое существует)

между пассивом и эргативной конструкцией, имеющейся только в этих диалектах. Очевидно во всяком случае, что восточнохантыйский использует несколько особые морфосинтаксические механизмы для выражения коммуникативной структуры предложения по сравнению со всеми другими диалектами обско-угорских языков. В целом деление обско-угорской языковой общности на три крупных ареала в зависимости от синтаксической структуры, которое, насколько нам известно, еще никогда не проводилось, представляется едва ли не главным результатом рецензируемого исследования, хотя, кажется, критерий, положенный в основу этого деления (наличие/отсутствие местоименного агента в пассивных конструкциях) не является единственным (следует иметь в виду также наличие эргатива в восточнохантыйском, морфологически оформленного аккузатива существительных в южномансийских диалектах, различное поведение каузативных глаголов и, возможно, многое другое).

В ЗаклЮчении (с. 286—302) автор пытается сформулировать некоторые общие положения относительно функции обско-угорского пассива и на с. 288 приводит перечень коммуникативных условий появления пассивной конструкции: для имперсонального пассива это неопределенность первичного актанта (Агентива, Нейтраля или Силы); для персонального пассива с поверхностно выраженным агентом — топиализация вторичного актанта и фокализация первичного актанта; для персонального пассива без агента — топиализация вторичного актанта и неопределенность первичного актанта. Кроме того, в восточнохантыйских диалектах пассивизация может быть связана не только и не столько с топиальной ролью вторичного актанта, но также с понятием "перспективы", функционально близким топиализации. Ситуация обычно рассматривается с перспективы участника, который обозначается элементом предложения, занимающим позицию субъекта. Правда, соотношение между понятиями "перспективы" и "топиализации" остается не вполне ясным, и, к сожалению, автор вообще употребляет довольно распылячатые термины, связанные с коммуникативной структурой предложения (например, "более важная роль в ситуации", эмфаза, которая неожиданном образом оказывается связанной с референциальной определенностью, и др.). Ясно, однако, что речь должна идти о разных коммуникативных статусах, выражающих коммуникативные характеристики разного уровня, и именно их "разведение" может

быть наиболее полезным при анализе коммуникативной функции пассива. Это же касается и уже упоминавшегося вопроса о функциональном различии между пассивной и эргативной конструкциями в восточнохантыйских диалектах, который тоже обсуждается в ЗаклЮчении. В конечном счете автор склоняется к выводу о том, что различие это минимально и, насколько можно судить, состоит лишь в степени "важности" для ситуации элемента предложения, имеющего семантическую роль Пациенса: в пассивной конструкции Пациент подвергается топиализации, в эргативной Пациент "некоторым образом более важен в предложении, хотя и не топиализируется" (с. 302). Конечно, это утверждение остается пока на уровне более или менее вероятной гипотезы, которую почти невозможно доказать или опровергнуть путем исключительно анализа текстов. Понятно, что у У.-М. Кулонен до сих пор практически не было возможности работать с хантыйскими и мансийскими информантами (и следовательно, не было возможности активно применять при анализе трансформационные критерии и создавать диагностические контексты); можно лишь пожелать автору, чтобы такая появившаяся возможность была плодотворно использована. Что же касается ответа на вопрос о "ядерной" аргументной структуре предложения, который автор считает основной задачей своей работы (с. 13), результаты здесь формулируются следующим образом. В обско-угорских языках способный к топиализации и, соответственно, продвижению в позицию субъекта актант входит в "ядро" предложения; ядерными семантическими ролями оказываются Агентив, Цель (Пациент), Реципиент, Бенефактив, Локатив, Темпораль. Семантическая роль Инструмента не входит в число ядерных ролей, и это является нарушением известной иерархии семантических функций С. Дика, в которой Инструмент имеет более высокий ранг, чем Локатив и Темпораль.

Монографию У.-М. Кулонен отличает чрезвычайно скрупулезный, отчасти, может быть, даже несколько дидактический стиль изложения. Конечно, некоторые детали могут быть оспорены, например, рецензенту трудно согласиться с утверждением об идентичности функций объектного спряжения в венгерском и обско-угорских языках, высказанным на с. 38 (думается, что это утверждение в значительной степени является данью традициям); нам также не кажется "случайным" (с. 296) отсутствие в хантыйском, в отличие от мансийского, пассивизации каузативных глаголов, которые, во-

обще говоря, в хантыйском гораздо менее частотны и регулярны. Сомнительной или, по крайней мере, нуждающейся в дополнительной аргументации представляется интерпретация примеров на с. 244—245 как имеющих "диктумную" часть в позиции грамматического субъекта пассивной конструкции. (Имеются в виду следующие примеры: *Ko ěj-mĕi-tĕtna ewa utta pitot tin pĕrtatanna ima meya dĕa-xĕta jĕnĕitat. ewana ěj-mĕi-tĕtna eĕi' xĕta' tĕtĕ, dĕnket xĕta jĕnĕitat*? «Затем девушка начала с ними жить [со стариком и старухой] Старуха куда-то ушла. Девушка спрашивает [старика]: "Отец, куда ушла мать?"» и *Sav wĕtĕt urt-ika pĕx mojtata t'ĕ jĕwot. ima xĕta neĕ t'ĕ dĕjat. "nĕj xĕta wĕtĕt neĕne tĕt'ĕ" koĕt urt-ika pĕxna dĕi' xĕta* «Сын героя рыбной заплуды пришел в гости. Он увидел жену бабушкиного внука. "Где ты взял свою жену?" — спросил он». По мнению автора адресат-Реципиент высказывания не может быть грамматическим субъектом так как в первом случае он не назван в ближайшем левом контексте, а во втором примере в левом контексте он выступает в качестве посессора. Заметим, однако, что его ранг так или иначе выше ранга "диктумной части", поскольку он обладает признаком данности) Вряд ли следует рассматривать элементы *in the hospital* и *last week* в предложении *Bill died in the hospital/last week* как занимающие актантную позицию при глаголе (с. 74). Мы также не считаем целесообразным рассмотрение пассивных предложений с агентом-вопросительным и/или неопределенным местоимением в одном ряду с агентом-личным местоимением (с. 279 и сл.) только на основании их прономинального характера, поскольку здесь речь идет о совершенно разных семантически и прагматически единицах, что, кстати, влияет и на их поведение в пассивных конструкциях. Однако количество неточностей в монографии удивительно мало,

и в целом убедительность и серьезность выводов в ней сочетаются с очень "интеллектуальной" подачей материала.

Несомненно, книга У.-М. Кулонен является новаторской и, в определенном отношении, уникальной работой. На сегодняшний день она стала не только единственной монографией по обско-угорскому пассиву, но и фактически первой работой по восточным финно-угорским языкам, написанной на уровне современного синтаксиса. К сожалению, в финно-угроведении и — шире — в уралоистике стало общим местом, что синтаксис представляет собой наименее разработанную область, само обращение к которой чрезвычайно сложно для исследователя. Синтаксических работ, во-первых, просто недостаточно в количественном отношении, во-вторых, имеющиеся работы, как правило, традиционно опираются на чисто морфологический подход к синтаксическим явлениям. По сути дела, нам неизвестно ни одной работы по синтаксису восточных финно-угорских языков, учитывающей новейшие публикации в области синтаксической теории и типологии (понятым образом, это не относится к исследованиям по финскому, венгерскому и эстонскому языкам). И наоборот: в современных работах по синтаксической типологии, круг исследования которой значительно расширился в последнее время за счет привлечения данных различных "экзотических" языков, восточные финно-угорские языки практически не представлены, и, в частности, обско-угорский пассив не учтен в гигантской "пассивологической" литературе. Не удивительно поэтому, что У.-М. Кулонен одной из своих задач считала включение обско-угорских данных в широкий типологический контекст, и, думается, что решить эту задачу ей блестяще удалось.

Николаева И.А.

Horecký J., Buzássyová K., Bosák J. a kolektív. *Dynamika slovnej zásoby súčasnej slovenčiny*. Bratislava: Veda vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1989. 433 s.

В рецензируемой книге рассматриваются динамические тенденции в лексике современного словацкого языка. В ее создании принимал участие большой коллектив авторов, сформировавшийся на основе сектора литературного языка Института языкознания имени Л. Штура. Исследование выполнено в виде серии из нескольких монографий,

оно базируется на единой исходной концепции, в выработке которой принимали участие такие ученые, как Я. Горецкий, К. Бузашиова и Я. Босак, известные своими работами широкому кругу языковедов. Указанное обстоятельство придает цельность труду в целом, хотя и не исключает авторского своеобразия при интерпретации тех или

инных языковых явлений. По своей сути анализируемая работа носит итоговый характер, поскольку ее появлению предшествовали предварительные исследования, в том числе и монографические, позволившие осуществить тщательную проработку языкового материала, сформировать теоретическую концепцию и методические основы, повысить документированность выводов и наблюдений.

Основным предметом изучения в работе является литературный словацкий язык, интерпретируемый, впрочем, не как некий изолированный феномен, а как составная часть общей системы национального языка, тесно взаимодействующая с другими экзистенциальными формами, в первую очередь с устной речью, являющейся мощным динамизирующим фактором его развития. Тем самым в поле зрения исследователей оказались не только собственно языковые, но и социокоммуникативные закономерности. Соответственно был смещен акцент с изучения литературной нормы как таковой и ее реализации в конкретных коммуникативных актах на анализ высказываний, характерных для различных коммуникативных сфер. Предметом особого внимания стали факты вариативности, конкуренции и стилистической дифференциации. Следует также подчеркнуть, что при интерпретации языкового материала авторы не ставили перед собой цели жесткого ранжирования на оси "литературность — нелитературность", не стремились они и к выработке строгих кодификационных регламентаций. В большей мере их интересовало создание научных предпосылок для последующей нормализаторской деятельности. Отмеченное выше расширение исследовательского спектра предопределило и использование комплексной методики, включающей приемы как собственно лингвистического, так и социолингвистического и коммуникативного анализа. Именно использование комплексной методики и позволило ученым решить ряд важных проблем, связанных с описанием процессов и тенденций, наблюдаемых в словарном составе современного словацкого языка.

Исследование имеет четкие хронологические рамки: речь идет о литературном словацком языке второй половины XX в., т.е. с начала 50-х по середину 80-х годов (пограничный рубеж устанавливается вполне определенно: 1985 г.). Впрочем, и этот этап рассматривается не как гомогенный, а с внутренней дифференциацией на два подэтапа, разграничиваемые 1970 г. (выбор последней даты несколько условен и, очевидно, связан с обретением Словакией автономного

статуса в рамках единого федеративного государства). Резонность обособления периода именно такой протяженности можно оспаривать, однако, как нам представляется, при изучении такого динамичного феномена, как лексика, живо реагирующего на изменения в социальной, экономической и культурной жизни общества, очевидно, правомерно оперировать более дробными хронологическими отрезками (в отличие от других уровней языковой системы). Использование внутрисей хронологической рубрикации дало возможность сопоставить новейший период (1970—1985 гг.) с предшествующим, лексика которого зафиксирована в шеститомном Словаре словацкого языка (Братислава, 1959—1968 гг.), послужившем своего рода сравнительным фоном. Тем самым в синхронное по своей сути исследование был введен диахронический зондаж. Впрочем, глубина вертикального зондирования, позволяющего увидеть синхронную динамику, в этом случае была менее значительна, чем при обычном диахроническом рассмотрении. Сказанное является дополнительным подтверждением того, что разграничение синхронного и диахронного подходов, корректное в методическом отношении, на практике может быть лишь релятивным, что красноречиво доказывают исследования чехословацких ученых, плодотворно изучающих синхронную динамику. Следует отметить, что синхронное описание лексической динамики современного словацкого языка в истории словакистики предпринято впервые. Не будет преувеличением сказать, что отсутствие подобного труда ощущают и специалисты по другим славянским языкам. По актуальности рассматриваемой проблематики, по уровню ее осмысления и интерпретации и, наконец, по итоговым результатам проведенного исследования рецензируемая книга несомненно, носит новаторский характер, ее выход является важным событием в развитии не только словакистики, но и славистики вообще.

Задача изучения лексической динамики в рамках одного и того же синхронного среза, к тому же ограниченного достаточно узкими хронологическими рамками, весьма сложна. Ее выполнение предполагает не только хорошее владение языковым материалом, но и наличие развитой исследовательской интуиции, своего рода прогностического дара. Дело в том, что в указанной ситуации нашему наблюдению становятся доступными не столько отчетливо сформировавшиеся тенденции, сколько наметившиеся очаги напряженности в языковой системе, одним из симптомов которых является концентрация

синонимов и в особенности конкурирующих между собой дублетов; ср., в частности, стечение в одной точке плана содержания универба и описательной номинации. Именно эти очаги напряженности со временем могут стать источником инновационных изменений.

Рецензируемая работа имеет четкую композицию. Она состоит из краткого введения, а также пяти глав, из которых последняя в сущности является заключением (на словацком, русском, английском языках). В первой главе (с. 19—41) "Теория номинации" излагаются основные положения теории номинации. Особое внимание при этом обращается на такие вопросы, как отношение названия к объективной реальности, взаимоотношения между номинациями, типы прямой/аналогической номинации, основные номинационные категории. Рассматриваются здесь и понятия, существенные для словообразовательной систематизации, такие, как словообразовательная мотивировка, словообразовательное гнездо и парадигма, словообразовательная категория и т.п. Учет этих понятий важен при изучении динамики словарного состава языка. Наибольшей по объему является вторая глава (с. 49—241) "Номинационные единицы", в которой реализуются изложенные в первой главе теоретические положения. Материалом для этого служат отдельные ономастические типы (с учетом, впрочем, частеречной и словообразовательной характеристик). В задачи авторов здесь не входит семантическое описание всех ономастических типов, характерных для полнозначительных частей речи, равно как не является целью полная словообразовательная систематизация номинаций. В центре внимания находятся продуктивные ономастические типы, существенные для выявления синхронной динамики словарного состава, исследуются сдвиги, отмечающиеся в использовании отдельных ономастических типов, смешение тех или иных языковых средств из одной коммуникативной сферы в другую. При рассмотрении существительных особо акцентируются номинационные типы, характеризующиеся не только количественным ростом, но и реальной или же потенциальной внутренней перегруппировкой, реструктуризацией. Это прежде всего обозначения лиц и абстрактных существительных. Учитываются и иные типы обозначений, существенные для образования, в частности, терминологической лексики (названия животных и растений, названия места, учреждения, инструментов и средств воздействия, изделий и пр.). При изучении прилагательных, равно как

и существительных, причисляемых к наиболее динамичным частям речи, особое внимание уделяется тенденции окачествления относительных прилагательных, а также роли прилагательных при образовании многословных описательных номинаций. Динамические явления у глаголов иллюстрируются фактами семантической деривации, при этом особо акцентируется значимость влияния разговорной речи, сленгов. В этом же разделе рассматривается и словосложение.

В третьей главе (с. 243—317) "Семантические и стилистические процессы и тенденции" изучаются диалектически противоположные тенденции демократизации и интеллектуализации терминологизации и детерминологизации, интернационализации и использования средств родного языка. Заслуживают также внимания подглавки о мультивербальных процессах в литературном словацком языке, о конкуренции словообразовательных типов с заимствованными и исконными формантами. Самостоятельные подразделы посвящены проблемам разговорности, универбизации, сленговости, неологизации. Представляют интерес наблюдения над динамикой в сфере номинаций, используемых в публицистике.

Четвертая глава (с. 321—349) "Парадигматические отношения в словарном составе" включает в качестве самостоятельных подразделов анализ синонимии, антонимии, омонимии, конверсии. Как справедливо отмечается в работе, для синхронного изучения динамических процессов особый интерес представляет синонимика, омонимия же выявляется в результате диахронического изучения языка. Авторы акцентируют, что появление синонимов оказывает важное динамизирующее воздействие, в частности, оно стимулирует движение в микросистемах словарного состава, поддерживает тенденции вариативности и стилистической и семантической дифференциации.

Последняя, пятая, глава (с. 353—404) "Итоги и выводы" содержит итоговые наблюдения, результаты фундаментального исследования.

В рамках короткой рецензии невозможно детально проанализировать богатство содержания труда, поэтому, бегло проинформировав читателя о его композиции, мы остановимся лишь на некоторых, наиболее существенных, на наш взгляд, моментах, касающихся теоретической концепции и методики исследования. Заметим, что при выработке основных теоретических и методических постулатов авторы творчески учитывали достижения современной лингвистической науки и, в частности, труды

чешских, советских, польских ученых. Как уже выше отмечалось, сложность поставленных проблем предполагала использование комплексной методики, гибко варьируемой в зависимости от специфики конкретных исследовательских задач. Работу в целом отличает выраженная целенаправленность научного поиска, ориентированного прежде всего на выявление динамических процессов. Сказанное отчетливо проявляется, в частности, в принципах сбора языкового материала, извлекавшегося из наиболее мобильных сфер функционирования литературного языка — публицистики, научно-популярной литературы; меньшее внимание уделялось анализу языка художественной литературы. Указанная селекция языковых фактов полностью адекватна теоретической концепции, изложенной, в частности, в трудах А. Едлички, о смещении акцента при установлении литературной нормы с языка художественной литературы на язык публицистики и научно-популярной литературы. Далее, предметом особого внимания были наиболее мобильные части речи, а именно существительные и прилагательные.

Важно подчеркнуть, что авторы труда достаточно широко трактуют понятие лексической динамики: это не только количественное увеличение (или же, напротив, отток устаревающих обозначений) номинаций, обычно образуемых по продуктивным словообразовательным и номинативным моделям, но и преобразование, реструктуризация существующих номинаций, приведение их в соответствие с новыми, социально обусловленными коммуникативными потребностями. Авторы справедливо отмечают, что языковая динамика охватывает изменения в ономаσιологических и словообразовательных категориях, а также классах слов, протекающие как во времени, так и в ходе функционирования языка в узких хронологических рамках. К сфере языковой динамики правомерно относятся и "движущие силы", стимулирующие развитие эволюционных тенденций.

Рецензируемую книгу отличает последовательный системный подход. Авторы стремятся выявить каркас лексической системы, ее "несущие конструкции". К числу таких скрепляющих стержней, связывающих воедино все лексическое многообразие, относятся номинативные категории, а также словообразовательные взаимосвязи. При систематизации лексики использовался также частеречный принцип, однако он все же играл второстепенную роль. Важное значение придавалось классификации номинаций на однословные, многословные, т.е. опи-

сательные, сложные слова. Авторы справедливо отмечают, что словарный состав языка является не простой совокупностью слов, а совокупностью номинаций различного типа.

Большое внимание в работе уделяется словообразовательному аспекту. Заметим, что 66% слов словацкого языка, по подсчетам авторов, имеют словообразовательную мотивацию, 96% слов связаны отношениями мотивации. Как показало проведенное исследование, учет словообразовательной мотивации является мощным динамизирующим фактором, играющим роль как при образовании новых слов, так и при включении уже имеющихся или же заимствованных лексем в словарный состав языка.

Устанавливая отношения взаимодополняемости между комплексными единицами словообразовательной систематизации, авторы труда наиболее широко используют такие понятия, как словообразовательный тип, словообразовательное гнездо, словообразовательная парадигма (разработкой последнего на протяжении ряда лет занимается К. Бузачикова). По мнению авторов, словообразовательное гнездо и словообразовательный тип являются организующими категориями словообразовательной системы. Говоря о значимости использования понятия "словообразовательное гнездо", исследователи отмечают, что новообразования приходят в язык не как изолированные единицы, а как наборы слов, связанных мотивационными отношениями и выполняющих различные номинативные функции. Большой интерес представляют пассажи, посвященные рассмотрению случаев варьирования словообразовательных формантов, находящихся в отношении синонимии или же конкуренции; ср., например, суффиксальные пары типа *-nie/-ácia, -stvo/-izmus, -ost/-ita* и т.п.

Разумеется, не все утверждения авторов можно считать бесспорными. Так, на наш взгляд, несколько занижается динамичность таких категорий, как *Nom. loci, Nom. instr.* Следовало бы указать, что у модификатов, хотя они и не являются предметом специального рассмотрения, словообразовательный формант фиксирует не ономаσιологическую базу, а модифицирующий признак (с. 21). Не вполне уточнено понятие "коммуникативная сфера", пересекающееся иногда с понятием "функциональный стиль". Не можем мы полностью принять мнение авторов о том, что понятие словообразовательной мотивировки не следует сужать лишь до отношения между двумя словами,

корреспондирующимися друг с другом морфематически и семантически, а решать его шире, в контексте словообразовательного гнезда. В связи с этим они допускают включение слова в состав словообразовательного типа при несоблюдения всех его необходимых конститuentов. Есть опасение, что подобное допущение чревато неадекватной словообразовательной интерпретацией. В сущности здесь затрагивается более общая проблема, рассматривавшаяся в свое время А.И. Смирницким о членении слов типа *малина* [1] и, соответственно, о возможности остаточного вычленения основы при примате форманта.

Рецензируемая книга представляет интерес для читателя содержащимися в ней обобщениями. Речь идет о тенденциях, во многом имеющих универсальный характер, т.е. присущих всем современным литературным языкам. Несмотря на то, что данный труд не имеет ярко выраженной сопоставительной направленности, тем не менее конфронтативный аспект, подспудно в работе все же присутствует. В ряду важнейших тенденций, определяющих эволюцию современной языковой ситуации, авторы правомерно называют: а) существенное расширение количества активных пользователей литературного словацкого языка и вместе с тем усиление влияния нелитературных экзистенциальных форм; б) усиление дальнейшей спецификации при фиксации новых понятий, рождаемых активизацией научно-технического развития, социально-культурной жизни общества.

Ставя перед собой новаторскую целевую установку — впервые в словакистике осуществить синхронное изучение динамики словарного состава современного словац-

кого языка — авторы труда реализуют ее на основе рассмотрения также таких универсальных тенденций, как демократизация, интеллектуализация, терминологизация, интернационализация и пр. В этой связи акцентируется факт проницаемости литературного языка для элементов других форм существования языка, прежде всего разговорной речи, сленга. Что касается тенденции терминологизации, то здесь особенно важны такие факты, как активное разрастание описательных номинаций, уравнивающих в свою очередь действием тенденции универбизации. Чрезвычайно интересны наблюдения над степенью динамичности различных частей речи. Заслуживает внимания и констатация склонности наречий к универбизации. Эта тенденция отчетливо проявляется в ряде современных славянских языков.

Как и многие современные ученые, авторы труда отмечают нарастание в славянских языках примет агглютинации.

В заключение мы хотели бы рекомендовать широкому читателю обратиться к данной книге, несомненно, являющейся новым словом в современной славистике. Работа содержит как ценный языковой материал, так и его нетривиальную интерпретацию, она изобилует многочисленными теоретическими и методическими находками, которые, несомненно, явятся импульсом для развертывания последующих исследований в этой важной области.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Смирницкий А.И. Лексикология английского языка. М., 1956.

Нещименко Г.П

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

28—29 мая 1991 г. Научный совет по проблеме "Теория и методология языкознания" АН СССР и Ленинградское отделение Института языкознания АН СССР провели в Ленинграде Всесоюзную научную конференцию "Типология грамматических категорий". Конференция проводилась в год юбилея Группы типологического изучения языков ЛО ИЯ АН СССР, организованной проф. А.А. Холодовичем в 1961 г., и была связана с общим направлением проводимых Группой исследований грамматических категорий глагола и структуры предложения. На конференции были обсуждены методы типологического анализа грамматических категорий и вопросы взаимосвязи грамматической типологии и общей теории языкознания.

Всего в заседаниях приняли участие около 150 ученых из различных городов нашей страны и из-за рубежа. Было прослушано 18 докладов.

Конференцию открыл совместный доклад А.К. Оглоблина и В.С. Храковского (Ленинград) "Группа типологического изучения языков: теоретическая программа и исследовательские принципы", прочитанный В.С. Храковским. В докладе были изложены основные принципы, положенные в основу работы Группы. Один из них — представление о наличии универсальных смыслов, таких, как каузатив, императив и т.п., по-разному выражаемых в различных языках, что создает необходимую базу для типологического анализа глагольных категорий (каузатив, результиатив, императив). Дальнейшей целью такого анализа является создание каталога универсальных смыслов на основе специального семантического языка.

С.Е. Яхонтов (Ленинград) в докладе "Количественная и качественная типология языков" показал, что количественная типология по Гринбергу исходит из того, что каждый язык характеризуется рядом независимых параметров, для которых может быть вычислен числовой индекс. Однако на практике оказывается, что эти индексы свя-

заны между собой и к тому же принимают низкие или высокие значения чаще, чем средние. Благодаря этому возможен и даже необходим переход от количественной типологии к традиционной морфологической либо какой-нибудь иной качественной типологии языков.

В докладе А.В. Бондарко (Ленинград) "Грамматические категории: соотношение системы и среды" свойства грамматической категории как системы рассматриваются в их отношении: 1) к лексическим значениям слов, 2) к лексико-грамматическим разрядам, 3) к другим грамматическим категориям слова и синтаксическим конструкциям, с которыми связана данная категория, 4) к элементам окружающего контекста и речевой ситуации. Во всех случаях речь идет об отношении к тем или иным элементам среды.

В.Б. Касевич (Ленинград) в докладе "О семантической типологии морфологических категорий глагола" предположил, что реальная типология грамматических категорий, которая может быть как внутриязыковой, так и "обычной" межъязыковой. Семантику основных категорий глагола докладчик описал в терминах трех признаков: контекстная связанность/несвязанность словоформы, ориентированность/неориентированность на партиципантов, наличие/отсутствие конситуативности (релевантность/нерелевантность для семантики словоформы указания на дополнительную ситуацию, помимо той, которая названа глагольной лексемой).

В. Лефельдт (ФРГ) в докладе "Что такое согласование и управление?" рассматривал случаи нарушения традиционного полного согласования в падеже в русском языке при одновременном использовании механизма управления.

Е.В. Падучева (Москва) в докладе "От компонентного анализа частных видовых значений к типологии аспектуальных категорий" на примере анализа семантически близких, но не тождественных случаев употребления несовершенного вида

в общефактическом значении и совершенного вида в результативном показала преимущества использования языка толкований, основанного на упорядоченном наборе семантических компонентов, по сравнению с традиционно используемым аспектологией набором семантических признаков.

М. Я. Гловинской (Москва) (доклад "Иллокутивы и перлокутивы в связи с видом в русском языке") в результате исследования глаголов со значением "просьба", "убеждение" и "угovor" было установлено, что для глаголов, обозначающих воздействие на адресата со стороны говорящего, граница между иллокутивами и перлокутивами проходит, как правило, внутри видовых пар: в форме несовершенного вида (в нерезультативных значениях) глагол является иллокутивом, а в форме совершенного — перлокутивом.

Т. Г. Акимова (Ленинград) в докладе "О значении совершенного вида в русском языке при отрицании", исходя из представления о том, что семантически инвариантом совершенного вида в неопределенном предложении является смысл "изменение", или переход из исходного состояния в конечное, показала, что под воздействием отрицания этот смысл меняется на "неизменение", или сохранение исходного состояния.

В докладе Э. Ш. Генюшене (Вильнюс) "О соотношении перфекта, пассива и результатива" устанавливается семантическая и формальная близость категорий перфекта, пассива, субъектного результатива и объектного результатива и строится типологическая классификация языков по признаку наличия/отсутствия в них этих категорий, а также в зависимости от соотношения этих категорий и формальных особенностей их выражения.

Н. А. Козинцева (Ленинград) в докладе "Пассивные конструкции, выражающие не локализованные во времени действия" выделяет три типа пассивных конструкций в армянском и русском языках со значением не локализованности во времени: итеративные, характеризующие и генерализованные. Для каждого из типов был проанализирован характер субъекта, а также особенности выражения модальных значений долженствования и возможности.

Л. С. Ермолаева (Москва) в докладе "Иерархия категорий глагола в языках различных типов" исходила из положения о том, что языки различаются не только структурно, но и своей "внутренней формой", т. е. представляют собой различные системы значимостей, что проявляется, в частности, в различной роли глагольных

категорий в выражении темпоральных, аспектуальных, таксисных, залоговых и других отношений в языках различных типов.

В докладе Е. Е. Корди (Ленинград) "Типологические аспекты изучения безличных конструкций" было представлено типологическое обобщение работ, посвященных безличным конструкциям в разнотипных языках.

А. П. Володин (Ленинград) в докладе "Категория лица и посессивный строй" выделяет два типа формальной структуры категории лица: "горизонтальный", который характеризуется противопоставлением "лицо/не-лицо" и разграничивает формы 3 и не-3 лица, и "вертикальный", характеризующийся как "лицо + число" и содержащий три самостоятельных знака — "я", "ты", "он". По наблюдению докладчика, языки так называемого "посессивного" строя (эскимосско-алеутские, самодийские, сибирские) имеют категорию лица "вертикального" типа.

В докладе Д. И. Еловкова (Ленинград) «О так называемой "факультативности" грамматических показателей» делается вывод о том, что в языках типа кхмерского факультативным является не грамматический показатель как таковой, а информация, которую он несет, т. е. по существу противопоставляются минимальная достаточность и избыточность информации.

В докладе И. А. Муравьевой (Москва) "О категории репрезентации" предлагается более широкая по сравнению с концепцией А. И. Смирницкого трактовка категории репрезентации, в соответствии с которой констатируются разные репрезентации во всех случаях, когда внутри данной части речи выделяются подклассы форм, характеризующиеся своим набором грамматических категорий. Разными репрезентациями следует считать, по мнению докладчика, свободные и инкорпорированные формы слов в синтетических инкорпорированных языках.

О. Ю. Богуславская (Москва) в докладе "Раздвоение грамматических категорий числа согласованного класса и аспектные конструкции в дагестанских языках" устанавливает два вида согласования (факультативное по классу и числу и позиционное) для причастий и прилагательных в аспектных конструкциях, в соответствии с которыми она строит классификацию дагестанских языков.

Я. Г. Тестелец (Москва) в докладе "Рефлективизация и типология анафоры" предлагает несколько параметров, которые могут быть использованы в типологии рефлективизации (возвратности) как части об-

шей типологии анафоры: тип конструкции, в рамках которой осуществляется рефлексивизация, способ выражения мишени анафоры (нулевая анафора, местоимение, грамматическая морфема и др.), соотношение контролера и мишени по приоритетности.

В докладе Л. А. Бирюлина (Ленинград) "К построению типологии прескриптивных значений" были рассмотрены основания существующих в современной лингвистике концепций частных императивных значений и предложено в виде исчисления семантико-прагматическое описание императивных высказываний без отрицания и

с отрицанием, позволяющее выделить их базовые и различной степени производные значения.

В заключительном слове В. С. Храковский отметил высокий научный уровень прочитанных докладов и обсуждения и выразил надежду, что работа конференции будет способствовать дальнейшему сближению типологии и общей теории языкознания, а также изучению грамматических категорий конкретных разноструктурных языков.

Акимова Т. Г. (С.-Петербург)

16—18 октября 1991 г. в Воронеже состоялась VI Всесоюзная конференция по романскому языкознанию, организованная Институтом языкознания РАН и Министерством образования России на базе Воронежского государственного педагогического института. В ее работе приняли участие около 150 представителей вузов из 50 городов. Конференция подвела итоги работы романистов страны за пять лет, прошедших после V Всесоюзной конференции по романскому языкознанию (Тверь, 1986 г.).

На двух пленарных и четырех секционных заседаниях было прослушано и обсуждено 147 докладов и сообщений по проблемам истории романских языков и языковой ситуации в романских странах, лингвистики текста, синтаксической и лексической семантики и фразеологии, словообразованию, а также по проблемам перевода и лексикографии.

Открывая пленарное заседание, председатель оргкомитета конференции В. Г. Гак охарактеризовал состояние отечественной романистики и положительную роль ставших традиционными конференций по романскому языкознанию. В. Г. Гак особо подчеркнул также вклад проф. Р. А. Будагова, восьмидесятилетие которого отмечалось в этом году, в воспитании нескольких поколений романистов.

Большой интерес участников вызвали доклады, посвященные актуальным вопросам фундаментальной проблематики современного языкознания.

В докладе "Структура языка и лингвистическая теория" В. Г. Гак (Москва) поднял проблему взаимообмена идеями, порожденными спецификой различных языков. На основе сопоставительного анализа теорий актуального членения и глагольного вида применительно к романским и славянским языкам автор показал возможности

обогащения языкознания идеями и как следствие его поступательного развития.

Н. М. Фирсова (Москва) отметила важность изучения лингвистических фактов в тесной взаимосвязи с экстралингвистическими и подробно рассмотрела проблему влияния социальных и психологических факторов на формирование и функционирование речевых формул в испанском языке.

Ряд докладов был посвящен проблемам сравнительно-исторического изучения языков. И. В. Попеску (Черновцы), Т. Ю. Загряжская (Москва), А. П. Тимонина (Пенза), М. А. Косарик (Москва) анализировали языковые ситуации в романских странах, специфику формирования и сложности кодификации норм различных ареалов. А. И. Чередняченко (Киев) остановился на проблеме развития романских языков во вторичных ареалах, которое происходит в виде соперничества тенденций к сохранению и изменению, или варьированию, элементов системы под влиянием местных речевых узусов, складывающихся в условиях двуязычия и многоязычия. Судьбе слов "культурного ряда" в романских языках был посвящен доклад В. И. Силецкого (Минск). Автор убедительно показал, что романские языки наследуют латинские слова двояко: либо их внешнюю форму, либо их понятийную структуру.

Большое внимание на конференции было уделено обсуждению проблем прагматики высказывания. Рассматривались вопросы коммуникативной интенции и смысловой организации высказываний, способов адресации и их вариативности, модальности дискурса. Анализируя проблему референции и прагматической направленности лингвистического знака, А. Н. Степанова (Минск) подчеркнула, что показателем сознательного изменения референции знака служит его системно-грамматическая "рассогласованность", являющаяся следствием

воли говорящего. Г. И. Бубнова (Москва) ознакомила собравшихся с результатами исследования прагматических функций интонации в устнопорождаемом монологе. Установлено, что интонационные средства, участвующие эксплицитно или имплицитно в экстравертируемом речевом действии, обнаруживают ярко выраженную сегментирующую направленность деструктурирующего типа. Интонационные средства, участвующие в инвертированном речевом действии, демонстрируют интегрирующие свойства, работая на преодоление синтаксической "неплавности" устной речи.

Результаты анализа различных аспектов модальности изложены в докладах А. В. Супрун (Москва), М. А. Таривердиевой (Москва), Н. Г. Мед (Санкт-Петербург), Г. В. Петровой (Москва) и др. Проблемы эпистемической модальности высказывания рассмотрены в докладе М. К. Сабансевой (Санкт-Петербург), которая отметила, что средства выражения этого вида модальности обладают разным семантическим диапазоном в зависимости от расчлененности/нерасчлененности модуля и диктума в структуре высказывания.

В центре внимания специалистов по семантике были вопросы разграничения первичных и вторичных значений слов, особенности процессов метафоризации, лексическая и фразеологическая вариативность, специфика оценочного компонента значения, экспрессивность слова и способы ее сохранения при переводе.

В докладе Б. П. Нарумова (Москва) отмечалось, что основную экспрессивную нагрузку в романском тексте несут имена, в русском тексте экспрессивны также и глаголы. Т. З. Черданцева (Москва) рассмотрела проблему семантической аномальности и реальности идиом. Означающее идиом, считает автор, аномально, так как содержит слога-компонент, десемантизированное по отношению к лексикону, а означаемое семантически реально и полноценно. Специфика идиом как языковых знаков обуславливает их использование для номинации всего того, что связано со сферой человеческих отношений, поведения человека и оценки в самом широком смысле слова психических и физических реакций и переживаний человека. Г. Г. Соколова (Москва) познакомила слушателей с результатами сопоставительного анализа фразеологического состава швейцарского и метропольного вариантов французского языка. Выявлены интегративные и дифференцирующие черты ФЕ, функционирующих в данных ареалах. Интегративность проявляется у

ФЕ, входящих во фразеологические подсистемы обоих вариантов; дифференцирующие признаки определяются комплексом различий между ФЕ двух подсистем.

Актуальные проблемы синтаксической семантики были освещены в целом ряде докладов. Ю. А. Рылов (Воронеж) проанализировал проблему иерархических отношений в синтаксисе на примере синтаксических связей в испанском предложении. В докладе были выделены конституирующие, центральные, периферийные и несамостоятельные способы синтаксической связи в простом предложении. Л. Г. Беденникова (Москва) обобщила результаты сопоставления синтаксических и коммуникативных моделей французского предложения. Исследование показало, что различие в построении синтаксических и коммуникативных моделей состоит в способе комбинации одних и тех же языковых средств (порядок слов, лексико-семантический состав предложения, интонация или пунктуация). Семантический аспект словосочетаний, объективирующих отношения характеристики, рассмотрен в докладе Н. М. Малкиной (Воронеж). На основе сравнения синтаксических структур с тремя типами характеристикаторов автор выявил различия, выступающие как на уровне семантических функций, которые выполняют словосочетания-характеризаторы, так и на уровне признаков значений. В докладе Е. Е. Корди (Санкт-Петербург) представлены результаты анализа конструкций с двумя предикативными словами с позиций деривационного синтаксиса, который, в отличие от традиционной и порождающей грамматик, позволяет квалифицировать рассматриваемые сочетания как конструкции безличного модуля.

На конференции обсуждались также актуальные вопросы словообразования, связанные, в частности, с идентификацией словообразовательного и лексического значений, формированием семантической структуры дериватов, продуктивностью словообразовательных моделей. Анализируя процессы словообразования, формообразования и словоизменения, И. А. Цыбова (Москва) предложила дополнить разделение образования производных на синтаксическую и лексическую деривацию понятием лексико-семантической деривации, при которой исходная форма отличается от производной как категориальным, так и лексическим значениями. Г. С. Чинчлей (Кишинев) остановился на проблеме семантической классификации морфем, уточнение которой может быть связано с понятием степени связующей семантической силы членов ре-

чевого морфного ряда. Изучение двух основных типов речевого морфного ряда показало, что эпидигматический тип отличается большей связующей силой по сравнению с аффиксальным, а дальнейший анализ указанной проблемы предполагает выделение единицы измерения связующей семантической силы.

21—22 января 1992 г. в Санкт-Петербурге состоялось очередное Координационное совещание "Лексический атлас русских народных говоров-92" (далее — ЛАРНГ), организованное Институтом лингвистических исследований и Институтом русского языка РАН, Русским географическим обществом, Санкт-Петербургским государственным университетом. В его работе приняли участие 64 диалектолога из 29 городов Европейской части России. На заседаниях было заслушано и обсуждено 28 докладов по проблемам, связанным с разработкой "Лексического атласа русских народных говоров".

В докладе "Итоги работы над Лексическим атласом в 1991 г." И. А. Попов (Санкт-Петербург) отметил, что в истекшем году продолжалась активная собирательская деятельность по теме "Лексика природы" (обследовано вновь около 100 районов), началось собирание сведений по теме "Традиционная духовная культура". Однако сбор материала идет неравномерно по территориям, отстают южный, восточный и отчасти центральный регионы. Продолжалась разработка полного текста Программы Атласа, закончен Проект. Собраны материалы из 20 региональных картотек. Наблюдается устойчивый интерес диалектологов к теме "Лексический атлас" (принимают участие около 60 вузов и институтов РАН).

Доклад А. С. Герда (Санкт-Петербург) "Из опыта полевой работы над Лексическим атласом" познакомил собравшихся с методами организации собирательской деятельности диалектологическими экспедициями Санкт-Петербургского университета, работающими не только в пределах Ленинградской области, но и других регионов.

Е. Н. Шагалова (Санкт-Петербург) в докладе "Из опыта обработки на ЭВМ материалов, собранных для Лексического атласа" рассказала о начавшейся работе по созданию базы данных ЛАРНГ на ЭВМ, отметила недостатки собираемых экспедициями материалов и дала ряд рекомендаций по их техническому оформлению.

Ю. С. Азарх (Москва) в докладе "Словообразование в ЛАРНГ" рассмотрела разновидности предусмотренных Проектом

Конференция приняла ряд решений и рекомендаций, направленных на совершенствование исследований в области романского языкознания.

Рылов Ю. А., Фененко Н. А. (Воронеж)

Атласа карт: карт, посвященных словообразованию ЛСГ, деривационной семантике словообразовательных формантов, словообразованию и лексической семантике дериватов одной словообразовательной категории или одного словообразовательного типа, а также мотивационных карт слов одной ЛСГ. Была отмечена роль лингвогеографических карт в изучении словообразования в диахронии и синхронии, в ретроспективном и перспективном планах.

Т. И. Вендина (Москва) пала краткую характеристику славянских лингвистических атласов, их отличие от ЛАРНГ, рассказала о задачах Атласа, предлагаемом репертуаре лингвистических карт, отметила необходимость создания атласа семасиологического типа.

Е. В. Пырцева (Оренбург) в докладе "О некоторых лексических особенностях в говорах Оренбургской области" показала, что многие говоры Оренбуржья явились результатом интеграции различных первичных русских, украинских говоров с различными нерусскими, особенно черкскими языками. Своеобразие функционирования говоров области, разнообразие лексических единиц представляют определенный интерес в плане их взаимодействия и в то же время требуют особой методики при собирании материалов для Атласа.

В сообщении Б. Н. Проценко (Ростов-на-Дону) "Лексика и фразология одной забытой профессии" дано описание лексики колодезников, в которой картографически могут быть отражены названия носителей этого промысла, колодца, сооружений над колодезем и приспособлений для подъема воды. Автор полагает, что сочетание общеупотребительных, профессиональных и диалектных слов является характерной чертой словаря современного промысла.

Л. А. Климова (Арзамас), исследовавшая лексику природы в романе П. И. Мельникова (А Печерского) "На горах", показала материал, использованный писателем в романе, и сравнила его с тем, который был собран во время обследования современных говоров юга Нижегородской области по программе Лексического атласа.

Отмечено в связи с этим воспитательное значение романа при подготовке студентов к экспедициям по Атласу.

Проблемы многозначности и омонимии в говорах были затронуты в докладе В. Н. Гришановой (Орел) "Названия грузовых транспортных средств в говорах Орловской области". В методических рекомендациях к Программам Атласа подчеркнута необходимость введения в них сведений этнографического характера, рисунков, схем.

Доклад Е. П. Осиповой (Рязань) "Изучение лексики одежды в рязанских говорах" был посвящен специфике исследования лексики одежды в рамках Лексического атласа. Намечены общие направления в изучении лексики данной тематической группы, содержится информация о программе по теме "Одежда", подготовленной на материале южнорусских говоров.

В докладе Т. А. Пецкой (Псков) "Роль числительных в народных наименованиях" показано, что число является важным признаком многих реалий. Отчислительные производные существительные и прилагательные практически охватывают все сферы жизни человека, что важно учитывать при разработке Программ Атласа. Наиболее употребительны и актуальны отчислительные производные в тематических группах: количество, человек, дом, жилище, деньги, одежда. Большое количество производных связано с трудовой деятельностью человека (орудия труда, названия домашних животных и т.п.).

В сообщении "Способы оценочной номинации при характеристике лица в орловских говорах" Т. В. Бахвалова (Орел) рассмотрела агентные характеризующие лексические и фразеологические единицы, выделяющие человека по внешнему виду, интеллектуальным способностям, своеобразию поведения и др. и образующие лексико-фразеосемантические группы. Отмечается градуированность признаков при качественной оценке лица и разные способы ее выражения в пределах изучаемых говоров, что необходимо учитывать при составлении Атласа.

М. М. Кондратенко (Ярославль) в сообщении "Сравнения и метафоры в славянской диалектной метеорологической лексике" выделил некоторые типы простых и составных номинативных единиц, обозначающих природные явления и основанных на использовании сравнений и переносного значения слов. Подчеркнута актуальность включения содержащих метафору фразеологизмов и менее устойчивых словосочетаний как значимой части языковой картины мира в материалы Атласа.

Н. С. Сергиева, С. В. Лесняков (Сыктывкар) в докладе "Автоматизированная обработка материалов ЛАРНГ и возможности их использования в лексикографии" поделились опытом организации работы по автоматизированной обработке материалов Лексического атласа в Сыктывкарском университете, по структуре представления данных Атласа на машинные носители и способы организации базы данных.

В сообщении "О специфике сбора и лексикографического описания рыболовецкой лексики" Е. П. Андреева (Вологда) обосновала необходимость предметных знаний при сборе и описании лексики рыболовства. Показано, как точное различение признаков реалий позволяет детально описать семантические признаки их наименований. Выявляются системные черты рыболовецкой лексики говора, ее специфика: наличие вариантов на фонетическом, деривационном и семантическом уровнях, обширных словообразовательных гнезд, особая роль деминовативов.

З. А. Петрова в сообщении "Слово лукоморье (из материалов для Лексического атласа)" был дан сопоставительный анализ общерусского слова *лука* с не отмеченными толковыми и региональными словарями значениями производного слова *лукоморье*, свидетельствующими о расширении значений этого образного слова в литературном языке: *луг* // *луговина*, *лес* на базе диалектных.

С докладами выступили также З. В. Жуковская (Псков) "К специфике сбора материала по Вопросникам Лексического атласа", Л. В. Орлов (Волгоград) "Лексические карты в Атласе русских народных говоров Волгоградской области", А. Ф. Войтенко (Москва) "Лексические различия на территории Московской области", В. Г. Маслов (Шуя) "Синонимический ряд названий жилого помещения в Добринском говоре", Л. П. Михайлова (Петрозаводск) "Лингвогеографические данные и вопросы этимологии", Л. Е. Евтихьева (Тамбов) «Сбор, систематизация и интерпретация лексического материала по теме "Свадебный обряд"», В. Ф. Филатова (Борисоглебск) "Предметная обрядовая лексика", О. И. Васнева (Челябинск) "Демоническая лексика Урала", А. Д. Черенкова (Воронеж) "Фитонимическая лексика в говорах Воронежской области", Л. Н. Клокова (Тамбов) "Категории рода и числа существительных в говорах Тамбовской области", Э. Д. Головина (Киров) "Лесная терминология севернорусских говоров",

С. А. Мызников (Санкт-Петербург) "Лексика ландшафта в говорах Обонежья",
О. А. Матвеева (Санкт-Петербург) "Отражение аспектов лингвистического сознания в Национальном лингвистическом атласе Франции".

На совещании большое внимание было уделено обсуждению отчетов о работе экспедиций летом 1991 г. и методических вопросов, связанных с собиранием материалов (Арзамас, Архангельск, Борисоглебск, Владимир, Волгоград, Воронеж, Вологда, Калуга, Киров, Москва, Новгород, Оренбург, Орел, Пермь, Петрозаводск, Ростов-на-Дону, Рязань, Псков, Санкт-Петербург, Сыктывкар, Тамбов, Тверь, Челябинск, Ярославль).

Совещание показало важность работы по координации деятельности диалектологов на обширной территории Европейской части России. Обсуждение итогов работы над Атласом свидетельствует о том, что она вступает в новую фазу: заканчивается обследование по теме "Лексика природы" в ряде регионов, что дает возможность обратиться к другим темам или направить экспедиционные отряды в сопредельные регионы, где собирание сведений только начинается или идет пассивно. Признано целесообразным также для увеличения плотности обследования интенсифицировать применение анкетного метода

Осипова Е. П. (Рязань)

УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЖУРНАЛЕ "ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ" В 1992 г.

СТАТЬИ

Алпатов В. М. "Грамматика Пор-Рояля" и современная лингвистика (К выходу в свет русских изданий)	2
Анисимова Е. Е. Паралингвистика и текст (К проблеме кристаллизованных и гибридных текстов)	1
Баранов А. Н., Крейдлин Г. Е. Иллокутивное вынуждение в структуре диалога	2
Баранов А. Н., Крейдлин Г. Е. Структура диалогического текста: лексические показатели минимальных диалогов	3
Бичакджян Б. Х. Эволюция языка: развитие в свете теории Дарвина	2
Бомхард А. Р. "Закон Стертеванта" в хеттском: реинтерпретация	4
Бомхард А. Р. Придыхательные смычные в праиндоевропейском	2
Бондарко А. В. К проблеме соотношения универсальных и идиотизмических аспектов семантики: интерпретационный компонент грамматических значений	3
Бурлак С. А. Закон открытых слогов в пратохарском?	1
Вахтин Н. Б. К типологии языковых ситуаций на Крайнем Севере (Предварительные результаты исследования)	4
Верещагин Е. М., Ратмайр Р., Ройтер Т. Речевые тактики "призыва к открытости". Еще одна попытка проникнуть в идиоматику речевого поведения и русско-немецкий контрастивный подход	6
Витчак К. Т. Скифский язык: опыт описания	5
Воркачев С. Г. Безразличие vs. презрение (На материале испанского языка)	1
Гиндин Л. А. Пространственно-хронологические аспекты индоевропейской проблемы и "Карта предполагаемых прародин шести ностратических языков" В. М. Иллич-Свитыча	6
Гуров Н. В., Зограф Г. А. Арсальное языкознание: предмет и метод (На материале языков Южной Азии)	3
Десницкая А. В. Внутренние тенденции и социальные факторы в истории албанских диалектов	5
Дорэ Л.-Ж. Возрождение или вымирание языка в Канадской Арктике	4
Дункель Г. Э. Грамматика частиц	5

Журавлев А. Ф. Из квантитативно-типологических наблюдений над лексикой славянских языков (Праславянское наследие)	3
Завьялова О. И. Сино-мусульманские тексты: графика — фонология — морфонология	6
Йокояма О. Теория коммуникативной компетенции и проблематика порядка слов в русском языке	6
Карананов А. А. К вопросу о характере категории предельности древнерусского глагола	6
Караулов Ю. Н. О русском языке зарубежья	6
Керимова А. А., Молчанова Е. К. И. И. Зарубин и таджикская этнолингвистика	6
Климов Г. А. Из истории имени прилагательного (Картвельские данные)	5
Корбетт Г. Г. Типология родовых систем	3
Красухин К. Г. К вопросу о происхождении латинских герундизов-герундивов и сопоставление их с другими отглагольными наречиями	5
Кривонос А. Т. Мышление — без языка?	2
Крысько В. Б. Неплчная одушевленность в древнерусском языке	4
Лалаянц И. Э., Милованова Л. С. Новейшие исследования механизмов языковой функции мозга	2
Ли Тран Тханг "Форма", "размер" и "расположение объекта" в познании и в языке (на материале вьетнамского языка)	5
Макаев Э. А. "Вопросам языкознания" — 40 лет	1
Маковский М. М. "Картина мира" и миры образов (Лингво-культурологические этюды)	6
Пайк К. Американская интонация: парадигматика и синтагматика	1
Певнов А. М. Проблемы дешифровки чжурчжэньской письменности	1
Подлеская В. И. К типологии предикативного сочинения	4
Поляков О. В. Славянский аккумулятив единственного числа и один фонетический закон конца слова	4
Пупынин Ю. А. Безличный предикат и субъектно-объектные отношения в русском языке	1
Руденко Д. И. Когнитивная наука, лингвофилософские парадигмы и границы культуры	6
Рябцева Н. К. Ментальные перформативы в научном дискурсе	4
Соколянский А. А. Проблемы исторической орфоэпии русского языка (Опыт статьи-рецензии в связи с выходом в свет монографии М. В. Панова "История русского литературного произношения XVIII—XX вв.")	1
Тарасова И. П. Структура смысла и структура личности коммуниканта	4
Улуханов И. С. Мотивация и производность (о возможности синхронно-диахронического описания языка)	2
Улуханов И. С. О степенях словообразовательной мотивированности слов	5
Ульрих М. Об имитации речи <i>Bread-and-butter, bread-and-butter</i>	6
Ушаков В. Д. Некоторые вопросы внутриязыкового сопоставительного анализа фразеологических речений арабского классического языка	2
Хайнал И. Роль данных греческого языка древнейшего периода в реконструкции индоевропейской фонологической системы	2
Хомяков В. А. Некоторые типологические особенности нестандартной лексики английского, французского и русского языков	3
Шапир М. И. "Горе от ума": семантика поэтической формы (Опыт практической философии стиха)	5
Шмальstieg В. Р. Положение древнепрусского в кругу северной ветви индоевропейских языков: окончание номинатива-аккузатива среднего рода единственного числа как изоглосса, объединяющая балтийский, славянский и германский	3
Шмидт К. Х. Об имперфекте в индоевропейских и картвельских языках	5
Щека Ю. В. Элементы теории синтаксической связи и интонологии в синхроническом и диахроническом освещении (на материале турецкого языка)	5
Эдельман Д. И. Еще раз об этапах филиации арийской языковой общности	3
Яковлева Е. С. Языковое отражение циклической модели времени	4
Ямшанова В. А. Инструментальность как семантическая категория	4
Янин В. Л. Эпиграфические заметки	2

Яцкевич Л. Г. Морфологическая парадигма как комплексная единица функционирования

ПО СТРАНИЦАМ ЗАРУБЕЖНЫХ ИЗДАНИЙ

Кёрнер Э. Ф. К. Вильгельм фон Гумбольдт и этнолингвистика в Северной Америке: От Боаса (1894) до Хаймса (1961)

Кортландт Ф. Восемь индо-уральских глаголов

ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

Алпатов В. М. Лингвистическое наследие Н. Поппе

Аничков И. Идиоматика и семантика (Заметки, представленные А. Мей, 1927)

Бондарко А. В. Аспектологическая концепция Эрвина Коппа

Жакоб Ф. Лингвистическая модель в биологии

Недялков В. П. История первой лингвистической работы В. В. Виноградова

Франчук В. Ю. А. А. Потебня и славянская филология

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Обзоры

Седакова О. А. Филологические проблемы славянского предания о работе Риккардо Пиккио

Плотникова А. А. Польская диалектная лексикография по материалам диалектов

Рецензии

Абрамов Б. А. *Litvinov V. P., Nedjalkov V. P. Resultaty konfrontatsionnogo issledovaniya*

Алпатов В. М. *Shibatani M. The languages of Japan*

Аникин А. Е. *Holzer G. Entlehnungen aus einer bisher unbekannten indoeuropäischen Sprache im Urslavischen und Urbaltischen*

Баранникова Л. И. Диалектологический атлас русского языка. Центр Европейской части СССР

Белова А. Г. *Ehret Ch. Origin of the third consonants in Semitic roots: an integral reconstruction (applied to Arabic)*

Бондарко А. В. *Князев Ю. П., Сазонова И. К. Русский глагол и его причастные формы. Толково-грамматический словарь*

Будагов Р. А., Брагина А. А. Французско-русский словарь "философия языка"

Демьянов В. З. *Руденко Д. И. Имя в парадигмах "философия языка"*

Добровольский Д. О. *Soták M. Slovní fond slovenských a českých jazyků*

Зекох У. С. *Кумахов М. А. Сравнительно-историческая грамматика индоевропейских языков*

Ивлева Г. Г. *Van den Baar A. H. Nederlands-Russisch Woordenboek*

Кедайтене Е. И. *Журавлев В. К. Диахроническая морфология*

Козинцева Н. А. *Крекич Й. Семантика и прагматика грамматических форм глаголов: изменения значений*

Кривко Н. Н. *Манаенкова А. Ф. Словарь русских говоров Белоруссии*

Кривоносов А. Т. *Васильев С. А. Синтез смысла при создании нового понимания текста*

Куркина Л. В. *Croatica Slavica. Indoeuropaea*

Левицкий В. В. *Плотников Б. А. О форме и содержании в языке*

Леман В. П. *Langacker R. W. Foundations of cognitive grammar. Theoretical prerequisites*

Макаев Э. А. Лингвистический энциклопедический словарь

Маковский М. М. *Аникин А. Е. Опыт семантического анализа славянской терминологии на индоевропейском фоне*

Мартынов В. В., Широков О. С. *Откупщиков Ю. В. Тюркские языки и культура народов европейской цивилизации*

Нешименко Г. П. *Horecký J., Buzássyová K., Bosák J. a kollektív. Príklady slovných zásoby súčasnej slovenčiny*

Николаева И. А. *Kulonen U.-M. The passive in Ob-Ugrian*

Николаева Т. М. <i>Fougeron J.</i> Prosodie et organisation du message. Analyse de la phrase assertive en russe contemporaine	4
Плунгян В. А. <i>Kilani-Schoch M.</i> Introduction à la morphologie naturelle	5
Потапов В. В. <i>Modern Icelandic syntax</i>	5
Севастьянов О. Ф. The genesis of language. A different judgement of evidence	1
Фалилеев А. И., Сизова И. А. Britain 400—600: Language and history	5
Хелимский Е. А. <i>Steinitz W.</i> Ostjakologische Arbeiten	2
Ширяев Е. Н. <i>Поспелов Н. С.</i> Мысли о русской грамматике	4

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки	3,
	5,
	6

Технический редактор *Беллева Н. Н.*

Сдано в набор 29.08.92	Подписано к печати 20.10.92	Формат бумаги 70×100 $\frac{1}{8}$
Офсетная печать	Усл. печ. л. 13,0	Усл. кр.-отт. 46,0 тыс.
Тираж 3471 экз.	Заказ 3439	Уч.-изд. л. 15,0
		Бум. л. 5,0
		Цена 2 р. 30 к.

Адрес редакции: 121019 Москва, Г-19, ул. Волконка, 18/2. Институт русского языка,
телефон 201-74-42

2-я типография издательства "Наука", 121099, Москва, Г-99 Шубинский пер., 6